АКАДЕМИЯ НАУК СССР
ИНСТИТУТ ЯЗЫКОЗНАНИЯ

ВОПРОСЫ ЯЗЫКОЗНАНИЯ

ЖУРНАЛ ОСНОВАН В 1952 ГОДУ

ВЫХОДИТ 6 РАЗ В ГОД

4

ИЮЛЬ—АВГУСТ

ИЗДАТЕЛЬСТВО «НАУКА»

МОСКВА—1985

СОДЕРЖАНИЕ

Трубачев О. Н. (Москва). Языкознание и этногенез славян. V 3
Пиотровский Р. Г. (Ленинград). Лингвистические уроки машинного перевода 18
Гак В. Г. (Москва). К эволюции способов речевой номинации 28

ДИСКУССИИ И ОБСУЖДЕНИЯ

Кортландт Ф. (Лейден). Праиндоевропейские глоттализованные смычные (сравнительно-исторические данные) 43
Рогожникова Р. П. (Ленинград). Машинный фонд русского языка и словарное дело 54
Куркина Л. В. (Москва). Праславянские диалектные истоки южнославянской языковой группы 61
Дашкевич Я. Р. (Львов). Codex Cumanicus — вопросы возникновения 72
Панфилов В. С. (Ленинград). Вьетнамская морфемика 84

МАТЕРИАЛЫ И СООБЩЕНИЯ

Откупщиков Ю. В. (Ленинград). Об индоевропейском происхождении лат. *vīnum*, др.-греч. (F)οἶνος «вино» 95
Кожевникова Н. А. (Москва). О соотношении типов повествования в художественных текстах 104
Шведа В. И. (Ровно). Словообразование и текстообразование (На материале современного немецкого языка) 115
Тураева З. Я. (Ленинград), Биренбаум Я. Г. (Магнитогорск). Некоторые особенности категории количества (На материале английского языка) 122

КРИТИКА И БИБЛИОГРАФИЯ

Обзоры

Кюннап А. (Тарту). Исследование самодийских языков (1975—1984) . . . 131

Рецензии

Королев А. А., Слюсарева Н. А. (Москва). *Десницкая А. В.* Сравнительное языкознание и история языков 141
Булатова Л. Н. (Москва). *Кузьмина С. М.* Теория русской орфографии. Орфография в ее отношении к фонетике и фонологии 146
Манасян Н. С. (Ереван). *Казарян Б. К.* Частотный словарь современного армянского языка 149

НАУЧНАЯ ЖИЗНЬ

Хроникальные заметки 151

РЕДКОЛЛЕГИЯ:

В. Г. Гак, А. В. Десницкая, Ю. Д. Дешериев, А. И. Домашнев, Ю. Н. Караулов, Г. А. Климов (отв. секретарь), *А. Н. Кононов, В. З. Панфилов* (зам. главного редактора), *Б. А. Серебренников, Н. А. Слюсарева, В. М. Солнцев* (зам. главного редактора), *Г. В. Степанов* (главный редактор), *О. Н. Трубачев, Д. Н. Шмелев*

Адрес редакции: 121019 Москва, Г-19, ул. Волхонка, 18/2. Институт русского языка, редакция журнала «Вопросы языкознания». Тел. 203-00-78

Зав. редакцией *И. В. Соболева*

© Издательство «Наука», «Вопросы языкознания», 1985 г.

ВОПРОСЫ ЯЗЫКОЗНАНИЯ

№ 4 1985

ТРУБАЧЕВ О. Н.

ЯЗЫКОЗНАНИЕ И ЭТНОГЕНЕЗ СЛАВЯН. V *

Самоназвание и самосознание

При всем множестве вопросов, встающих перед языкознанием, когда оно поднимает проблему этногенеза славян, главнейшие из них, бесспорно,— те, которые интересуют не одних только языковедов, но и самую широкую общественность, имея в виду прежде всего сами славянские народы, для которых, для их нынешнего национального самосознания небезразлично, откуда — в глубокой древности — появились и кто такие первоначально были славяне.

И хотя все согласны в том, что эти вопросы из области истории явления требуют ответов в историческом духе, все же случается, что при этом картину исторической эволюции подменяют исторической тавтологией, а реконструкцию отношений неоправданной транспозицией, переносом нынешних отношений в исследуемое прошлое. Тогда искомое — история явления — остается нераскрытым, поэтому, как и прежде, важно различать между историзмом фактическим и декларативным. Последовательный историзм помогает понять, что многие самоочевидные современные явления не изначальны, но занимают лишь свое место в исторической эволюции.

Так, привычное деление славян (и их языков) на восточных, западных и южных — лишь продукт длительной и непрямолинейной перегруппировки более древних племен и их диалектов. Иордан (VI в.) знает славян под тремя именами — венедов, склавен и антов, и некоторые современные ученые соблазнились совпадением этой древней тройственности названий и современного тройственного членения славянства [1]. Но на самом деле было иначе. Ни венеды, ни анты не были никогда самоназваниями славян и первоначально обозначали другие народы на славянских периферриях (венеды/венеты — на северо-западе, анты — на юго-востоке) и лишь вторично были перенесены на славян в языках третьих народов (*венеды* — в языках германцев, *анты* — в языках индоиранских этносов Юго-Востока). Другое дело — *склавены* Иордана (в византийской традиции — *склавины*, современное русское *славяне* и т. д.), общее самоназвание славянских племен и народов. Таким образом, большое значение имеет проблематика древнего самоназвания (а через его посредство и самосознания), проблематика в своей сущности лингвистическая.

О том, что в этой области остается преодолеть еще немало устоявшихся прямолинейных воззрений, мешающих правильному видению проблемы, мы уже писали в предыдущих частях своей серии по этногенезу. Сюда относится и пресловутое молчание о славянах античных источников. На таких фактах и неправильном их истолковании возникали своеобразные научные мифы,— сначала миф о том, что, следовательно, славян не было вообще в тогдашней Европе (против чего одним из первых мужественно боролся П. И. Шафарик) или, по крайней мере, в поле зрения античной, греко-римской ойкумены. Дальнейшим научным мифом оказывается принимаемое отдельными этнологами и этнографами и по сей день обязательное одновременное появление этноса и этнонима. Здесь мы вступаем в область общих этноисторических категорий, которые затрагивают не одних

* За этюды I, II, III, IV этой серии предлагается считать соответственно части статьи «Языкознание и этногенез славян», опубликованные в ВЯ, 1982 — № 4 (I) и № 5 (II); ВЯ, 1984 — № 2 (III) и № 3 (IV).

только славян. Приходится настойчиво напоминать, что этноним — категория историческая, как и сам этнос, что появляется он не сразу, чему предшествует длительный период, когда народ, племя в сущности себя никак не называют, прибегая к нарицательной самоидентификации «мы», «свои», «наши», «люди (вообще)». Кстати, такая идентификация очень удобна и применима как оппозитивная в случаях типа «свои» — «чужие». Что касается «своих», то можно, как известно, привести ряд примеров, когда этнонимы обнаруживают именно эту этимологическую внутреннюю форму: *шведы* (*свеи*), *швабы* (*свебы*). Чужих, иноплеменных оказалось удобным и естественным обозначать как «невнятно бормочущих», а также — с некоторым преувеличением — как «немых». Ясно в таком случае, что «своих» объединяла в первую очередь взаимопонятность речи, откуда правильная и едва ли не самая старая этимология имени *славяне* — от *слыть*, *слову/слыву* в значении «слыться, быть понятным». Только неучетом излагаемых исторических и социолингвистических аспектов можно извинить появление до недавнего времени этимологий имени всех славян из первоначального «жители влажных долин» [см. 2].

Такая этимология столь же неудачна, как и формально правильная и весьма популярная этимологизация Розвадовского — Будимира: **slověne* < «жители по реке Slova». Никакими балтийскими аналогиями, поисками гидронимов и апелляциями к поэтическому эпитету Днепра — *Словутич* — не удается сейчас оградить эти остроумные версии от критики.

Знакомя однажды со своими соображениями на этот счет своих коллег, я вдруг отчетливо уяснил, что с определенного момента эти сюжеты воспринимаются как бы на веру — как результаты глубинной реконструкции, этимологизации. Аудитория, состоящая из лиц русской языковой и национальной принадлежности, видит эту ситуацию слишком абстрактно, т. е. как бы не до конца, поскольку на практике мы не сталкиваемся со случаями существования народов без названий и с вынужденной идентификацией «мы», «свои», «наши». Когда меня попросили разъяснить на экзотических примерах, то, наверное, полагали, что подобная архаическая стадия, если и сохранилась, то скорее где-нибудь у туземных племен Центральной или Южной Америки. А между тем («Не по што ходить в Перъсиду, а то дома Вавилонъ», как сказал протопоп Аввакум) достаточно внимательного взгляда на языковое и этническое положение в нынешней Югославии, и перед нами, mutatis mutandis, всплывет аналогичная ситуация с потенциальным отсутствием этнонима. Разумеется, там есть весьма древние этнонимы *сербы* и *хорваты*, но один и тот же — в принципе — язык у хорватов до сих пор называется *хорватский или сербский*, у сербов — *сербский или хорватский*; до сих пор решающий дифференциальный признак между обеими нациями — культурный (католик — синоним хорвата, православный — синоним серба), далее, на том же языке говорят магометане Боснии и Герцеговины, т. е. в духе культурных противопоставлений — ни сербы и ни хорваты, наконец, там же есть известный процент лиц (носителей сербохорватского языка), которые — ни то, ни другое и ни третье («neodređeni» — «неопределенные»). К чему приводит такое исключительно сложное положение? Оно приводит к стихийному возрождению практики архаической доэтнонимической стадии, и в Югославии, стране развитых современных наций, приходится встречать обозначения типа «naš jezik» как в бытовой речи («Kako lijepo govorite na našem jeziku!»), так и в научной (ср. журнал под названием «Наш језик»), чем как бы снимаются упомянутые противоречия.

Типология этногенеза: балто-славянские отношения

Конечно, на историзм и свой вклад в Историю заявляет права ряд общественных дисциплин, которые изучают соматического праславянина, праславянина — носителя культуры (культур), (пра)славянина — субъекта исторических анналов. Не повторяя здесь общих мест об известном примате языкознания в вопросах происхождения славян и вообще в вопросах этногенеза, все же отметим, что этногенетическая метрика славян-

ства восстановима прежде всего лингвистически. Лингвистически удается доказать, что славяне, образно говоря, не «внуки» скифов и не «дети» (западных) балтов, поскольку скифы были иранцами по языку, как это доказано достижениями сравнительного языкознания еще в прошлом веке, а славяне представляют свою собственную эволюцию индоевропейского лингвистического типа, отличную от балтийской, как это показывают современные фронтальные исследования славянского (и балтийского) словарного состава и словообразования, хотя бы по опыту подготовки нашего Этимологического словаря славянских языков (ср. об этом в предыдущих частях нашей серии «Языкознание и этногенез славян» [1]. Важен учет не только балто-славянских лексических схождений (иногда называют внушительную цифру — 1600 таких соответствий), но и многих десятков и сотен коренных различий такого рода между балтийским и славянским. Разный инвентарь лексем для выражения одинаковых понятий, а подчас и различие самих принципов номинации в балтийском и славянском подтверждает правильность современного подхода, согласно которому словарные (и ономастические) данные весьма показательны для исследования лингво- и этногенеза (противоположное мнение сейчас можно встретить все реже и реже, так, на IX Международном съезде славистов с выражением недооценки лексических изоглосс для этногенетических исследований выступил, пожалуй, только П. Ивич). Правда, в этой массе нелегко ориентироваться, тогда как необходимо не только ориентироваться, но и найти объяснение фактам того и другого рода во времени и пространстве. Балто-славянские языковые и лексические отношения необходимо исследовать в ареальном плане, хотя для отдаленных эпох это очень трудно. Однако важно реальное допущение, что феномен родства и исконно родственного соответствия может оказаться потенциальным ранним заимствованием из одного близкого контактирующего диалекта в другой диалект. Большая близость балтийского и славянского не случайна, ее причина (одна из причин) коренится в давнем ареальном соседстве обоих, по крайней мере — с железного века, ср. прежде всего название железа, общее у славян и балтов, чем мы еще займемся в дальнейшем. Но, во-первых, при столь длительном соседстве (можно сказать, рекордном по длительности на фоне других эпизодов славянско-индоевропейских отношений), благоприятствовавшем сближению, эта близость могла бы быть даже большей, если бы тому не препятствовала исходная самобытность контактирующих языков. Во-вторых, именно большая ареальная и контактная близость тех и других языков как раз оборачивается помехой для суждений о генезисе явлений в смысле затруднительности разграничения исконного родства от вторичного (заимствованного) происхождения.

Поэтому, при всем богатстве темы балто-славянских отношений, балто-славянский случай явно проигрывает в смысле чистоты по причине означенных помех, если нас заинтересует типология этногенеза как путь к раскрытию неуникальности славянской языковой и этнической эволюции и динамики ввиду неконтролируемости и сомнительности всякой уникальности как таковой.

---

[1] Пользуюсь случаем, чтобы внести поправку в собственное изложение полемики по балто-славянскому вопросу на IX Международном съезде славистов (Киев, сентябрь, 1983 г.): я привел [см. 3] показавшееся мне, естественно, остро спорным устное высказывание Ю. В. Откупщикова (с которым мы оказались в остальном солидарны в критике ингредиентной теории славянского словарного состава у В. В. Мартынова) о том, что славянские языки можно отнести к балтийским языкам, а это, как выяснилось, было неточной (неполной) цитацией услышанного, что я и спешу здесь исправить.

Еще одно изложение ингредиентной теории см. в [4]. Автор — В. В. Мартынов — утверждает, что в период до установления отношений между западнобалтийским субстратом и «италийским» (венетским?) суперстратом «трудно говорить о существовании славянского языка». Однако этому отрицанию более глубокой собственной праславянской самобытности противоречит хотя бы выявление самим автором ряда таких древних элементов славянской лексики (проникших и в словарь древнегерманских диалектов), которые (правда, автор не высказывает сам этого наблюдения) не находят параллелей ни в балтийской, ни в италийской лексике. Ср. праслав. **xvatъ*, **plugъ*, **sedъlo*, **skopъ* «баран, овца», **skotъ*, если держаться в основном списка Мартынова. Стоит обратить внимание и на культурную значимость ряда перечисленных слов.

Более доказательными (и более чистыми) являются относительно более свободные аналогии, например, германо-славянские параллели, к которым мы намерены обратиться тем более, что предмет исследован в этом плане еще совершенно недостаточно. Этнокультурный и языковой планы при этом переплетаются. Следы древних германцев в северной части ФРГ и ГДР, а также в Дании (территории, обычно принимаемые за их прародину) обнаруживаются четко не сразу, о них считают возможным говорить лишь с появлением ясторфской культуры середины I тыс. до н. э. Однако при этом разумно считается, что появление четких культурных признаков само по себе еще не означает никакого terminus post quem, поэтому археологи отказываются от попыток датировать появление германского этноса в пользу признания идеи непрерывности развития местной культуры начиная с бронзового века.

Славянские археологи, ретроспективно изучающие эволюцию славянской культуры, сходятся как будто на том, что четкие славянские этнические признаки прослеживаются только с пражской культуры середины I тыс. н. э. Истоки этой культуры пока неясны, и в целом в славяноведении еще не получили должного развития представления о культурной непрерывности. Однако типологические соображения (приведенная выше германская аналогия) подсказывают нам элементарную неприемлемость стремлений датировать также появление славянского этноса. В предыдущих частях нашей серии по славянскому этногенезу мы уже высказывали сомнения в возможности определять абсолютные хронологические даты в этом вопросе; и ранние, и тем более — поздние даты такого рода не заслуживают доверия, поскольку, помимо общего неправдоподобия, опираются на случайные показания. В принципе случайный факт последнего упоминания племенного имени антов в первых годах VII в. н. э. еще не дает никакого основания для того, чтобы датировать точно этим временем, как это делал покойный историк В. Д. Королюк, не только распространение имени склавен (славян) на всех славян, но и «консолидацию» славянского этноса [5]. Для славян тоже все более очевидным становится вырастание из культур римского времени (как о том говорят, в частности, археологические работы последних лет [6]), железного века и более ранних, с локализацией этого процесса вблизи от Центральной Европы. Методика абсолютных датировок с точностью до года вообще выглядит грубовато, будучи не более как имитацией точного знания. Важно исходить из положения, что языковое и этническое развитие славян — это непрерывный процесс. Концепция непрерывности эволюции побуждает славистов пытливее изучать индоевропейскую проблему; она имеет непосредственное отношение и к такому феномену, как глубина этнической памяти, привлекающему сейчас внимание ученых [ср. 7, passim].

Этническая память и вопрос о древнем двуязычии

Дистанцию во времени и пространстве, которую дают нам типологические свободные германо-славянские аналогии, представляется иногда полезным — в духе сказанного выше — дополнить аспектом их общего прошлого, отступив, так сказать, в глубь праиндоевропейской древности. Мы достаточно подробно для наших целей реферировали ранее одну из крайних индоевропейских теорий — теорию вторичной индоевропеизации Европы с Востока в V—III тыс. до н. э., принадлежащую М. Гимбутас. Здесь остановимся только на одном аспекте — на том, что, согласно этой теории, носители индоевропейских диалектов пришли в «Древнюю Европу», имевшую иноязычное население. Проверяя эту теорию индоевропеизации якобы неиндоевропейской Европы, мы вправе ожидать от языка (языков) сохранения следов давней памяти естественного при этом дву-

язычия (индоевропейско-доиндоевропейский билингвизм) [2]. Но оказывается, что таких следов нет, например, в германских языках. Пример с германским тут не случаен, потому что к неиндоевропейскому субстрату уже пытались отнести и германское передвижение согласных, и ряд германских слов, не имеющих индоевропейской этимологии (З. Файст), но это не подтвердилось и объясняется, по-видимому, прежде всего еще недостаточной исследованностью самой этимологии. Во всяком случае неиндоевропейская структура этимологически темных германских слов не доказана [9].

Некоторые пытаются, далее, представить древнеисландский миф о войне между асами (Æsir) и ванами (Vanir) как «реминисценцию поглощения туземного населения в новом обществе, установленном в германском мире индоевропейскими завоевателями» [10, с. 21]. Но и эта «первая война на свете» между асами и ванами слишком органически связана с собственно скандинавскими, германскими перестройками в мифологии, а, возможно, и в обществе, следовательно, видеть в асах древних внешних завоевателей у нас не больше оснований, чем у Снорри Стурлусона, который выводил буквально асов из созвучной Азии [11]. Вряд ли удачно поступают авторы, которые склонны разгадывать следы упомянутого древнейшего двуязычия в тех частях Эдды, где речь идет о разнящихся названиях предметов в языке людей, языке богов [10, там же]. Ни о чем подобном эта богатая метафорами поэзия, по-видимому, не свидетельствует, сильно напоминая похожую мифологизацию синонимов — тоже в языке богов и в языке людей — у Гомера. В конце концов, и автор используемой нами здесь специальной статьи с характерным названием «Двуязычие и смена языков в отражении некоторых из древнейших текстов на индоевропейских диалектах» тоже заключает: «...я сказал бы, что в германском нет надежного свидетельства в пользу доисторического двуязычия!» [10, с. 22]. Еще менее вероятны следы упомянутого древнего индоевропейско-доиндоевропейского двуязычия в славянских языках. Имеющие сюда отношение попытки В. Махека вскрыть «праевропейский» слой дославянской лексики оказались безуспешными тем более, что в ряде случаев речь шла о словах, вполне удовлетворительно объясненных или объясняемых традиционным путем. Думается, что «праевропейские» этимологические сближения явно не связанных друг с другом слов **věža* и нем. *Schweige*, **glogъ* и греч. κράταιγος вряд ли пережили своего автора. Вывод отсюда может быть один: никаких следов древнего двуязычия нет и у славян.

Возможные ссылки при этом на забвение таких следов в языковой и этнической памяти не могут быть приняты. Не следует недооценивать ни глубину памяти языка и народной традиции, ни — соответственно — важности события (в данном случае — события, постулируемого теорией М. Гимбутас: покорения чужой страны, переселения в чужие земли). До нас дошла память этноса и языка об арийском разделе на иранцев и индоарийцев (не позднее II тыс. до н. э.). Следы индоевропейско-неиндоевропейского общения возможны, например, на такой п е р и ф е р и и, как Эгейское Средиземноморье, судя по неиндоевропейским догреческим элементам греческого словаря. Значительные события (крупнейшие войны, природные катаклизмы) помнятся чрезвычайно долго. Например, античные источники еще хранят память о прорыве морскими водами пролива Босфора (Боспора Фракийского), случившемся за 4—5 тыс. лет до н. э.

---

[2] Надо сказать, что теории первоначальной двуязычности (а также двуэтничности) занимают определенное место в проблематике и литературе этногенеза, ср. [8]. Справедливо считая предрассудком представление об этнической однородности древнейших народов, автор этой — скорее архивной — публикации, изданной через тридцать с лишним лет после написания, постулирует (в целом голословно) наличие монгольского и тюркского суперстрата, племенной и военной верхушки, над покоренными славянами: к этому восточному суперстрату он возводит и скандинавское племя русов «из бассейна реки Рось» (?). Л. Новак полагает даже, что более или менее значительные переселения славян были возможны только под командованием монгольской и тюркской правящей верхушки. В целом мы констатируем здесь возврат (в общетеоретическом плане) к теории Я. Пайскера, также постулировавшего эпоху тюркского ига у древнейших славян, несмотря на то, что Л. Новак отмежевывается от этой старой теории и ее «сомнительных аргументов лексического характера»

[см. 12]. Упомянутое гипотетическое древнейшее двуязычие было бы не старше образования Босфора, и то обстоятельство, что оно не оставило следов ни в языке, ни в древней традиции, делает приход индоевропейцев в Европу откуда-то извне маловероятным.

Продолжение поисков в Центральной Европе

Мы все больше обращаемся к концепции центральноевропейского, среднедунайского ареала индоевропейцев и славян — как продолжения части древнеиндоевропейских племен. В свете того, что известно о сложности именно индоевропейского этнического состава древней Центральной Европы, трудно согласиться с мнением, что «Западная и Центральная Европа еще долго после гибели древнебалканских культур в IV тыс. до н.э. остается неиндоевропейской, возможно, вплоть до II тыс. до н. э., когда начинается постепенное распространение по Европе „древнеевропейских" диалектов — процесс „индоевропеизации" Европы» [13, с. 118]. Определенно индоевропейские носители фатьяновской культуры проникли не позднее II тыс. до н. э. с территории Польши и других центральноевропейских районов в междуречье Оки и Волги [см. 14, 15] (через две с лишним тысячи лет этим же, по-видимому, традиционным путем прошли с Запада на Восток восточнославянские вятичи). Точно так же, по-видимому, еще в бронзовый век переселились с Балканского п-ова на Апеннинский индоевропейские племена иллирийцев-мессапов, тоже как бы оставляя у себя в тылу среднедунайский центр Европы (и их, очевидно, традиционный путь в точности повторили затем в новое время их иллирийские соплеменники — албанские переселенцы в Южной Италии). Эти центробежные отселения из внутриевропейских регионов, правдоподобно датируемые II тыс. до н. э. и характеризуемые, к тому же, надежной индоевропейской атрибуцией (а примеры такого рода и близкие по эпохе можно было бы умножить), наглядно опровергают мысль об «индоевропеизации» Европы лишь со II тыс. до н. э.

Неслучайно поколения индоевропеистов продолжают искать начальную область формирования индоевропейских диалектов в Центральной Европе. В предыдущих частях настоящей серии говорилось о теории Боск-Жимпéры о первоначальном индоевропейском группообразовании в районе нынешней Чехословакии. Из современных советских (преимущественно археологических) работ можно указать сводки В. А. Сафронова о первоначальном ареале индоевропейской прародины в зоне распространения культуры Лендьел от Карпат и Судет на севере до Дуная на юге [16, с. 83; 17].

Из совершенно других — статистических посылок изучения лексической близости родственных языков исходит В. Маньчак, который помещает в междуречьях Одера, Вислы и Немана не только прародины славян и балтов (в общем — в соответствии с положениями польской школы автохтонистов), но и прародину всех индоевропейцев, вместе взятых [18, с. 29], с чем, конечно, нам трудно согласиться, ср. аргументы, приводимые также далее и свидетельствующие о вторичном освоении как славянами, так и другими индоевропейцами пространств к северу от Судето-карпатской гряды.

Среднедунайский ареал

Для нас одинаково важно и отсутствие памяти и ее наличие в других случаях. В древнерусской «Повести временных лет» Нестора написаны слова, которым навсегда суждено остаться краеугольным камнем теории славянского этногенеза: «По мнозѣхъ же времянѣхъ сѣли суть Словѣни по Дунаеви гдѣ есть нынѣ Угорьска земля и Болгарьска». Эти слова, к которым мы обращаемся неоднократно, слишком долго подвергались критике в новое и новейшее время со стороны школы Нидерле и других направлений. Всячески оспаривали древность пребывания славян на Дунае и толковали на все лады хотя бы этот знаменитый зачин *по мнозѣхъ*

же времянѣхъ («а по прошествии многих времен)», усматривая здесь то указание на предшествующую средневековую миграцию славян, то целиком книжные, библейские ассоциации. Суть же дела довольно проста. Нестор был добрым христианином, и его слова, внесшие такую смуту в ученые умы,— это всего лишь верность традиционному библейскому рассказу (книга Бытия, гл. 11) о Вавилонском столпотворении: бог рассеял языки, после чего, действительно, разумно оказалось предположить немалое время, чтобы славянам оказаться на Дунае. Для нас важен не этот библейский фон, а действительная история, отраженная у Нестора. То, что эта история была реальной, поддается, несмотря на трудности, доказательству разными дисциплинами. Интересно привести здесь некоторые новые доводы современных историков, причем материалом для аргументации послужили те же исторические документы, которые Нидерле в свое время привлекал для опровержения Нестора. Одно из первых мест принадлежит при этом анонимному автору «Космографии» предположительно VII в.— Равеннскому Анониму, который повествует о том, что племя склавинов вышло из Скифии, которая помещается «в шестом часу ночи (т. е. севера)» (Sexta ut hora noctis Scytharum est patria, unde Sclavinorum exorta est prosapia. Ravennatis Anonymi Cosmographia, I. 11—12). Слишком прямолинейная идентификация наукой нового времени оригинального деления Земли на часовые пояса у этого анонимного автора и отнесение Скифии к северо-востоку Европы, предложенные Нидерле, получили теперь вескую критическую оценку в работе современного историка Я. Бачича [19], который вскрыл зависимость этого Анонима от Иордана вообще (*Iordanus sapientissimus cosmographus», Rav. An., там же) и в частности — в его представлениях о Скифии. Иордан представлял северную часть ойкумены из двух частей — Германии и Скифии, которые встречались у Мурсианского озера в Хорватии; при этом, по Иордану, самым западным народом Скифии были германцы-гепиды, жившие в долине Тисы, притока Дуная. Кроме того, Бачич обращает внимание на дальнейший контекст самого Анонима, который помещает, далее, к востоку, «в седьмом часу ночи» сарматов и карпов, причем о последних известно, что они были обитателями горных карпатских склонов, обращенных к дунайскому бассейну. Все отмеченное делает вероятной не только по Нестору, но и по Равеннскому Анониму локализацию древних славян на Среднем Дунае. Бачич привлекает также свидетельство такого раннего автора, как Псевдо-Цезарий (между IV и VII вв.), о славянах, живущих рядом с фисонитами на Дунае (Danubiani); фисониты — это балканские и дунайские христиане, прозвавшиеся по мифической райской реке Фисон, метафорически отождествленной с Дунаем, и их соседство со славянами (именно соседство, а не подверженность набегам со стороны отдаленных славян) было бы невозможно, если бы славяне обитали к северу от Карпат [19, с. 153—154] [ср. и 20, с. 85].

Для реабилитации несторовского предания делается и уже сделано, таким образом, много, но, конечно, многое также предстоит сделать, чтобы преодолеть этот бесплодный скептицизм. Порой аргументы приходится собирать по крохам, как, например, по вопросу о племенных названиях среднедунайских славян. Оспаривая дунайскую прародину славян, указывают, в частности, на то, что Нестор не назвал ни одного славянского племени на Дунае. Конечно, жизнь славян на Дунае знала свои потрясения, они, подвергшись давлению со стороны волохов-кельтов, частично ушли на Вислу. Вероятно, эти славяне или их часть (возможно, уже в своем перемещенном состоянии, а быть может, и до перемещения) звались какое-то время дунайскими славянами — название, имеющееся у Нестора именно в эпизоде о нашествии волохов. Это название по большой реке могло поддерживаться окрестными народами, ср. и *Danubiani* у Псевдо-Цезария (выше), относящееся к фисонитам, но, вполне вероятно, применимое и к склавенам. Из того, что еще дошло до нас по этнонимии славян на Дунае, кроме дунайцев, дунайских славян, можно назвать *нарци*: «Нарци еже суть словѣне». Повесть временных лет (Лавр. лет., л. 2об). Вполне вероятно, что так одно время обозначалась часть славян Панно-

нии, возможно, в непосредственной близости к римской провинции Noricum, Норик (часть современной Австрии). Ясно, что это был первоначально кельтский этноним *Norici*, зафиксированный у Полибия и Страбона [21]. Но вряд ли справедливо, вместе с тем, было бы подозревать нашего Нестора, назвавшего нарцев славянами, в каких-то политических амбициях; можно поверить, что Нестор отразил традицию того времени, когда этот первоначально кельтский этноним действительно был перенесен на славян. Вырисовывается вполне правдоподобная картина некоего этнонимического (и лежащего в его основе этнического) расслоения и противопоставления: *нарци* «славяне западной Паннонии и Норика», вероятно, к западу от оз. Балатон и с Дунаем непосредственно не связанные, и славяне дунайские. Поскольку эти племенные названия впоследствии были забыты, свидетельства Повести временных лет и в этом вопросе трудно переоценить.

Исследователи древней истории области Норик, территориально в значительной части совпадавшей с нынешней землей Нижняя Австрия и некоторыми другими районами к югу, отмечают, что название *Norici* вначале принадлежало одному местному кельтскому племени и явилось производным от местного названия *Noreia* или вместе с последним — от имени богини *Noreia*. Вассальное в отношении Рима Норикское царство обладало в местных масштабах значительной силой и весом, следствием чего явилось распространение племенного названия *Norici* на все население провинции Норик (было вытеснено, например, имя племени *Taurisci*). К началу новой эры Норикское царство распространилось до оз. Балатон, захватив, таким образом, северо-западную Паннонию. Расширительное употребление этнонима *Norici* в такой, судя по свидетельствам специалистов, этнически смешанной зоне, какой был Норик, вмещавший венетов, иллирийцев, позднее — кельтов [22], испытало тем самым еще бо́льшую инфляцию, потому что оказалось с какого-то момента перенесено и на часть славянских племен (в западной Паннонии?).

Сигнал связи славянских нарцев с кельтскими нориками не случаен, но целиком созвучен эпизоду о волохах, занимавшему нас уже ранее в серии по славянскому этногенезу. Если говорить о традиции этнической памяти (см. выше), то эпизод о волохах у Нестора внушает почтение своей относительной давностью, потому что речь должна вестись при этом о событиях еще I тыс. до н. э., причем в правильной лингвистической (этимологической) интерпретации несторовские волохи — это не римляне, не итальянцы и не соплеменники румын (молдаван), как чаще всего приходится читать в исторической литературе, опирающейся на поздние восточноевропейские значения слов *волохи*, *влахи*, а кельты-вольки [23]. Между кельтами и славянами было много различий — языковых, этнических, культурных. Еще одно существенное различие заключалось в том, что для кельтов Подунавье было ареной экспансии, а для славян это была своя земля. Если античные авторы еще знают здесь (скорее в Норике, чем в Паннонии) ряд кельтских названий племен и населенных мест, весьма богата античная латинская эпиграфика (с частыми вкраплениями преимущественно кельтских собственных имен) прежде всего Норика, затем Паннонии, то потом эти традиции адекватного продолжения не имеют; слишком тонок и недолговечен был этот языковой и этнический слой, стертый последующими наслоениями. Славянский слой в ономастике Подунавья существенно отличался тем, что непрерывно наличествовал здесь с древних времен, несмотря на иноязычные наслоения разных эпох, а также несмотря на предубеждения интерпретаторов (достаточно сослаться при этом на разноречивые суждения вокруг названия паннонской реки *Bustricius*, известного начиная с Равеннского Анонима, которое то приписывают иллирийцам, то робко догадываются о его полной славянской принадлежности ввиду изобилия рек и речек с названием *Быстрица* во всем славянском мире [24] [3]), и в общем никогда полностью не прерывался, вопреки

[3] «Bustricius, река в Паннонии, по древнеримским картам и дорожникам, из коих Гвидо Равеннский выписал это имя (Anonym. Rav. ed. Gronov. p. 779)» [25].

самым неблагоприятным условиям. Освоенная венграми вот уже более тысячи лет назад страна до сих пор имеет все же в значительной степени славянскую реликтовую гидро- и топонимию, хотя по установившейся антишафариковской традиции слависты нашего времени редко дерзают датировать славянские названия в Подунавье временем до «славянских миграций», ср. характерный в этом отношении тезис Яна Станислава: «Словаки сидят в дунайской котловине самое позднее с начала VI в.» [26].

Нам уже приходилось ранее [см. 27] приводить мнение югославского археолога Трбуховича о славянской принадлежности паннонцев I в. н. э., описываемых Дионом Кассием. В литературе отмечается отличие явно кельтской ономастики надписей римского времени в Норике от антропонимии эпиграфики, распространенной в большей части Паннонии [28]. Четкие прямые свидетельства о языке и этносе паннонцев в источниках отсутствуют. Только у Тацита (Germania) содержится упоминание о lingua Pannonica «паннонском языке», на котором якобы говорило племя Osi [29, с. 59—60]. Исследователь древней истории Паннонии А. Мочи представил распространение языков и племен в Паннонии на карте, где западнее, а отчасти и восточнее оз. Балатон нанесен ареал кельтского языка и этнонимы *Arabiates* и *Hercuniates*, с юга — ареал иллирийского языка (племена Varciani, Colapiani, Oseriates, Cornacates); опуская здесь менее существенный для нас юго-запад (Истрия, венетский язык) и юго-восток с фракийским языком, обратим внимание на то, что исследователь оставил на карте непосредственные окрестности оз. Балатон как бы этнически незаполненными [29, с. 64, рис. 11].

Паннонцы характеризуются догосударственными особенностями социальной организации, чем, как думают, вызвано слабое и позднее упоминание их на политической арене. Может показаться не лишенным интереса, что черты их быта, которыми история обязана в основном Аппиану, напоминают нам то, что другие древние авторы (Иордан, Псевдо-Маврикий) рассказывают о славянах — отсутствие городов, племенное разновластие [29, с. 21, 27].

В связи с этим, а также с крайней скудостью языкового материала той эпохи (эпиграфика, надо думать, была здесь, как, впрочем, и всюду, в руках культурно и политически преобладающих этносов, т. е. в данном случае — римлян и кельтов) полезно вновь обратиться к одной надписи II—III вв. нашей эры с территории Паннонии (точнее — из города Intercisa в Нижней Паннонии), которую в нашей литературе исследовал монографически покойный О. В. Кудрявцев [30, с. 103 и сл.]: DEo DoBRATI·EUTICES·SER(vus)·DE(dit). Надпись латинская, читается и переводится (уточнения — ниже) как: «богу Добрату Евтихий раб воздал (посвятил)». Надпись дана на барельефе, изображающем бога на лошади [30, с. 57]. Кельтская этимология имени данного бога (из **dobrato-*, **dubr-ato-*? «водяной, водный?», ср. кельт. **dubro-* «вода») маловероятна (автор ее и не рассматривает), поэтому можно согласиться в общем с мнением Кудрявцева, что здесь представлено образование от слав. *dobrъ* «добрый, хороший» в связи с наличием (по Кудрявцеву — проникновением) в Паннонии II—III вв. славян. В отличие от автора, мы полагаем, что *Dobrat-* отражает не славянскую форму с постпозитивным артиклем болгарского типа **добро-тъ* (Кудрявцев приводит для сравнения ст.-слав. *рабо-тъ*, *домо-тъ*), а праслав. **dobrotь*, вариант на *-i-*основу к **dobrota*, ср. западнославянские формы: чеш. диалектн. *dobrot'* «добро, благо», слвц. диалектн. *dobrot'* «доброта, добро, благо», н.-луж. *dobroś* «доброта, добродушие; честность, годность», польск. *dobroć* «доброта; хорошее качество, состояние» (ЭССЯ, вып. 5, с. 44). Сказанное согласуется и с морфологическим наблюдением самого автора, что латинизированную форму им. пад. надо восстанавливать (по дат. пад. *Dobrati*) скорее как *Dobrates* или *Dobratis*. Последнее же вполне могло передавать праслав. **dobrotь* или раннепраслав. **dăbrătĭ-*. Наконец, надпись в целом, кажется, дает нам в руки то, что можно счесть глоссирующим контекстом. Имя раба — *Eutices*, т. е. греч. Εὐτυχής, достаточно распространенное в Римской империи и, видимо,

понятное в своем буквальном значении — «счастливый», «благополучный», образует неслучайно смысловую пару с именем божества *Dobrates/Dobratis*, т. е., по-видимому, персонифицированное «Благо, Добро». Кем был этот раб по происхождению, неизвестно, но оставленная им надпись говорит о той степени осведомленности и понимания им местного языка, которая позволила ему обратиться к туземному божеству как к своему эпониму («Благо» — «благополучный»).

Разумеется, следует продолжать изучение структуры и динамики славянской ономастики Венгрии и прилегающего чешско-словацкого Подунавья. Но уже по богатым собраниям материалов в монографии Станислава «Словацкий юг в средневековье» бросается в глаза ее разнообразие, включающее различные славянские (не только словацкие) словообразовательные типы и апеллативные связи. Нам уже приходилось обращать внимание на то, что критика древнего дунайского ареала славян («донаучные воззрения» и т. п.) все больше обнаруживает свои инерционные качества. Сейчас наука способна противопоставить оппонентам в данном вопросе вполне зрелую и реалистическую концепцию, согласно которой от древнего ареала (топонимического, гидронимического) явления, вообще — от центра распространения не следует ожидать ни яркого изобилия, кучности чисто славянской ономастики, ни четкой продуктивности разных ее типов: и то, и другое характерно для зон экспансии. Локализация древнего ареала славян в Венгрии, Словакии, Моравии и некоторых прилегающих районах вовсе не влечет за собой утверждения, что там должна иметь место кучность однородных славянских географических названий; насколько нам известно, ее там нет, а, взамен нее, представлена та неяркая, как бы смазанная картина пестроты исходного славянского апеллативного и словообразовательного инвентаря, которой как раз и следовало ожидать в центре распространения языка и этноса. На фоне этой характеристики дунайскославянской ономастики и Северное Прикарпатье, и Великопольша, и — само собой разумеется — сгустки славянской гидронимии на главных путях балканской миграции славян — все это периферийные вспышки колонизационного происхождения. Сосуществование славян в Среднем Подунавье также с другими индоевропейскими этносами отнюдь не исключается предыдущими рассуждениями и нашим положением о древности славянского ареала на Дунае. Ряд гидронимов, особенно в восточной части этого ареала, в бассейне Тисы, аллоэтничен (а, возможно, и в других местах, ср., например, определенно неславянское индоевропейское происхождение названия реки *Nitra* в Западной Словакии). Само название реки *Тиса*, далее — название реки *Темеш* обладают не славянскими, но явно индоевропейскими признаками происхождения, без четкой языковой характеристики, возможно даже, что они принадлежат к тому потенциально наддиалектному гидронимическому слою, который носит название «древнеевропейской» гидронимии: **tīsā* или **tīsi̯ā* «спокойная» или «просторная», «прямая», **təmisi̯ā* «темная» (тот факт, что эти названия характеризовали природные особенности объекта, позволяет отнести их к наиболее ранним из числа древнеевропейских гидронимов).

По-прежнему также оправданны поиски прямых следов и продолжений дакского языкового адстрата вроде уже идентифицированных нами ранее местных названий *Morimarusa*, *Sarmizegetusa*. В этом же ряду может быть поставлено название города и ручья *Abrud* в Трансильвании, к юго-западу от Клужа: вероятно, из дак. **apa ruda* «aqua rubra». Цветообозначение связано, возможно, с золотоносностью, которую пытался осмыслить иначе — в связи с греч. ὄβρυζον — Г. Шрамм [31, с. 187], что неубедительно. Этому же автору принадлежит мысль о сохранении в Трансильвании еще в XI в. дакского населения [31, с. 160].

Примерную карту древнего славянского среднедунайского ареала очертить трудно, потому что у нас недостаточно данных относительно его границ, да их, видимо, и не было в современном понимании. Ср. весьма показательное мнение специалиста по аналогичному вопросу: «Границы остроготской „империи“ не могут быть определены по той причине, что она таковых не имела» [32]. Можно лишь очень схематично попытаться изоб-

разить этот ареал с древним ядром в Среднем Подунавье и наиболее ранними иррадиациями на Север и Северо-Восток. Ясно, что наша карта древнейшего славянства принципиально отличается от большинства современных карт славянской прародины, помещающих эту прародину (начиная с Нидерле) к северу от Карпат, с ее крайними вариантами — среднеднепровским, припятско-полесским, висло-одерским, включая компромиссный вариант Т. Лер-Сплавинского — от Одера до Днепра. Думается, что только центральноевропейская, среднедунайская концепция праславянского ареала полнее соответствует этимологически вскрываемым древним общениям славян с древними италиками, германцами, кельтами, иллирийцами.

Дальнейшее о среднедунайском центре праславянских фонетических инноваций

В предыдущей части нашей работы [см. 33] было обращено внимание на ценные наблюдения Т. Милевского о центре позднепраславянских фонетических инноваций в Паннонии. В том же направлении ориентируют нас и разыскания других ученых по самостоятельным, хотя и смежным (фонетическим) вопросам. Здесь уместно назвать работы И. Марвана над генезисом стяжения (контракции) в славянском, в которых говорится о праславянской древности явления. И если мнение автора о стяжении как одном из главных факторов разделения праславянского языка кажется преувеличенным и в принципе едва ли удачным, то его главный вывод о том, что фокусом (географическим центром) явления была территория исторической Великой Моравии, т. е. чешские и примыкающие к ним говоры, интересен в плане наших поисков [см. 34, 35]. Современная научная критика с вниманием отнеслась к лингвогеографическому решению проблемы Марваном, а также к его хронологии явления, согласно которой «зарождение праславянского стяжения приходится на вторую половину IX в.» [36].

Не оставляя фонетического аспекта, мы вправе обратить внимание, далее, на то обстоятельство, что наша более южная локализация праславянского ареала позволяет лучше осмыслить природу некоторых схождений славянского и латинского, которые иначе пришлось бы в лучшем случае трактовать как чисто типологические. Однако теперь имеются основания для более реального объяснения этих схождений как ареальных. Я имею в виду близкое переходное смягчение (палатализацию) задненебных, на что уже указывалось и раньше, ср. [37, с. 112—113]: «На бóльшей части народнолатинского ареала велярные смычные *k* и *g* подверглись аффрикации перед передними гласными *e* и *i*, аналогичной так называемым палатализациям в славянском». Балканская латынь адриатического побережья и позднейший далматинский не знали этого переходного смягчения, как и архаичный в этом отношении сардинский [4], в остальном ареальное распространение этого явления весьма очевидно, причем в ряде случаев — под влиянием славянского, например в румынском [37, с. 121]. Можно здесь напомнить, что подобные палатализации «славянского типа» в принципе несвойственны для таких близкородственных языков, как балтийские, и их появление там (ср. палатализации задненебных в латышском) есть результат вторичного славянского (русского) влияния.

Вообще, надо сказать, латынь, в том числе латынь народная, в глазах одних (все реже) — конкретная и реальная, благодаря наличию письменности, а в глазах других (все чаще и чаще) — неосязаемая, зыбкая, непознаваемая (В. Маньчак: «миф о „народной“ латыни»), спорная, как оказывается, по причине вскрываемого отсутствия единства и однородности [см. 39, passim], — всемогущая латынь и ее история, как подсказывает опыт последних десятилетий, не только учит нас, славистов, но и сама могла бы обогатиться уроками праславянской диалектной сложности, чтобы с их помощью преодолеть собственный кризис концепции стабильного древнего «языка-мумии».

[4] Ср. [38], впрочем, автор, похоже, недооценивает эти различия внутри романского ареала.

Типология этногенеза. Германо-славянские аналогии: подвижка Юг ↔ Север

Но вернемся к германо-славянским аналогиям. Эти аналогии позволяют понять динамику славянского ареала, иначе во многом неясную. Речь идет прежде всего о древней своеобразной подвижке ареала Юг ↔ Север, которая коснулась не одних только славян (о ней отчасти помнит и повествует Нестор в своей летописи: «Когда волохи совершили нашествие на дунайских славян и расселились среди них и притесняли их, славяне те пошли и поселились на Висле»), но и германцев. Например, Скандинавия, юг которой часто включают в прародину германцев, была освоена ими вторично, с Ютландского п-ова и материка, недаром герм. **skadīn-aujō* (откуда латинизированное *Sca(n)dinavia* со времен Плиния) этимологически значит «пагубный остров», или «пагубный берег», «Schaden-au». Так свою исконную родину не называют, а называют вновь освоенные, чужие, неприветливые места. Раньше германцы сидели южнее, общаясь с кельтами, древняя прародина которых, вероятно, помещалась на юге современной Западной Германии. Но потом и германцы, и сами кельты, и иллирийцы (иллиро-венеты), следы которых в географических названиях находят вплоть до южных берегов Балтийского моря, двинулись на Север. Почему? Возможно, для освоения новых пригодных для жизни пространств после отступления последнего оледенения. Возможно, что были и другие причины. Не на все вопросы пока можно ответить сейчас. Ясно одно: подвижка Юг ↔ Север (символ ↔ передает у нас как поступательный, так и возвратный характер этой подвижки, о чем — ниже) была крупнейшим историческим эпизодом в жизни древних индоевропейских племен Центральной Европы. Ясно также другое. Пока предельный возраст образования индоевропейских диалектов измерялся округленными датами не древнее 2000 г. до н. э., индоевропеистов сравнительно мало интересовала история древнего климата, и некоторые гипотезы включали Север Германии в искомую индоевропейскую прародину. Но в наше время вся индоевропейская датировка пересматривается в сторону удревнения, причем и III и IV тыс. до н. э. не кажутся предельно древними в жизни индоевропейских диалектов. Поэтому сейчас уже трудно не считаться с указаниями, что на север от Судет и Карпат простиралась первоначально зона оледенения, заселение которой, как предполагают, началось лишь с 4000 г. до н. э. [40]. В западную (эльбско-везерскую) часть этого ареала достаточно рано проникают древнегерманские племена. Кельты, по всей вероятности, никогда не заходили так высоко на север, поэтому тезис Шахматова (в цитируемой нами статье) о кельтах на берегах Балтийского моря звучит сейчас неправдоподобно. То же можно утверждать о древнеиталийских и прагреческих племенах, а также о некоторых других индоевропейских группах. С другой стороны, достаточно рано распространились на европейский Север (его одерскую часть) древние иллирийцы (иллиро-венеты), называвшие море особым диалектным словом **daksā* (< **dapsā* < **daub-s-ā*), следы которого отыскиваются в германской Прибалтике и в Чехии, и в исторической Иллирии (на юг — вплоть до Эпира), о чем я уже писал ранее. Разумеется, на означенном европейском Севере выявляются и другие географические названия иллиро-венетского происхождения, и само имя этого этноса — венеты — свидетельствует об исторической достоверности этого древнего народа, по которому позднее германцы с запада прозвали новых насельников этих мест — славян. Важно иметь в виду, что славяне были не первыми колонизаторами висло-одерского региона, так как они пришли сюда (помимо конкретного политического давления, как в случае с волохами, могли сказаться и общие тенденции в духе европейской подвижки Север ↔ Юг), когда эти земли уже имели индоевропейское население. Любопытно, что это признают и представители польской автохтонистской школы славянского этногенеза. В качестве примера можно сослаться на покойного С. Роспонда, который в специальном обобщении на тему «Праславяне в свете ономастики» [41], неизменно отстаивая висло-одерскую теорию, допускает неславянское, точнее — дославянское, ве-

нетское, «загадочное» происхождение многих гидронимов на этих территориях: *Drawa*, *Drama*, *Nisa*, *Kwisa*, *Wisa*, *Osa*, *Wierzyca*, *Noteć*, *Nieca*, *Gwda*, *Kwa*, *Wkra*, *Bzura*, *Jana*, *Nida*, *Ina*, *Mroga*, *Śrem*. В число дославянских названий этих мест, безусловно, попадают и названия «древнеевропейского» вида, без четкой языковой характеристики, как, например, *Drwęca*, приток Вислы, которую еще Шахматов сближал с кельт. *Druentia*. Только признав наличие дославянского индоевропейского слоя в междуречье Вислы и Одера, можно правильно объяснить отмеченные на этих землях Птолемеем (II в. н. э.) совершенно не славянские, но явно индоевропейские названия народов, как, например, κάρβωνες и др. При этом вовсе не обязательно связывать приблизительно «похожие» племенные названия — птолемеевских буланов и польских полян и как-то пытаться объяснить одно из другого; они принадлежат разновременным и независимым индоевропейским потокам.

То, что вислинские славяне шли от истоков к устью главной польской реки, постепенно осваивая висло-одерское междуречье на север и северо-запад, подтверждает, как нам представляется, территориальное распределение названий *Małopolska* (юг) и *Wielkopolska* (вторично освоенный Северо-Запад). Таково обычно типологическое свидетельство географических названий с атрибутом «Велико-, Великая»: это, как правило, зоны экспансии. Интересно, что *Wielkopolska* «Великопольша», в какой-то мере покрывается с такой вторично освоенной германской периферией, как *Magna Germania*, название земель к востоку от Одера, ср. сюда же, видимо, приуроченное название страны *Mæghþa land* «великая страна?» (ср. др.-в.-нем. *maht*, гот. *mahts* «сила, мощь, величина») в описании Германии англосаксонского короля Альфреда (IX в.),— все вместе применительно к стране, которая в разное время была зоной экспансии как для германцев, так и для славян.

Таким образом, продвижение славян из Подунавья на Вислу, а также в сторону Правобережной Украины укладывается в широкие рамки северной подвижки многих индоевропейских племен, из которых часть предшествовала славянам, часть шла следом. Весь этот древний индоевропейский этап наиболее закономерно смотрится из Центральной Европы и со Среднего Дуная.

Изложенные выше соображения оказываются весьма созвучными археологическим данным о проникновении культуры воронковидных кубков с территории Чехии и Моравии вторично в Малопольшу (откуда позднее — на Украину). В общей перспективе для нас важно, что для ассоциируемых с индоевропейцами воронковидных кубков как в Чехии, так и в Средней Германии «имеет место расширение культуры на север», что археология при поддержке радиоуглеродной датировки свидетельствует «о продвижении носителей культуры воронковидных кубков на север и и восток», что «ранний период культуры воронковидных кубков в Дании и Южной Швеции датируется в пределах 3000—2300 гг. до н. э.», а также то, что в этих северных германских странах у этой пришлой культуры нет корней, и главное — что наиболее древним ядром этой культурной экспансии является соответствующая культура на территории Чехии IV тыс. до н. э., где она коренится в еще более древней местной культуре Лендьел в Венгрии, Словакии, Моравии, Верхней Силезии V—IV тыс. до н. э., соотносимой с индоевропейской пракультурой [см. специально 16, с. 60—66].

Как и следовало ожидать, и германцы, и иллирийцы, и сами славяне, храня память о своих древних местах обитания, а также, возможно, под воздействием более сложного комплекса причин, пытались вернуться потом назад, на Юг. Некоторые индоевропейские племена (италики, иллирийцы, греки) углубились при этом в прежде чуждое для индоевропейцев Средиземноморье. Возвратная южная миграция славян развернулась уже на глазах письменной истории около середины I тыс. н. э. и тоже сопроводилась занятием прежде чужих земель на юг от Дуная. Важно то, что эта южная миграция славян была в своей первоначальной сущности возвратной. Рассматриваемое в общей перспективе

неоднократное движение славян к северу и к югу делается понятнее и утрачивает загадочность и произвольность в свете кратко приведенных выше германских и других индоевропейских аналогий.

(*Продолжение следует*)

ЛИТЕРАТУРА

1. *Georgiev V. I.* Illyrier, Veneter und Urslawen.— Балканско езикознание, 1968, XIII, 1, с. 12.
2. *Rospond S.* Etnogeneza Słowian w świetle stratygrafii lesksykalnej i strukturalno-onomastycznej.— In: Z polskich studiów slawistycznych. Warszawa, 1983, s. 314.
3. *Трубачев О. Н.* Языкознание и этногенез славян.— ВЯ, 1984, № 2, с. 19.
4. *Martynov V. V.* Vprašanje glotogeneze Slovanov.— Slavistična revija, 1984, letnik 32, št. 2, s. 69 и сл.
5. *Королюк В. Д.* Пастушество у славян в I тысячелетии н. э. и перемещение славян в Подунавье и на Балканы.— Симпозиум по структуре балканского текста. М., 1976, с. 24.
6. *Седов В. В.* Конгресс по славянской археологии.— Вестник АН СССР, 1981, № 5, с. 99.
7. *Рыбаков Б. А.* Язычество древних славян. М., 1981.
8. *Novák L'.* Vznik Slovanov a ich jazyka (Základy etnogenézy Slovanov).— Slavica Slovaca, 1984, ročn. 19, 3.
9. *Polomé E. C.* The etymological dictionary of Dutch: an analysis of the work of Jan de Vries.— In: Eichstätter Beiträge, 8 (= Das etymologische Wörterbuch. Fragen der Konzeption und Gestaltung. Hrsg. Bammesberger A.). Regensburg, 1983, p. 218—219.
10. *Polomé E. C.* Bilingualism and language change as reflected by some of the oldest texts in Indo-European dialects.— In: Northwestern European language evolution. V. 1. Odense, 1983.
11. *Piekarczyk S.* Mitologia germańska. Warszawa, 1979, s. 110.
12. *Топоров В. Н.* Фрак. Βυξάντιον в индоевропейской перспективе.— В кн.: Этимология. 1976. М., 1978, с. 145.
13. *Гамкрелидзе Т. В., Иванов В. В.* К проблеме прародины носителей родственных диалектов и методам ее установления (По поводу статей И. М. Дьяконова).— ВДИ, 1984, № 2.
14. *Крайнов Д. А.* Древнейшая история Волго-Окского междуречья. Фатьяновская культура. II тысячелетие до н. э. М., 1972, passim.
15. *Häusler A.* Zu den Beziehungen zwischen dem nordpontischen Gebiet, Südost- und Mitteleuropa im Neolithikum und in der frühen Bronzezeit und ihre Bedeutung für das indogermanische Problem.— Przegląd Archeologiczny, 1981, 29, s. 119.
16. *Сафронов В. А.* Проблемы индоевропейской прародины. Орджоникидзе, 1983.
17. *Сафронов В. А.* Кавказ в раннебронзовую эпоху и проблема локализации индоевропейской прародины: Тезисы и доклады конференции «Лингвистическая реконструкция и древнейшая история Востока». Ч. I. М., 1984, с. 85.
18. *Mańczak W.* Sur l'habitat primitif des Indo-Européens.— Baltistica, 1984, XX, 1.
19. *Bačić J.* The emergence of the Sklabenoi (Slavs), their arrival on the Balkan peninsula, and the role of the Avars in these events: revised concepts in a new perspective: Columbia university Ph. D. 1983.— Ann Arbor (Michigan), 1984, p. 167 и сл.
20. *Новаковић Р.* Одакле су Срби дошли на Балканско полуострво (Историјско-географско разматрање). Београд, 1978.
21. *Holder A.* Alt-celtischer Sprachschatz. Bd. II. Graz, 1962, стлб. 762.
22. *Alföldy G.* Noricum. London — Boston, 1974, p. 15, 17, 27, 41.
23. *Schachmatov A.* Zu den ältesten slavisch-keltischen Beziehungen.— AfslPh, 1911, XXXIII, S. 54.
24. *Колосовская Ю. К.* Паннония в I—III веках. М., 1973, с. 23.
25. *Шафарик П. И.* Славянские древности. Пер. с чеш. И. Бодянского. Т. I. Кн. II. М., 1837, с. 120—121.
26. *Stanislav J.* Slovenský juh v stredoveku. I. diel. Turčiansky sv. Martin, 1948, s. 7.
27. *Трубачев О. Н.* Языкознание и этногенез славян.— ВЯ, 1984, № 5, с. 9, примеч. 22.
28. *Polomé E.* The linguistic situation in the Western provinces of the Roman Empire.— In: Aufstieg und Niedergang der römischen Welt. Geschichte und Kultur Roms im Spiegel der neueren Forschung. Hrsg. von Temporini H. und Haase W. II. Berlin — New York, 1983, p. 536.
29. *Mócsy A.* Pannonia and Upper Moesia. A history of the Middle Danube provinces of the Roman Empire. London and Boston, 1974.
30. *Кудрявцев О. В.* Исследования по истории балкано-дунайских областей в период Римской империи и статьи по общим проблемам древней истории. М., 1957 (см. специально раздел «Deus Dobrates»).

31. *Schramm G.* Eroberer und Eingesessene. Geographische Lehnnamen aís Zeugen der Geschichte Südosteuropas im ersten Jahrtausend n. Chr. Stuttgart, 1981.
32. *Maenchen-Helfen O. J.* The world of the Huns. Studies in their history and culture. Los Angeles — London, 1973, p. 25.
33. *Трубачев О. Н.* Языкознание и этногенез славян.— ВЯ, 1984, № 3, с. 21.
34. *Marvan J.* Prehistoric Slavic contraction. The Pennsylvania State University Press, University Park and London, 1979, p. 166.
35. *Марван И.* Русское стяжение и славянская доисторическая контракция.— In: Melbourne Slavonic studies, 1973, № 8, p. 5 и ел.
36. *Moszyński L.*— Rocznik Slawistyczny, t. XLIII, cz. 1, s. 38.— Rec.: *Marvan J.* Prehistoric Slavic contraction, 1979.
37. *Bidwell Ch. E.* The chronology of certain sound changes in Common Slavic as evidenced by loans from Vulgar Latin.— Word, 1961, v. 17, № 2.
38. *Mańczak W.* Les langues centum et satem.— In: Langues et cultures. Mélanges offerts a Willy Bal. 3. Linguistique comparative et romane (= Cahiers de l'Institut de linguistique de Louvain 10, 1984), p. 179.
39. *Väänänen V.* Préroman — protoroman — latin vulgaire.— Neuphilologische Mitteilungen, 1984, LXXXV, 1.
40. *Nalepa J.* Miejsce uformowania się Prasłowiańszczyzny.— Slavica Lundensia, 1973, 1, s. 60.
41. *Rospond S.* Prasłowianie w świetle onomastyki.— In: I Międzynarodowy kongres archeologii słowiańskiej. Warszawa, 1965. Wrocław — Warczawa — Kraków, 1968, s. 134—135.

ВОПРОСЫ ЯЗЫКОЗНАНИЯ

№ 4 1985

ПИОТРОВСКИЙ Р. Г.

ЛИНГВИСТИЧЕСКИЕ УРОКИ МАШИННОГО ПЕРЕВОДА *

Уже почти сорок лет, начиная с первых опытов А. Бута и Р. Риченса, идет спор между лингвистами-«машиноборцами» и языковедами, верящими в научно-техническую ценность и перспективность МП и иных форм автоматической переработки текста (АПТ). Аргументация обеих сторон в этой всем изрядно наскучившей дискуссии хорошо известна, да и последнее слово в таких спорах принадлежит обычно истории науки и техники. Поэтому, оставляя в стороне спор о полезности и реализуемости МП и его разновидностей, рассмотрим те результаты и уроки, которые языковеды извлекают или могут извлечь из почти сорокалетнего опыта построения формально-машинных моделей языка и речи и использования этих моделей на ЭВМ.

Одним из наиболее существенных методологических итогов инженерно-лингвистических исследований явилось обнаружение глубокой антиномии, противопоставлявшей фундаментальные лингвистические теории и их приложения к языковому материалу. Ее существо заключалось в том, что языковеды, не располагавшие методическим аппаратом для оперативной проверки онтологичности используемой ими теории, т. е. ее соответствия объективной действительности, вынуждены были опираться одновременно на несколько, часто взаимоисключающих друг друга гипотез. При этом преимущество отдавалось в лучшем случае той теории, которая отвечала критериям непротиворечивости, полноты и простоты. Бывало, что эти теории оценивались, исходя из таких интуитивно-романтических критериев, как сенсационная новизна или красноречие автора теории. Еще недавно языковед, приступавший к решению конкретной лингвистической задачи или к разработке воспроизводящей инженерно-лингвистической модели (ВИЛМ), был лишен возможности осознанно выбрать в качестве методологического фундамента ту теорию, которая лучше всего отражает онтологию изучаемого лингвистического объекта. Эта ситуация напоминает до некоторой степени положение в географической теории и мореплавании эпохи Великих географических открытий, когда многие прославленные путешественники планировали свои экспедиции, исходя из таких произвольных гипотез, как уменьшенные размеры земного шара и существование только одного океана, отделяющего Европу от Дальнего Востока, наличие в Южном полушарии обширной Terra Australis, уравновешивающей Евразию, или существование сказочных Эльдорадо и Маноа. Параллели можно найти и в судьбе некоторых фундаментальных лингвистических гипотез XX века. Оставляя в стороне «анализ по четырем элементам» Н. Я. Марра, вспомним очень популярную в 50-х и 60-х годах идею построения машинного перевода на основе хомскианских концепций глубинных структур и их трансформаций, которая была принята ad hoc без предварительной экспериментальной проверки. Понадобилось не менее пятнадцати лет безуспешных поисков с гигантскими затратами времени и средств, чтобы прийти к выводу о том, что «лингвисты, занимающиеся трансформационным анализом, которых общественное мнение обычно связывает с работой на компьютерах, практически не имеют отношения к машинному переводу» [1].

* Настоящая статья представляет собой обобщение и дальнейшую разработку идей и результатов, изложенных автором на Международном семинаре по машинному переводу, проходившем в Москве 5—10 декабря 1983 г., и на III симпозиуме по лингвистическим аспектам искусственного интеллекта (Ленинград, 2—4 апреля 1984 г.).

Еще более красноречивый пример того, как недостаточно обоснованная онтологически гипотеза направляет прикладника или языковеда-практика по тупиковому пути, дает другая отрасль инженерной лингвистики (ИЛ) — автоматическое распознавание и понимание устной речи. Развернувшиеся в 50—60-х гг. работы по созданию устройств для автоматического анализа речи безоговорочно опирались на гипотезу, согласно которой звучащая речь представляет собой цепочку дискретных единиц-фонем. Альтернативная гипотеза, подсказанная материалом тоновых языков Восточной и Юго-Восточной Азии, по которой реальной единицей звучащей речи является силлабофонема [2], полностью игнорировалась. При этом фонема понималась то как типизированный гомогенный звук, то как нечленимая в синтагматике единица, функционирующая в составе морфемы, то как пучок смыслоразличительных признаков.

Эти концепции фонемы принимались многими фонетистами и инженерами-акустиками на веру, без предварительной экспериментальной проверки. И только неудачи при построении действующих систем по распознаванию слитной речи обнаружили, что названные теории не учитывали, по крайней мере, двух онтологических свойств звука: 1) акустической изменчивости каждого звука в ходе его произнесения; 2) размытости границ звука, приводящей к «взаимонаплыванию» соседних звуков в потоке речи.

В результате многие фонетисты и инженеры-акустики стали склоняться к тому, чтобы считать фонему более или менее удобной гносеологической гипотезой-фикцией [3], не имеющей под собой достаточно глубокого онтологического фундамента. Одновременно в работах по распознаванию вместо фонемы начинают применяться такие понятия, как «дифон», «транзема» или «звуковой сегмент» [4, 5]. Эти понятия, учитывающие онтологию звуковой речи, представляют звуковые единицы меньшего размера, чем фонема.

Разумеется, периодический пересмотр фундаментальных концепций — это явление, свойственное всем наукам. Мощным средством оперативной проверки теоретических гипотез является хорошо спланированный и теоретически обоснованный эксперимент. Если говорить о языкознании, то здесь из-за недостатка экспериментальных методик фундаментальные концепции и гипотезы проверяются обычно не с помощью предварительного эксперимента, но путем многолетнего испытания в практических исследованиях языка и речи. Более того, слабость экспериментальных методик часто не дает возможности проверить до конца онтологическую ценность той или иной лингвистической теории. Поэтому многие старые, иногда даже скомпрометировавшие себя теории продолжают существовать рядом с современными взглядами на язык и его природу. В основе этой странной ситуации лежат субъективные причины: в отличие от наук о неживой природе, языкознанию, как, впрочем, и другим наукам о человеке, приходится иметь дело с «мягкой» (нечеткой) структурой исследуемого ею объекта и нестационарными процессами в текстообразовании и диахронии. Все это затрудняет применение традиционных и развитие новых экспериментальных методик.

Тем не менее сорокалетний опыт развития МП и ИЛ показывает, что предварительная проверка онтологической состоятельности лингвистической модели является разрешимой задачей. В качестве примера вспомним историю реализации лексико-фразеологического (пословно-пооборотного) МП. При всей внешней простоте и, казалось бы, примитивности указанной схемы по сравнению с концепцией грамматического, или «высококачественного» семантико-синтаксического автоматического перевода (АП), онтологическая состоятельность идеи лексико-фразеологического МП была предварительно подтверждена информационным экспериментом. Этот эксперимент показал, что от 67% до 85% информации текста заложено в лексических единицах (словоупотреблениях и словосочетаниях) [6]. Поэтому центральной задачей при построении действующей системы лексико-фразеологического МП было составление большого автоматического словаря (АС), который стал не просто информационно-лингвистической базой системы, но и ее алгоритмическим ядром. Основной ячейкой здесь

является словарная статья, которая благодаря открытости ее построения и заданию в ней функциональной (синтагматической) информации дает возможность лексико-фразеологическому МП при всей примитивности выдаваемого им перевода обойти некоторые препятствия, создаваемые парадоксами формализации и барьером отторжения [29], который возникает между компьютером и естественным языком [6, с. 44—54, 358—366].

Что касается альтернативных концепций, то их онтологическая состоятельность оставалась неясной вплоть до того момента, когда их авторы

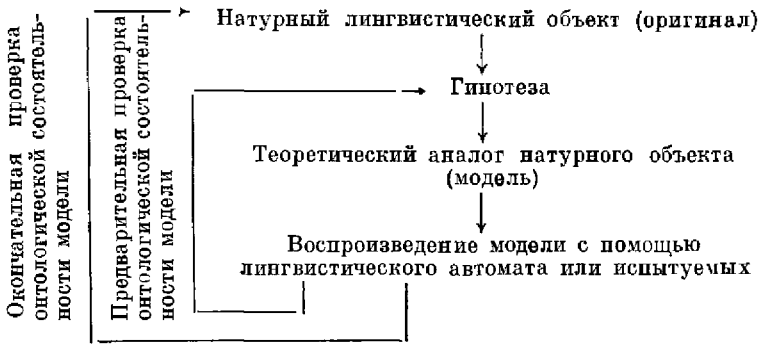

Рис. 1. Схема воспроизводящей лингвистической или инженерно-лингвистической модели

приступили к построению действующих систем МП. Именно в ходе машинной реализации этих систем стало ясно, что заманчивые умозрительные идеи «высококачественного» АП, не проверенные промежуточным экспериментом, парализуются барьером отторжения и парадоксами формализации.

Итак, опыт разработки МП показал, что наиболее эффективной формой реализации фундаментальных лингвистических теорий является представление их в виде структурных или динамических воспроизводящих моделей (рис. 1). В отличие от широко использующихся в настоящее время теоретических моделей воспроизводящие модели должны обеспечить проверку онтологической состоятельности лингвистических теорий. Несмотря на слабое по сравнению с другими науками развитие теории и практики эксперимента в языкознании эту проверку уже сейчас можно проводить с помощью таких приемов, как информационно-статистический и просто квантитативный эксперименты, глоттохронологический и диалектный опыты, нейро- и психолингвистический, а также дидактический эксперименты и, наконец, машинно-грамматический и машинно-лексикологический опыты [6, с. 77—267; 7—9].

Важнейшей задачей языкознания является развитие теории и практики лингвистического эксперимента, который, став основой для теоретических выкладок, строящихся сейчас больше «на вере, чем на познании» [10], дал бы возможность нашей науке преодолеть барьеры, отделяющие ее теорию от языкового материала. Превращение языкознания из науки преимущественно описательно-спекулятивной в науку экспериментально-теоретическую является, на мой взгляд, основным условием того, чтобы лингвистика стала равноправным членом в системе общественных и естественных наук эпохи научно-технической революции. Таков первый гносеологический урок, который мы извлекаем из сорокалетней истории машинного перевода и инженерной лингвистики.

С момента своего зарождения системный подход к изучению языка был связан с теорией знака, которая реализовалась в виде таких конкурирующих гипотез, как прагматическая концепция Ч. Морриса, билатеральная психическая схема Ф. де Соссюра, «треугольник» Г. Фреге и Р. Карнапа вплоть до современных более сложных многокомпонентных построений Д. Науты, Г. П. Мельникова [11] и др.

Различия в этих семиотических концепциях объясняются, в первую очередь, разным пониманием их авторами природы языка, в том числе со-

отношения основных (конститутивных),— т. е. коммуникативной и экспрессивной (отражательной),— функций и дополнительных (прагматической, поэтической, магической, фатической, метаязыковой, референционной, контекстуальной и т. д.) функций. Так, для Ч. Морриса доминирующей оказывалась коммуникативная и прагматическая, а для Г. Фреге, Р. Карнапа и их последователей — экспрессивная функция языка. Последняя функция оказывается ведущей и в семиотической схеме Г. П. Мельникова. Что же касается Ф. де Соссюра, то он при построении своей билатеральной схемы знака исходил из постулата психичности и гештальтного (целостного, неанализируемого) отражения в нашем сознании объекта внешнего мира. В ходе построения действующих систем МП, в том числе и при неудачных попытках реализовать высококачественный АП, возникла необходимость построить эффективные модели словесного знака и коммуникации на естественном языке. Реализация этих задач становится мощным средством проверки онтологической состоятельности отдельных семиотических гипотез. Одновременно (и это самое главное) в ходе построения реальных систем МП и других видов АПТ постепенно выкристаллизовываются те схемы словесного знака и речевой коммуникации, которые полнее всего отвечают коммуникативно-экспрессивной природе естественного языка.

Вклад ИЛ и МП в построение онтологически содержательных семиотических и коммуникативных схем можно свести к следующим пунктам.

1. В ходе создания реальных систем МП еще раз подтвердился высказываемый психолингвистами тезис о том, что построить универсальную систему АПТ, которая была бы способна перерабатывать текст без учета его принадлежности к определенной тематической или жанровой разновидности языка и прагматики адресата, невозможно. И дело здесь не столько в кризисе размерности, парализующем построение и функционирование такой универсальной системы, сколько в трудноразрешимых парадоксах самой коммуникации, создающих барьер на пути создания систем АПТ, обладающих универсальной прагматикой. Сущность основного парадокса состоит в том, что реальное содержательное сообщение заключает в себе три смысла — независимый от коммуникантов универсальный смысл, авторский смысл и, наиболее важный с точки зрения целей коммуникации, перцептивный смысл, извлекаемый из сообщения самим адресатом [13] (к этому вопросу мы еще вернемся ниже). Для того, чтобы преодолеть или хотя бы ослабить указанный парадокс, в машинную модель словесного знака (точнее — в словарную статью лексической единицы АС) потребовалось ввести информацию о потенциальном адресате и той жанрово-тематической среде (ситуации), в которой функционирует данный знак. Можно предполагать, что такая информация как-то фиксируется и в реально существующей «записи» языкового знака в мозгу человека.

Все созданные до настоящего времени реально функционирующие системы МП используют два типа лексико-семантических алгоритмов: 1) автоматические словари словоформ, слов и словосочетаний, осуществляющие грубый «денотативный» перевод по схеме «входная лексическая единица (ЛЕ) — выходная ЛЕ» [6, с. 30—32; 358—366]; 2) алгоритмы распознавания смыслового образа, заключенного в тексте и его фрагментах, устранение языковой неоднозначности ЛЕ с помощью компонентного анализа их десигнатов, учета значимостей и реализованных валентностей [6, с. 255—307; 314—353; 367—376; 14]; при этом предполагается, что «десигнативные» алгоритмы станут центральным звеном «интеллектуальных» блоков ЭВМ пятого поколения [15].

Из сказанного следует, что в модели словесного знака, используемой как в теоретическом, так и в прикладном языкознании, должны быть учтены не только противопоставление денотата и десигната, но также противопоставление значимости и валентности знака. Ниже будет показано, что одной из сложнейших и пока нерешенных задач МП является моделирование вторичного означивания (семиозиса), в котором принимает участие коннотат знака.

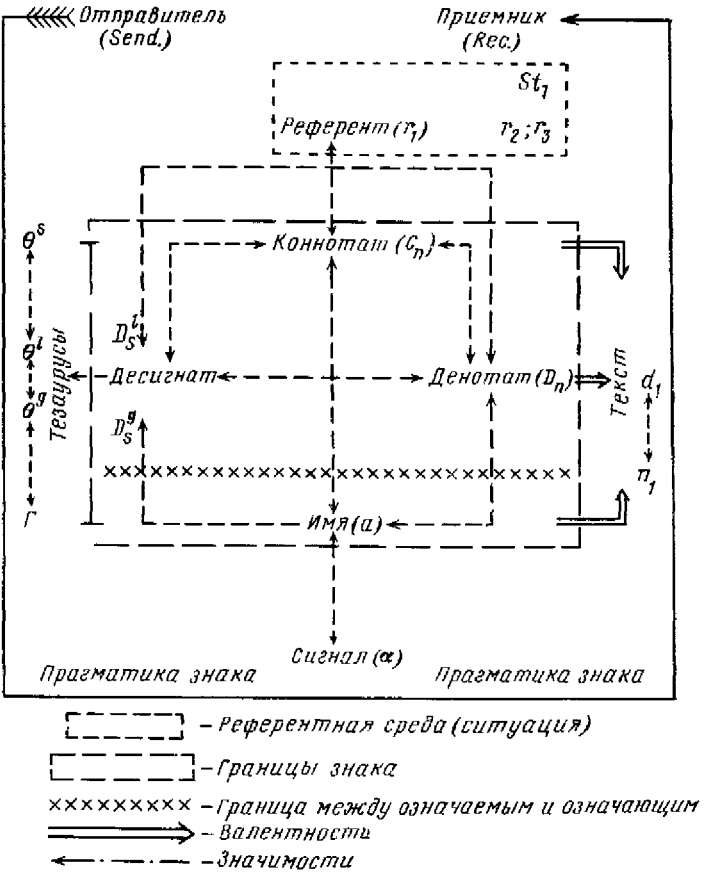

Рис. 2. Лингвистический знак и его окружения

Итак, учитывая опыт машинного моделирования языка и речи, можно предложить в качестве исходной модели ту схему словесного знака и его окружения, которые показаны на рис. 2. Поскольку эта схема понадобится нам при рассмотрении других лингвистических результатов МП, ее необходимо прокомментировать.

Знак, являясь психической сущностью, включает: 1) денотат D_n, т. е. целостный образ реального или воображаемого объекта внешнего мира в мозгу носителя языка; 2) десигнат с его лексическим (D_s^l) и грамматическим D_s^g) аспектами, т. е. тот элемент системы социального опыта, который соответствует денотату; 3) коннотат, представляющий собой совокупность эмоциональных, оценочных и смысловых ассоциаций, содержащихся в означаемом знаке,— ассоциаций, служащих базой для вторичного семиозиса (переозначивания) знака; 4) имя (форму) а, т. е. внутренний психический образ сигнала α.

Окружение лингвистического знака охватывает: а) референт r, т. е. объект реальной действительности; б) сигнал (материальный носитель информации) α, представляющий собой физическое состояние или процесс, который выступает как средство обозначения объекта r; в) парадигматическую систему языка (человеческая «база данных»), которая включает стилистический — θ^s, концептуальный (лексический — θ^l, грамматический — θ^g) тезаурусы, множество формальных средств выражения (Г), а также лингвистическую компетенцию отправителя и получателя сообщения; г) множество коммуникативных ситуаций (S_1^t, S_2^t. . . и т. д.); д) тексты, которые содержат смысловые (d_1, d_2 . . . и т. д.) и формальные (Γ_1, Γ_2 . . . и т. д.) элементы; е) прагматические намерения отправителя (Send.) и получателя (Rec.).

Знак формируется в результате семиозиса (знакообразования), или

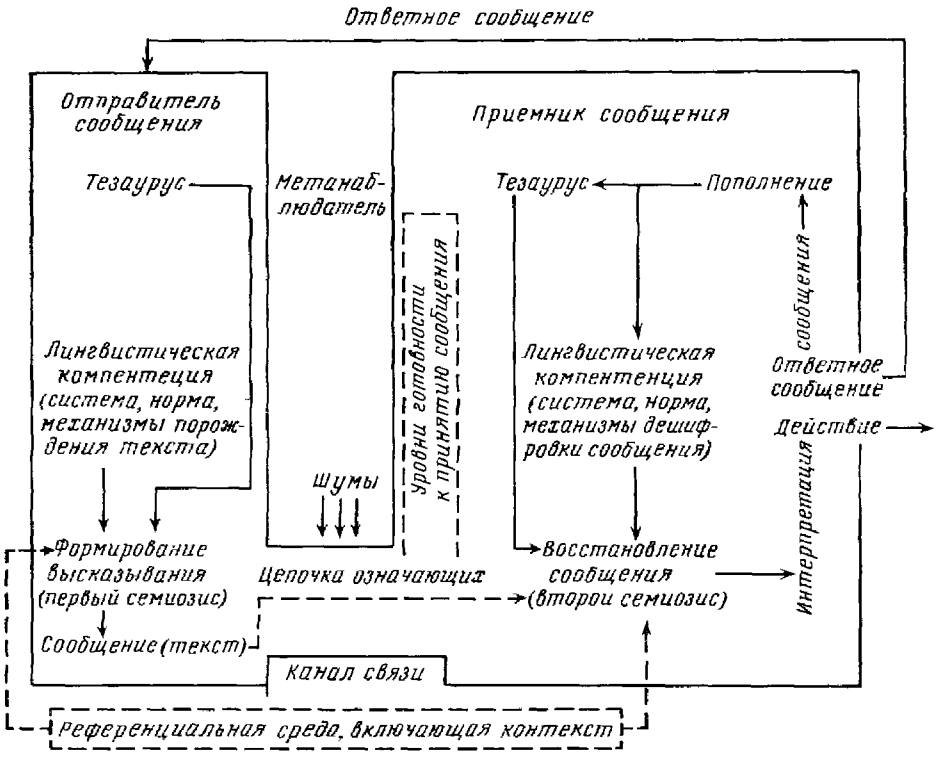

Рис. 3. Схема речевой коммуникации

означивания, которое представляет собой процесс, описывающийся пятичленным отношением R_s ($\alpha \rightarrow a$; $r \rightarrow D_n \rightarrow D_s$; C_i; Send, Rec).

2. Действующие системы машинного перевода и других форм АПТ ценны тем, что они дают возможность наблюдать знаково-коммуникативный механизм порождения, передачи и приема сообщения. В частности, эти модели со всей очевидностью показывают, что в ходе речевой коммуникации знакообразование осуществляется дважды: первый раз при порождении сообщения его отправителем и второй раз при приеме и дешифровке сообщения абонентом (рис. 3). Из этого, казалось бы, самоочевидного факта (действительно, по каналу связи от отправителя к приемнику передаются не сами знаки, но воплощающие их сигналы) вытекает важное следствие. Оно состоит в том, каждый из указанных семиозисов регулируется не только коллективным стереотипом системы и нормы языка, но также интенциями и «видениями мира» отправителя и/или получателя (получателей) сообщения. Именно этим и объясняется присутствие в сообщении трех смыслов («общеязыкового», авторского и смысла, извлекаемого приемником), о которых мы говорили выше.

Одновременно в ходе речевой коммуникации появляются условия для возникновения вторичного означивания (вторичного семиозиса), опирающегося как на коллективные коннотативные потенции знаков, так и на индивидуальные смысловые (и формальные) намерения коммуникантов. Напоминаем, что в ходе вторичного семиозиса узаконенный системой и нормой языка знак сам становится означающим для вновь созданного в процессе данной коммуникации или уже бывшего в ходу концепта (смысла).

Обычно считают, что вторичный семиозис, лежащий в основе каждого тропа, используется главным образом в литературно-художественной и отчасти разговорной речи. Однако, как выясняется, научно-технические, деловые и публицистические тексты также не могут обойтись без вторичного означивания, которое служит средством выражения новых понятий и выводов, а также применяется для воплощения «рематических» фраг-

ментов повествования [1]. О масштабах вторичного семиозиса в указанных текстах можно судить по массовым машинным переводам наугад взятых и не подвергавшихся пост- и предредактированию (т. е. подгонке под алгоритм) текстов. Здесь более половины лексико-семантических ошибок обычно падает на случаи вторичного семиозиса, который в настоящее время не может быть распознан и правильно переработан лингвистическим автоматом. Ср. примеры, приводимые в [6, с. 360, 366].

Итак, инженерно-лингвистические исследования и их массовая реализация помогают выявить скрытые от прямого наблюдения, сложные механизмы порождения и восприятия речевого сообщения, а также эксплицировать сопровождающие их семиотические процессы актуализации языковых значений в текстовые смыслы с помощью вторичного семиозиса. Одновременно МП помогает лингвистам осознать парадокс трех смыслов текста,— парадокс, в котором реализуется гумбольдтовская антиномия языка и идиолекта, а также противопоставление системы языка (тезауруса) и текста. Эти результаты составляют второй лингвистический урок МП.

По мере развития структуральных теорий языковеды вынуждены были приступить к их воплощению в виде модельных схем, призванных описывать сначала отдельные аспекты языка, а затем и язык в целом. Эти модели строились, как правило, путем введения фиксированного числа отношений, на основе которых с помощью определенного исчисления развертывалась закрытая система с конечным числом элементов. Каждый из этих элементов должен был выступать в качестве аналога реального лингвистического объекта. После пионерских работ Л. Ельмслева и И. Шахтера, пытавшихся еще в 20-е и 30-е годы строить закрытые пространства логико-грамматических универсалий, исследования в этой области стали приобретать все более широкий размах. В 60-х и 70-х годах эти работы, «поддержанные» интересами МП с одного языка на другой и переводами с естественного языка на искусственный, достигли наибольшего размаха. В этот период появляются десятки построенных на традициях лейбницевского универсализма логических языков, призванных по замыслу их авторов давать с помощью лексико-семантических кодов однозначные и непротиворечивые десигнативные описания объектов и фактов внешнего мира.

Вопрос о соотношении естественных и логических языков и возможностях описания естественного языка с помощью универсальных логико-семантических кодов является сложнейшей эпистемологической проблемой, которая не может быть детально рассмотрена и оценена в рамках статьи. Поэтому, несколько упрощая ситуацию, напомним, что с одной стороны, существуют многочисленные, выполненные в неопозитивистском плане исследования, авторы которых пытаются обосновать правомерность и перспективность построения универсальных логико-семантических пространств. С другой стороны, высказывались и высказываются принципиальные сомнения по поводу возможности построения жестких закрытых логико-семантических схем, способных дать исчерпывающее метаописание объектов и фактов внешнего мира и их отражений в языковом сознании носителей языка. Эти сомнения, высказываемые представителями так называемого научного реализма, основываются на восходящем к постулатам о языке Л. Виттгенштейна предположении о том, что высказывание на ЕЯ является первичным и изначальным по отношению к логическому высказыванию, а не наоборот [17].

Сомнения по поводу возможности получать с помощью универсального логико-семантического кода адекватные описания объектов ЕЯ еще более возрастают при знакомстве с реальными примерами этих метаописаний, которые, принимая достаточно произвольную форму, не соответствуют языковому вкусу и здравому смыслу носителя языка (см. табл. 1).

[1] Здесь уместно вспомнить немецкое название известной работы З. Фрейда «Das Ich und das Es» и его английский перевод «The Ego and the Id», где местоимение *Es*(*Id*), переозначиваясь, становится выражением «подсознательной, анимальной инстинктивной области импульсов и потребностей», а *Ich*(*Ego*) обозначает сознательную или по большей части способную к сознанию область [16].

Слова	Интерпретация на универсальном семантическом коде [63]		Интерпретация в „Словаре русского языка" С.И. Ожегова [19]
	Формульная	Словесная	
Сидеть	$S\bar{S}\downarrow\leftarrow_{a} A\bar{0}\bar{0}$	Агент покоится посредством нижнего и тыльного медиатора [18, с.155]	Находится в неподвижном положении, при котором туловище опирается на что-то нижней своей частью, а ноги согнуты или вытянуты
Отец	$/S/\bar{S}_{ж} \square AS\bar{S}_{ж} A\bar{0}\bar{0}$	Агент, призванный посредством неотчуждаемого эффектора сделать так, что другой агент посредством неотчуждаемого медиатора делает третьего агента существующим [18, с.159]	Мужчина по отношению к своим детям
Мальчик	$S\bar{S}_{ж} \urcorner\{A\}\bar{0}\bar{0}// /S'/\bar{S}_{ж} \diamond A/S/\bar{S}_{a} AS\bar{S}_{ж} A\bar{0}\bar{0}$	Агент, который недолго существует и способен посредством неотчуждаемого эффектора делать так, что другой агент посредством неотчуждаемого эффектора делает третьего агента существующим [18 с.155]	Ребенок мужского пола, подросток

Если вернуться к инженерной лингвистике, то здесь проблема соотношения естественных и искусственных языков оказывается теснейшим образом связанной с задачами устранения неоднозначности и актуализации словарных значений ЛЕ. Одновременно в этот круг эпистемологических идей и прикладных задач вовлекаются вероятностно-статистические приемы, информационные измерения языка и вопросы структурной организации конкретного ЕЯ.

Снятие многозначности и актуализация словарных значений ЛЕ производятся в современных лингвистических автоматах (ЛА) с помощью блоков двух типов. Блоками первого типа являются АС оборотов и алгоритмы, исследующие контекстное окружение ЛЕ [6, с. 105—115; 367—376]. Эти блоки, оперирующие целостным «денотативно-гештальтным» (рис. 2) представлением ЛЕ, обеспечивают простое по исполнению, быстрое и надежное устранение неоднозначности лексических единиц и их актуализацию. Однако эти преимущества денотативных моделей обесцениваются их слишком большим размером. Действительно, как показывают информационные измерения содержащейся в этих словарях и алгоритмах синтаксической и семантико-прагматической информации, полные комплекты контекстных алгоритмов и АС «машинных» словосочетаний (оборотов) просто не помещаются в памяти серийных ЭВМ средней мощности [6, с. 15, 54]. Поэтому в современных системах МП и искусственного интеллекта денотативные блоки используются как вспомогательное средство для устранения неоднозначности и актуализации значений только у наиболее частых ЛЕ [20].

А что, если использовать информационные измерения относительно гипотезы генеративной лингвистики о существовании в языковом сознании носителя языка семантико-синтаксических ядерных структур, из которых путем применения трансформационных правил выводятся реальные предложения? Не рискуем ли мы обнаружить, что размеры полного набора ядерных структур заметно превышают информационные объемы языковой памяти человека?

Недостаточная эффективность АС оборотов и контекстных алгоритмов заставляет нас применять при автоматической переработке текстов бло-

ки второго типа, использующие компонентный анализ десигната (рис. 2) лексического знака. Все «десигнативные» блоки функционируют согласно процедуре формального распознавания смысла, существо которой состоит в том, что перерабатываемый текст и составляющие его ЛЕ отождествляются с предварительно помещенной в памяти ЛА моделью некоторой предметной области. Эта модель представляет собой искусственный язык, организованный в виде семантической сети или древесного тезауруса. После того как значение каждой ЛЕ текста оказывается отождествленным с определенным множеством семантических элементов (сем) сети или тезауруса, строятся декартовы произведения этих множеств. При этом каждое произведение соответствует той или иной последовательности (цепочке) словоупотреблений текста. Затем с помощью фильтрующего алгоритма из всей совокупности полученных цепочек отбирается та цепочка, которая является допустимой с точки зрения правил сочетаемости сем в данном языке. В результате применения этих процедур словарная неоднозначность словоформ, входящих в цепочку, оказывается устраненной [6, с. 367—376; 21].

Теоретический вывод, который можно извлечь из построения и функционирования «десигнативных» процедур в ЛА, состоит в том, что применяемые для формального описания лингвистических объектов искусственные языки должны строиться в виде открытых, способных к постоянному расширению и пополнению систем. Попытки формализовать открытый, непрерывно развивающийся естественный язык с помощью фиксированной номенклатуры [11, с. 243—249] неизменно приводят к возникновению таких ситуаций, при которых некоторые лингвистические объекты не могут быть адекватно описаны в терминах данного закрытого ИЯ. Именно за счет этой слабости закрытого ИЯ следует отнести появление приведенных выше (табл. 1) гротескных метаописаний для отдельных русских слов. Эта же антиномия закрытого языка автомата и открытого ЕЯ помешала использовать надежную номенклатуру Л. Ельмслева в системах МП и автоматического реферирования. Для формального представления в лингвистическом автомате значений английских, французских и русских предлогов пришлось построить открытый, бесконечно ветвящийся предложно-падежный тезаурус [6, с. 269]. Разумеется, открытость вводимого в ЛА искусственного языка следует понимать как потенциальную возможность для человека, работающего с ЛА, легко и беспрепятственно расширять и достраивать этот ИЯ, сообщая о всех его изменениях автомату. Сам же ЛА, не способный распознать вторичный семиозис [22] и преодолеть парадокс трех смыслов текста, практически не может самостоятельно расширять и пополнять введенный в него человеком искусственный язык. Любой ИЯ, включая фреймовые системы, оперирующие конечным числом шаблонов, остается по своему существу фиксированной номенклатурой или исчислением, изменить которую способен только человек.

Опыт разработки и реализации машинных алгоритмов, предназначенных для устранения неоднозначности и актуализации словарных значений ЛЕ, показывает, что оптимальные решения дает взаимодействие в ЛА, с одной стороны, «десигнативных» блоков, использующих компонентный анализ и фильтры, а с другой — «денотативных» блоков, которые функционируют вместе с процедурой вероятностного прогноза, опирающейся на цепи Маркова. Указанные алгоритмы, возможно, являются аналогами десигнативных, денотативных и вероятностно-прогнозирующих механизмов, используемых человеком при распознании смысла текста. Удельный вес каждого из этих механизмов в процессе расшифровки сообщения зависит, по всей вероятности, от строя языка. Для агглютинирующих языков с их прозрачным, экономным и удобным строением ведущее место занимают «десигнативные» механизмы, в то время как во флективных языках с их «неуловимыми корнями, постоянно меняющими свою огласовку и теряющимися среди префиксов и суффиксов» [23], должны преимущественно использоваться вероятностные «денотативные» процедуры. Это предложение подтверждается практикой МП. При анализе и синтезе тюркского текста удобнее пользоваться сегментирующими словоформу «десиг-

нативными» алгоритмами [24]. Что же касается автоматической переработки текста на флективном или флективно-корневом языке, то здесь приходится либо осуществлять искусственную агглютинизацию флективных словоформ [9, с. 262] с тем, чтобы затем применить «десигнативную» процедуру, либо использовать автоматические словари оборотов и анализирующие контекст «денотативные» алгоритмы [6, с. 105—115; 367—376].

Все эти теоретические и практические результаты, полученные при реализации семантического МП, составляют третий лингвистический урок машинного перевода.

Машинный перевод прошел трудный путь, на котором было больше неудач, чем реальных успехов. Однако каждый успех и особенно неудача проверяли состоятельность определенной лингвистической концепции и определяли дальнейшие перспективы и пути развития этой концепции. В этом, вероятно, и состоит основная ценность машинного перевода для современного языкознания.

ЛИТЕРАТУРА

1. *Troike R.* The future of MP.— American Journal of Computational linguistics, 1976, v. 13, № 6.
2. *Драгунов А. А.* Грамматическая система современного китайского разговорного языка. Л., 1962, с. 21—22.
3. *Реформатский А. А.* О реальности модели.— В кн.: Проблемы лингвистической типологии и структуры языка. Л., 1977, с. 4.
4. *Шуп Дж. Е.* Фонологические аспекты распознавания речи.— В кн.: Методы автоматического распознавания речи. I. М., 1983, с. 175—176.
5. *Вертлиб А. И., Жидовинов А. Ф., Петров А. Н., Пиотровской Р. Г., Туркин В. Н., Чайковская И. И.* Лингвистика для роботов и автоматизированное управление воздушным движением.— В кн.: Инженерная лингвистика и преподавание иностранных языков с помощью ТСО. Л., 1981, с. 22—24.
6. *Piotrowski R.* Text — Computer — Mensch. Bochum, 1984, S. 234—245.
7. *Слама-Казаку Т.* Методика психолингвистического исследования при контрастивном анализе.— В кн.: Психолингвистика. М., 1984.
8. *Алексеев П. М., Герман-Прозорова Л. П., Пиотровский Р. Г., Щепетова О. П.* Основы статистической оптимизации преподавания иностранных языков.— В кн.: Статистика речи и автоматический анализ текста. 1974. Л., 1974.
9. *Пиотровская А. А.* Машинная морфология русского глагола.— В кн.: Статистика речи и автоматический анализ текста. 1972. Л., 1973, с. 260—276.
10. *Fry D. B.* Allocution du président du conseil permanant.— Proceedings of the 7-th International congress of phonetic sciences. The Hague — Paris, 1972, p. 5.
11. *Мельников Г. П.* Системология и языковые аспекты кибернетики. М., 1978, с. 218—266.
12. *Бруннер Дж. С.* Онтогенез речевых актов.— В кн.: Психолингвистика. М., 1984.
13. *Гончаренко В. В., Шингарёва Е. А.* Фреймы для распознавания смысла текста. Кишинев, 1984.
14. *Лесохин М. М., Лукьяненков К. Ф., Пиотровский Р. Г.* Введение в математическую лингвистику. Лингвистическое приложение основ математики. Минск, 1982, с. 92—149.
15. *Walter G.* Intelligent supercomputer: the Japanese computer sputnik.— Journal of information and image management, 1983, v. 16.
16. *Конечный Р., Боухал М.* Психология в медицине. Прага, 1983, с. 176—177.
17. *Хинтикка Я.* Логико-эпистемологические исследования. Сборник избранных статей. М., 1980, с. 245—280.
18. *Мартынов В. В.* Универсальный семантический код. Грамматика. Словарь. Тексты. Минск, 1977, с. 155, 159.
19. *Ожегов С. И.* Словарь русского языка. М., 1981.
20. *Beliaeva L. N., Piotrowski R. G.* The stratificational approach to modelling of unitary database.— Computers in literary and linguistic research. 11-th international Conference [of the Association for literary and linguistic computing], 2—6 April 1984. Louvain, 1984, p. 27.
21. *Knowles F. E.* Recent Soviet work on computer techniques for representing natural language meaning.— In: The analysis of meaning. Proceedings of a conference held by the Aslib informatics group and the BCS information retrieval specialist group. 26—28 March 1979. The Queen's College, Oxford, 1979, p. 71—73.
22. *Степанов Ю. С.* Семиотика. М., 1971, с. 92—95.
23. *Трубецкой Н. С.* Мысли об индоевропейской проблеме.— ВЯ, 1958, № 1, с. 77.
24. *Бабанаров А.* Разработка принципов построения словарного обеспечения турецко-русского машинного перевода: Автореф. дис. на соискание уч. ст. канд. филол. наук. Л., 1981, с. 13—16.

ВОПРОСЫ ЯЗЫКОЗНАНИЯ

№ 4 1985

ГАК В. Г.

К ЭВОЛЮЦИИ СПОСОБОВ РЕЧЕВОЙ НОМИНАЦИИ

Основным элементом исторического развития языка является изменение отношения номинации, т. е. соотношения между языковой формой и обозначаемым ею элементом внеязыковой действительности. Приспособление нового языкового средства для обозначения известной реалии или данного языкового средства для обозначения иной реалии или, наконец, появление нового слова для обозначения новой реалии ведет к появлению новых слов (или других единиц языка) либо к изменению значений этих единиц. В речи говорящие постоянно производят выбор между средствами выражения, предоставляемыми им системой языка. Этот выбор подчиняется в известной мере определенным закономерностям, в нем проявляются определенные тенденции. Тенденции эти касаются как элементов внеязыковой действительности, отбираемых говорящими при обозначении предметов и ситуаций, так и способов обозначения этих элементов. Совокупность тенденций в использовании языковых средств, иными словами, определенных типов номинации в речи составляет узус (или норму речи, которую следует отличать от нормы языка). Таким образом, наряду с системой/структурой и нормой языка узус является одним из уровней языковой реализации. Система отражает реализацию общечеловеческих языковых возможностей в организации данного языка. Между элементами системы можно сделать выбор, который всегда будет значим. Норма языка касается конкретной формы реализации системных противопоставлений, она не предполагает выбора (за исключением отдельных случаев колебаний нормы). Узус (норма речи) есть реализация в речи форм, предоставляемых системой и нормой, он вариативен, допускает выбор, который, однако, незначим, поскольку конкурирующие формы выступают в данном употреблении как синонимы. Узус отражает специфику языка не в плане его внутреннего устройства (как система и норма), но в аспекте его функционирования [1].

Узус является важной типологической чертой языка. Он находится в диалектическом соотношении с системой. С одной стороны, между узусом и системой нет отношений жесткой зависимости: одна и та же языковая система может реализоваться в разных узусах, с чем связано формирование функционально-стилевых и национальных вариантов языка. С другой стороны, в закономерностях реализации проявляются многие глубинные свойства языка, что становится особенно очевидным при сопоставлении узусов разных языков. Узус — наиболее динамичный и проницаемый аспект языка, изменения в нем, закрепляясь, превращаются в изменения системы (нормы). В связи с этим представляет несомненный интерес изучение изменений узуса или, иначе говоря, средств речевой номинации, в историческом плане. Данные такого анализа могут представить интерес не только для исторической стилистики, но и для выявления некоторых существенных тенденций в развитии языка. Две эпохи развития языка, разделенные достаточно большим промежутком времени, можно сопоставлять как два разных языковых образования, характеризующиеся каждое своей системой и закономерностями реализации этой системы в речи.

[1] Понятие нормы речи, или узуса, следовательно, близко к тому, что некоторые лингвисты называли «грамматикой речи» или «общей речью» (Ф. Росси-Ланди). Показательно, что Э. Косериу, различая вначале понятие «система — норма — речь», в дальнейшем пришел к необходимости различать еще один уровень реализации, находящийся между языковой нормой и индивидуальной речью [1—3]

Основным методом сопоставительного анализа на уровне речевой реализации является сравнение средств выражения двух языковых образований, используемых в одной и той же ситуации, для выражения одного и того же смыслового задания. Это лучше всего достигается анализом речи билингвов или носителей разных языков в однотипных ситуациях. Однако, если нет возможности обращаться в живой речи, то надежным способом сопоставления языков в аспекте речи может быть сравнение переводов [2]. Разумеется, в переводах мы сталкиваемся с различиями, обусловленными не только объективными расхождениями структуры, нормы и узуса, но и конкретными переводческими решениями. В связи с этим при сопоставительном анализе текстов большое значение приобретает количественный анализ, фиксация частотности наблюдаемого соотношения, что позволяет отделить случайное (переводческое) от закономерного (межъязыкового) [3]. В данной статье мы изложим свои наблюдения над сопоставлением древнерусских текстов и их переводов на современный русский язык, выявляющие некоторые заслуживающие внимания тенденции в эволюции средств речевой номинации в истории русского языка. В качестве объекта исследования использованы тексты и переводы, опубликованные в сборнике древнерусской литературы [8; далее сокращенно — И.] и в пособии [9; далее сокращенно — К.]. В примерах сохраняется орфография этих публикаций. Предметом анализа были произведения XI—XIII вв. «Повесть временных лет», «Житие Феодосия», «Поучение Владимира Мономаха» и др.

Для более ясного представления того, о чем будет идти речь, обратимся к примеру из сопоставления французского и русского языков. В повести П. Мериме «Кармен» фраза *Nous fîmes un bon repas* (букв. «Мы сделали хорошую еду») переведена М. Лозинским на русский язык *Мы плотно пообедали*. Фразы функционально эквивалентны, они описывают одну и ту же ситуацию, включающую три основных компонента: субъект действия, действие и характеристику действия, которые, однако, обозначены в двух языках различно. В русском тексте действие выражено одним глаголом, во французском — аналитическим сочетанием «глагол — имя», которое и обозначает действие, выступая как семантико-функциональный эквивалент русского глагола. Характеристика действия соответственно обозначена по-русски наречием, по-французски — прилагательным. Говорящий по-французски использовал здесь аналитическую структуру, говорящий по-русски — синтетическую, в русском тексте части речи использованы в их первичных функциях (глагол обозначает действие, наречие — квалификацию действия), тогда как во французском — во вторичных косвенных употреблениях (действие обозначается именем, его качество — прилагательным).

Грамматические расхождения сопровождаются лексико-семантическими. Во французской фразе для обозначения принятия пищи употреблен гипероним *repas*, обозначающий это действие независимо от времени дня, в русской — более специализированная номинация (гипоним), указывающая на принятие пищи в определенный период (*обед*). Соответственно и прилагательное *bon* (букв. «хороший») имеет более широкий круг сочетаемости при обозначении положительной оценки, чем русское наречие *плотно*. Эти расхождения не всегда определяются непосредственно структурой языка (по-французски тоже можно было бы сказать *dîner* «пообедать», по-русски, напротив, *хорошо поесть*). Даже сравнение одного предложения показывает расхождения в использовании типов номинаций: аналитических/синтаксических обозначений; гиперонимических/гипонимических обозначений; использование частей речи в прямой/переносной

---

[2] Переводы как основа анализа для сопоставления речевого узуса французского и русского языков использованы нами в работах [4—6], старофранцузского и современного французского языка в [7, с. 193—219].

[3] Следует подчеркнуть, что речь идет о сравнении переводов для выявления норм речевой реализации и выбора средств номинации в речи. Переводы отдельных фраз и отрывков текста часто используются в типологических и исторических работах для иллюстрации структурных схождений и расхождений между языками.

функции. Если такие расхождения не случайны, если они достаточно частотны, подтверждаются многими примерами, то мы можем говорить о специфических тенденциях в использовании номинаций в двух языках (подчеркнем, что тенденция отнюдь не означает обязательность, но лишь большую относительную частоту).

Ниже мы рассмотрим следующие типы номинаций при обозначении отдельных объектов или ситуаций: а) выбор между гиперонимами и гипонимами (объем значения слова); б) использование косвенных (переносных) лексических номинаций; в) использование слов разных частей речи при обозначении одних и тех же номинатов и в связи с этим аналитических/синтетических номинаций; г) ориентация высказывания, диатеза (актив/пассив и параллельные явления) [4]; д) формы связи между номинациями(паратаксис и гипотаксис); е) формы замещения номинаций (местоименная репрезентация). Все эти явления представляют собой существенные аспекты грамматики высказывания и структуры текста.

Объем значения слова. При обозначении одного и того же объекта в тексте может быть употреблен, как отмечалось выше, термин более широкого значения (гипероним) или более узкого (гипоним). Соотношение между гиперонимами и гипонимами в тексте — одна из его существенных типологических особенностей. Исследователи французского языка, например, не раз отмечали склонность этого языка использовать гиперонимию в тех случаях, где другие языки пользуются для номинации словами более узкого значения. Рассмотрим использование родовых и видовых терминов в древнерусском и современном тексте в ряде употребительных семантических групп.

Глаголы движения. Древнерусский глагол *ити* имел широкое значение: он обозначал перемещение в пространстве в общем виде. Значение «передвигаться, переступая ногами», свое первое значение в современном языке, он приобрел позднее. Он был, следовательно, аналогом современных глаголов *двигаться*, *направляться*, что подтверждается текстами: *Пойти* в Римъ (И., 30) «Отправиться в Рим»; И *иде* въ Варяги (И., 30) «И *направился* у Варягам». Поскольку древнерусский глагол *ити*, в отличие от современного *идти*, представлял собой гипероним, в данных примерах мы имеем соответствие объема номинаций. Однако нередко *ити* соответствует современным глаголам-гипонимам, дифференцирующим способ передвижения: *ехать*, *плыть*, даже *ползти*, хотя соответствующие глаголы существовали и в древнерусском языке (следовательно, эти расхождения — не структурные, но функциональные): И *прииде* на мѣсто ...и ссѣде с коня (И., 38) «И, *приехав* на то место, ...слез с коня» (ситуация четко указывает, что Олег ехал верхом, а не шел пешком); И по тому морю *ити* до Рима, а от Рима ...*прити* ...ко Царюгороду (И., 30) «И по тому морю можно *плыть* до Рима, а от Рима... *приплыть* к Царьграду»; *Ити* по Волзѣ (И., 30) «*Плыть* по Волге»; И *идуче* мимо (И., 34) «И когда *плыли* мимо». В «Александрии» читаем: Възведъ же ся змии, около всѣхъ *ходивъ*, *възыде* на лоно Алумпиадѣ и облобыза ю (И., 244), что переведено: «И поднялся дракон, и *прополз* сквозь толпу, и *вполз* на колени к Олимпиаде и поцеловал ее».

Значение «идти пешком» (поскольку *ити* часто использовалось для обозначения движения независимо от способов передвижения) выражалось нередко глаголами от основы *лезть* (особенно когда имелось в виду передвижение с преодолением препятствия или при неудобстве пути): *Сълѣзъ* съ горы сея (И., 30) «И *сошел* с горы той»; *влѣзоша* деревляне (И., 42) «*Вошли* в нее древляне (в баню)»; И не бѣ льзѣ изъ града *вылѣсти* (И., 48) «И нельзя было... *выйти* из города».

Глаголы говорения. В древнерусском тексте прямая речь часто вводится глаголом *речи*, обозначающим речевую деятельность в самой общей форме; ему в современном тексте соответствуют не только гипероним *сказал*, но и гипонимы, дифференцирующие направленность ре-

[4] Рассмотрение ориентации высказывания обосновывается тем, что под номинацией понимается обозначение не только отдельного объекта, но и ситуации (событиная номинация).

чи (*обратился*, *спросил*, *ответил* и т. п.), либо ее содержание (*рассказал*). Вот некоторые из многих примеров: И *рече* един отрок: „Аз преиду". И *реша*: „Иди". (К., 115). «И *сказал* один юноша: „Я проберусь", и *ответили* ему: „Иди"; И *рече* имъ „Дивно видѣхъ Словеньскую землю" (И., 30) «И *рассказал*: „Удивительное видел я в Славянской земле"».

Глаголы бытия. В этой группе гиперонимом является глагол *быть*, гипонимами — глаголы, обозначающие формы бытия определенных субъектов (*жить* о людях, *расти* о растениях, *водиться* о животных, *стоять* о сооружениях и т. д.), либо глаголы, показывающие различные фазы бытия (*наступить*, *становиться*, *сохраняться* и т. п.). В древнерусском тексте *быти* употребляется значительно чаще, чем современное *быть*, ему в переводах нередко соответствуют гипонимы обоих разрядов: а) специфические глаголы бытия: И видѣ ту люди *сущая* (И., 30) «Увидел *живущих* там людей»; Идѣ же *есть* дворъ демьстиковъ (И., 40) «Где *стоит* сейчас двор уставщика»; *Пребы* нѣколико лѣтъ (И., 38) «*Прожил* несколько лет»; *Бѣ* тогда царь Костянтинъ (И., 46) «И *царствовал* тогда цесарь Константин»; Такоже и прочии вои его вси *бяху* (К., 114) «Так *вели себя* в походах и все его воины»; *Бяше* чересъ гроблю мост (М., 56) «А через ров... *был перекинут* мост». В современном языке во многих из этих примеров грамматически правильно было бы употребление и глагола *быть*: *был тогда царем Константин*, *через ров был мост* и т. п., но это, по-видимому, меньше соответствует нормам словоупотребления современного языка, который предпочитает здесь использовать гипонимы; б) фазисные глаголы: Приде Киеву... и *бысть* мир (И., 50) «Вернулся в Киев... и *наступил* мир»; Иде же послѣ же *бысть* Киевъ (И., 30) «Где после *возник* Киев»; И о томъ *бысть* межю ими ненависть (И., 56) «И *поднялась* оттого ненависть между ними»; И *суть* становища еѣ (К., 48) «И *сохранились* места ее»; И *суть* гради их и до сего дне (К., 46) «И *сохранились* города их и доныне». Замена *быть* другими глаголами связана с видо-временными реорганизациями в системе русского глагола: в связи с тем, что *быть* не получил форм совершенного вида, значение возникновения передается иными лексемами (*возникнуть*, *наступить*, *подняться* в переносном использовании), значение завершенной длительности — глаголом *сохраниться*; в современном языке эти значения могут выражаться и специфическими глаголами бытия (*и стоят города их поныне*; *где после был построен Киев*).

Глаголы созидания. В этой группе гиперонимом является глагол *делать* (др.-русс. *творити*), гипонимами — разнообразные специфические глаголы, выбираемые в зависимости от природы объекта и характера самого действия (ср.: *вить гнездо*, *печь пироги*, *строить дом*, *устраивать собрание* и т. п.). Глагол *творити* обнаруживает широкую сочетаемость (в ряде контекстов ему не может соответствовать современное *делать*), его аналогами в современных переводах выступают либо глаголы с более ограниченной сочетаемостью, либо глаголы, конкретизирующие способ создания объекта, так что и в данном случае имеет место переход от гиперонима к гипониму: И *створиша* град во имя брата своего старейшаго (К., 43) «И *построили* городок во имя старшего своего брата»; И по семь *творяху* краду велику (К., 47) «А затем *разводили* большой костер»; И да *творять* им мовь (К., 106) «И пусть *устраивают* им баню»; Мир *сотвориста* (К., 107) «*Заключили* мир» (К., 107); Трызну *творити* (К., 111) «*Совершить* тризну»; И ина много зла *творяху* (К. 105) «И много другого зла *причинили*».

Приведенные факты позволяют сделать вывод, что нередко при переходе от древнерусского текста к современному имеет место сужение объема значения используемого при номинации слова. В истории языкознания высказывались различные мнения относительно развития абстрактности (гиперонимичности) и конкретности (специализации значения) в языке. Одни лингвисты полагают, что первоначально в языках фиксируются синкретичные, недифференцированные понятия, так что совершенствование языка идет по линии дифференциации и специализации выражаемых понятий. Другие, напротив, считают, что создание широких родовых значений — результат более позднего развития языка. В современных язы-

ках гиперонимы и гипонимы используются стилистически. В разговорной, ситуативно обусловленной речи часты случаи использования гиперонимов вместо гипонимов. Художественная выразительность создается нередко именно за счет гипонимов, употребления слов более конкретного значения: в научно-технической лексике наряду с гипонимами образуются и гиперонимы (именно обозначения обобщающих понятий нередко недостает в терминосистемах). Изложенные наблюдения показывают, что употребление одного типа номинации вместо другого нельзя считать мерилом развития языка: языковая эволюция может идти и в направлении от использования гиперонимических номинаций к специализированным.

Глаголы получения и обладания. Функционирование этих глаголов заслуживает особого рассмотрения. Обращает на себя внимание чрезвычайная употребительность в древних текстах глагола *имати*, который обладал широким диапазоном значений; он обозначал и «брать», и «хватать»: *Поималъ* еси всю дань (И., 40) «*Забрал* уже всю дань»; Си имутъ *имати* дань (И., 40) «Станут они *собирать* дань и с нас»; Оружье *емлеть* (И., 54) «Оружие *берет*»; И повелѣ Ольга всемъ своимъ *имати* á (И., 44) «И приказала Ольга воинам своим *хватать* их»; *Имаху* плѣнникы (И., 36) «Кого *захватили* в плен». Глагол *имѣти* выражал обладание, принадлежность, в современных текстах ему соответствует *иметь*, но нередко и *быть*: А главы не *имѣетъ* (К., 228) «А головы не *имеет*»; Ни шатра *имяше* (К., 114) «Не *было* у него и шатра». В обследованных текстах *имѣти* употребляется чаще в переносных значениях, когда его дополнением является существительное, обозначающее не физический предмет, но отвлеченное понятие (такое использование *иметь* более частотно и в современном русском языке): Мир *имеа* ко всем странам (К., 107) «Мир *имея* со всеми странами». И все же в переводах древнерусскому *имѣть* часто соответствуют иные глаголы: *Имяше* власть свою в Полотьскѣ (И., 58) «*Держал* власть свою в Полоцке»; *Имѣти* тя хочю во отца мѣсто (И., 58) «Буду *почитать* тебя как отца»; Мертвыи бо срама не *имамъ*. Аще ли побѣгнемъ, срамъ *имамъ* (И., 52) «Ибо мертвые не *знают* позора. Если побежим, позор нам *будет*». В сочетании с инфинитивом глагол *имать* (*имѣть*) выступал как служебный глагол, выражавший целую гамму значений: от будущего времени до различных модальных оттенков (долженствование, вероятность) [10]. В последнем случае он типологически напоминает глагол «иметь» в современных западноевропейских языках (ср. англ. *to have to*, франц. *avoir à*, исп. *tener que*). Современному русскому языку такое использование *иметь* почти не свойственно. Вот один из многих примеров такого рода: Аще не подступите заутра, предатися *имамы* печенегом (К., 49) «Если не подступите утром, то *вынуждены* сдаться печенегам». Вспомогательным глаголом, образующим сложное будущее время, теперь является только *быть*, тогда как в древнерусском и *иметь*.

Итак, можно сделать вывод, что в древнерусском языке глагол *иметь* обладал значительно бóльшей употребительностью, чем в современном языке, уступив свои некоторые функции глаголу *быть*. Это существенное типологическое явление. Глаголы *быть* и *иметь* определяются как два основных типа структуры узла глагольного предложения. По выражению Бенвениста, в семантико-синтаксическом плане *быть* — это перевернутый глагол *иметь* [11]. *Иметь* позволяет использовать прямопереходную конструкцию, в которой субъект обладания оформлен как подлежащее, а объект как дополнение. Конструкция с *быть* является непереходной, субъект обладания в ней представлен в форме дополнения, объект — в виде подлежащего. При прямом порядке слов обе конструкции различаются актуальным членением [12, с. 66], но при выражении одного и того же коммуникативного задания конструкция с *быть* требует инверсии подлежащего, что часто имеет место в русском тексте. В целом конструкция с *иметь* более свойственна западноевропейским языкам (ср. англ. *I have*, нем. *ich habe*, франц. *j'ai*, исп. *tengo*), с *быть* — русскому (*У меня есть* ...). В индоевропейских языках Европы употребительность *иметь* нарастает по мере движения с востока на запад. Наименее употребителен *иметь* при выражении реальной принадлежности и в служеб-

ной функции в русском языке, уже в украинском и польском его роль заметно возрастает. Еще более употребителен этот глагол в румынском языке [13], далее в языках германской группы, особенно в английском. Но наиболее широко он используется в западнороманских языках, причем в иберийских, пожалуй, еще шире, чем во французском и итальянском. Так, если в двух последних сложные формы глагола могут строиться в ряде случаев с вспомогательным *быть* (франц. *je suis venu*, итал. *sono venuto*), то в испанском и португальском — только с *иметь*. Если локализация в английском или итальянском языках выражается оборотами, восходящими к глаголу *быть* (*there is*, *c'è*), то во французском и испанском — оборотами, восходящими к *иметь* (*il y a*, *hay*). Различие европейских языков в использовании *быть* и *иметь* некоторые языковеды объясняли в терминах языкового прогресса [14, с. 175—198; 15, с. 5; 16, с. 75]. В свое время А. Мейе отметил, что глагол *иметь* в индоевропейских языках образовался позднее, чем *быть*, когда уже возникла идея собственности. До того времени принадлежность выражалась конструкциями с *быть*. Постепенно обороты с *быть* уступили место глаголу *иметь* (ср. лат. *mihi est* → *habeo*), а преобладание *быть* в русском языке (*habeo* = *у меня есть*) интерпретировалось как сохранение более архаичной формы в этом языке. Это вполне сочеталось с общим взглядом А. Мейе на славянские языки как на языки, обладающие «своеобразно архаическим обликом» [17, с. 101, 104, 424]. Сопоставление древнерусских текстов с современными не подтверждает гипотезы А. Мейе и не позволяет видеть в употребительности *быть* вместо *иметь* для выражения обладания и других значений сохранение элементов более архаичного состояния языка. Мы видим, что использование *иметь* не увеличивается, но сокращается по мере развития русского литературного языка [5]. В ряде случаев *быть* вытеснило *иметь*, а не наоборот. Эволюция языка, в частности, в сфере реализации, может идти не только по линии *быть* → *иметь* (как в латинском языке), но и по линии *иметь* → *быть* (как в русском). Причины преобладания *быть* в русском языке надо видеть в действии иных факторов [6].

Использование косвенных (переносных) номинаций. Использование метафорических и особенно метонимических обозначений — одна из типологических характеристик текста, различающая не только тексты разных функциональных стилей, но и тексты разных языков. В исследованном материале встретилось немало случаев изменения образа при переходе от древнего текста к его современному переводу. В древнем тексте свойства, качества, отношение, действие, по-видимому, чаще обозначаются через наименование определенной части тела, метонимически, чем в современном языке: Азъ буду тобѣ в *сердце* (И., 58) «Буду с тобой в *любви*»; Держал бых его против *сердца* своего (К., 150) «Был бы он для меня самым *дорогим*»; А князя их яша *рукама* (К., 119) «Князя же их *схватили*»; *Мышца* (И., 148) «*Сила*»; *Сѣмя* его (И., 148) «*Потомки* его». Действие или состояние изображаются через обозначение соответствующего орудия или средства: Взя градъ *копьемъ* (И., 52) «Взял город *приступом*»; Изнемогаху людье *водою* (И., 48) «Изнемогали люди от *жажды*». Даже в выражении: подразити *нози* мои (И., 226) «поставьте мне *подножку*» указание на часть тела более явно в древнем тексте, чем в современном. Приведенные примеры (а их без труда можно умножить) свидетельствуют о большей тяге древнего языка к метонимическим или синекдохическим обозначениям. Конечно, в этом можно видеть известное влияние библейского стиля или древнегреческой риторики. Употребление слова *семя* для обозначения потомства обычно в тексте священного писания. Выражение Владимира Мономаха И *устнѣ* мои похвалита тя (И., 148) «И *уста* мои да восхвалят тебя» (= *тебя похвалю*) напо-

---

[5] Исследователи, в частности, отмечают, что с развитием русского языка вышли из употребления многие выражения с *иметь*, существовавшие ранее [18, с. 116].

[6] Одно из объяснений этого феномена — отдаленное влияние угро-финского субстрата (или адстрата), но и оно не является убедительным. Сокращение употребительности *иметь* связано с преобразованиями в глагольной системе и в синтаксисе русского языка.

минает о первой строке «Песни песней» (*Пусть уста его меня поцелуют = Пусть он меня поцелует*), где также часть тела изображается как бы действующей независимо от субъекта. Некоторые ученые в подобных метонимических обозначениях склонны видеть и проявление «первобытного» синкретического мышления. Но несомненно, что нельзя это явление объяснять только иноязычным влиянием или «палеонтологией речи»: обозначение чувств и действий через часть тела, с которой они ассоциируются,— обычное явление в языках, и расхождения здесь могут иметь лишь количественный характер (например, в современном французском языке метонимия и синекдоха в обыденной речи — даже вне художественного задания — используются несколько чаще, чем в русском) и конкретно качественный (одни номинации вышли из употребления, иные включились в язык).

Фиксация в наименовании разных сторон именуемого объекта. Разные языки при номинации фиксируют разные признаки и свойства объекта, о котором идет речь, и через эти выделяемые признаки объект может получать различные наименования. Так, движение может быть обозначено по способу передвижения (*бежать сюда*), направлению движения (*приближаться*) или по обоим признакам сразу (*подбегать*). Рассмотрим выражение различных способов действия на примере глагольных приставок, характеризующих действие. Сопоставление текстов выявляет три вида расхождений: а) общий префикс при разных основах; б) разные префиксы при общей основе; в) отсутствие префикса при его наличии в одном из сопоставляемых текстов.

Общий префикс при разных основах свидетельствует о сохранении собственной семантики преверба. С аналогичным явлением мы встречаемся и в современном разговорном языке, когда префикс оказывается семантически более полноценным, чем корень, который может заменяться при создании синонимических обозначений. Ср.: *убежать — удрать — улепетнуть* (последний корень существует только в этом глаголе). Примеры на сохранение префикса: *Примышляше* (И., 40) «***Прибавил***»; ***Прирече*** 10 тысящь (И., 52) «***Прибавил*** 10 тысяч»; ***Пристройте*** меды многи (И., 42) «***Приготовьте*** меды многие»; ***Отпадуть*** от мыслий своихъ (И., 50) «***Откажутся*** от мыслей своих»; И ***оступиша*** печенѣзи градъ в силѣ велицѣ (И., 48) «***Осадили*** печенеги город силою великою»; Рѣчьки ради, яже ***втечеть*** в Двину (И., 28) «По речке, которая ***впадает*** в Двину»; ***Свергъ*** порты (И., 50) «***Скинув*** одежду»; ***Переклюкала*** мя еси, Ольга (И., 48) «***Перехитрила*** ты меня, Ольга»; И ***выникнувши*** зима изо лба, и ***уклюну*** в ногу (И., 38) «И ***выползла*** из черепа змея и ***ужалила*** его в ногу». Большую семантическую самостоятельность проявляет преверб *съ-* (*со-*), обозначающий объединение: ***Съдумавше*** (И., 32) «***Посовещавшись***»; ***Сънемъшемася*** обѣма полкома (И., 42) «***Сошлись*** оба войска»; ***Съсступишася*** битися (И., 48) «***Сошлись*** биться»; ***Сдумавше*** (И., 40) «Держали совет».

В отдельных случаях расхождение префиксов может объясняться различной интерпретацией действительности либо различием реалий. Ср.: ***Съсути могилу*** (И., 42) и ***Насыпать могилу***. Префикс *съ-* подчеркивает, что в древние времена могильный курган сооружали, ссыпая в одно место землю, сгребая ее. Глагол *насыпать* показывает, что землю сыплют сверху. Покидая какое-либо место, субъект начинает движение. Поэтому при обозначении движения прочь можно указать либо на удаление, либо на начало самого движения: ср. современное разговорное *Я пошел* в значении «Я ухожу». Нередко древнерусским глаголом с превербом *по-* соответствуют в современном тексте глаголы с приставками *вы-*, *у-*, обозначающие удаление: Из него же озера ***потечеть*** Волховъ «(И., 28) Из этого озера ***вытекает*** Волхов»; И смирившися с вами *поиду* опять (И., 44) «Заключив с вами мир, *уйду* прочь». Можно сделать вывод, что в древнем языке аспект «удаление» формально выражался менее обязательно, чем в современном языке. Приставки *от-* и *у-*, выражающие это значение, нередко отсутствуют в древнерусском тексте: *Несоша* на гору (И., 36) «***Отнесли*** на гору»; *Несоша* козари (И., 32) «И ***отнесли*** их хозары»; *Пусти* дружину свою домови (И., 40) «***Отпустил*** дружину свою домой»; Камо хочеши отъ мене *ити*? (И., 50) «Куда хочешь ***уйти*** от меня?».

С другой стороны, в древнерусском тексте чаще фиксируется аспект «движение вверх», вследствие чего наблюдается «избыточное» по сравнению с переводом употребление префиксов *въ-* и *въз-*, обозначающих это направление действия. Например: Вборзѣ ***всѣде*** на конѣ (И., 50) «[Святослав с дружиною] быстро *сел* на коней»; И повелѣ Олегъ воемъ своимъ колеса издѣлати и ***воставляти*** на колеса корабля (И., 36) «И повелел Олег своим воинам сделать колеса и *поставить* на них корабли». Префикс *въс-*, заимствованный из старославянского, чаще, чем ныне, выражал начало действия, интенсивность и другие оттенки, передаваемые в современном языке другими префиксами: ***Въструби***ша вельми (И., 50) «Громко ***за***трубили»; И ***въстужи***ша людье въ градѣ (И., 48) «И *стали тужить* люди в городе»; ***Въз***горѣшася (И., 44) «***За***горелись»; ***Вос***хищая и грабя (И., 40) «***Рас***хищая и грабя». Другим, относительно более употребительным превербом в старых текстах является *из-*. Он обозначает действие, направленное изнутри наружу (сейчас в этом значении чаще используется префикс *вы-*): Опъже ***из***иде изъ града (И., 48) «Он же ***вы***шел из города»; ***Ис***копати яму (И., 42) «***Вы***копать яму»; удаление: ***Ис***просистася (И., 34) «***От***просились они»; завершенность действия: ***Из***мывшеся (И., 42) «***Вы***мывшись»; ***Из***гибоша (И., 44) «***С***гинули»; ***Из***би (И., 44) «***У***била».

Отсутствие преверба в древнем тексте при его наличии в современном во многих случаях связано с выражением вида. В древнерусском языке не было категории вида, подобной современной, и превербы играли в нем преимущественно семантическую роль. В современном языке они облечены нередко грамматическим значением, выражая совершенный вид. Поэтому они появляются в переводе там, где их не было в подлиннике. Например: *Зимова* (И., 52) «***Пе***резимовал»; И копье *летѣ* сквозѣ уши коневи (И., 44) «И копье ***про***летело между ушей коня». Завершенность действия, его ограниченность во времени выражены в древнерусском формой времени — аористом, в современном языке совершенным видом, который маркируется префиксом *пере-*, *про-*. Особенно часто отсутствие превербов у глаголов восприятия: *Видѣвше* же печенѣзи (И., 50) «*Увидев* это, печенеги»; *Ни вижю* его боле того (И., 38) «Не ***у***вижу его больше» ; Ти, *слышаще*, дивляхуся (И., 40) «Те, ***у***слышав об этом, удивлялись».

Из сказанного можно сделать вывод, что если такие аспекты действительности, как движение действия изнутри наружу, либо снизу вверх или сверху вниз, более последовательно отмечались в древнерусском тексте, то удаление выражается более последовательно в современном языке. Не выражаемые эксплицитно аспекты реальности подсказываются ситуацией.

Морфологическая форма номинации. Одна и та же семантема в речи может быть представлена словами, относящимися к различным частям речи (ср.: *храбрый*, *храбро*, *храбрость*, *храбриться*), так что одно и то же явление действительности может быть в контексте обозначено словами разных частей речи. Даже при наличии одинакового инвентаря частей речи последние могут использоваться по-разному. Поэтому употребительность частей речи как средства номинации оказывается важной типологической особенностью текстов, языковой реализации. Особенно важно в этом плане соотношение между двумя основными классами слов: именем и глаголом. В истории языкознания не раз высказывалось мнение, что развитие языка связано с номинализацией, распространением существительного как основного номинативного средства. В этом видят проявление развития абстрактного мышления человека, отражение прогресса культуры (номинализация свойственна, например, научно-техническому стилю). Существуют три основные формы номинализации: 1) неполная номинализация — замена личной формы глагола неличными, промежуточными, сочетающими в себе признаки глагола и имени: инфинитивом, причастиями (деепричастие тоже менее «глагольно», чем личная форма). Степень девербализации можно представить в виде следующей шкалы: «личная форма глагола — деепричастие — причастие и инфинитив — отглагольное существительное» (*говорит — говоря — говорящий*, *говорить — говорение*); 2) полная синтетическая номинализа-

ция — замена личной формы отглагольным существительным (*после того, как он ушел — после его ухода*); 3) полная аналитическая номинализация, при которой глаголу соответствует сочетание с существительным (*победить — одержать победу*). Такие сочетания нередко рассматриваются как показатель развитости языка, которую связывают иногда с переходом от одноместной семантической системы (др.-русск. *Он молитвова*) к двухместной (русск. *Он читал, произносил молитвы*) [19, 26—27]. Разумеется, формирование аналитических речений способствует расширению номинативных средств языка, т. к. позволяет более дифференцированно и тонко обозначать экстралингвистические явления. Общая масса таких речений в языке возрастает, поскольку людям современного общества приходится выполнять более разнообразные действия, чем их предкам, жившим 700—900 лет тому назад. Однако, сравнивая переводы и подлинники, мы остаемся в пределах одного и того же ноэтического поля; совокупность означаемых и переход от одних средств выражения к другим здесь не связывается с потребностью расширить номинативные возможности языка. В этом и состоит интерес этих данных.

Неполная номинализация. Довольно часто причастной форме древнерусского языка соответствует в тексте личная форма глагола в переводе. Особенно это характерно при замене дательного самостоятельного придаточным предложением: Князю Святославу *възрастъшю* и *възмужавшю*, нача вои совкупляти многи и храбры (И., 48) «Когда Святослав *вырос* и *возмужал*, стал он собирать много воинов храбрых». Сказуемому придаточного в современном тексте в древнем могут нередко соответствовать менее глагольные формы: деепричастие, причастие, субстантивированное причастие: Куда же *ходяще путем* по своим землям (К., 56) «Куда бы вы ни *держали путь*»; Да *приходячи* русь слюбное емлють, елико *хотячи* (К., 106) «Когда *приходят* русские, то пусть берут содержание для послов, сколько *хотят*» (три личных формы в современном высказывании и только одна — в древнерусском); И повѣдаша ему вся *бывшая* (И., 54) «И поведали ему, *как было*». Конечно, такие соотношения далеко не являются правилом, но они свидетельствуют о том, что номинализация средств обозначения отнюдь не однонаправленный процесс.

Полная синтетическая номинализация. Она имеет место в разных синтаксических позициях, причем здесь трудно установить единую тенденцию. Рассмотрим соответствие «глагол (личная форма, неличные формы) — имя»: а) древнерусский текст — глагол, современный текст — *имя*: *Идучи* ми семо (И., 30) «На *пути* своем сюда»; *Показуа* побѣду (И., 38) «В *знак* победы»; *Рекущи* сице (И., 40) «С такими *словами*»; Яко *гънаста* путь мъногъ (И., 96) «После долгого *преследования*»; И ту умыкаху жены собе, с неюже кто *съвещашеся* (К., 46) «Умыкали себе жен по *сговору* с ними»; б) древнерусский текст — имя, современный текст — глагол: *Имянемъ* Полота (И., 28) «*Именуется* Полота»; И по *приключаю*... (И., 30) «И *случилось* так, что...»; В *перегъбѣхъ* (И., 42) «*Избоченившись*»; *Волею* и *неволею* стати противу (И., 52) «*Хотим* мы или *не хотим*, должны сражаться»; Исходити... на *игры* (И., 94) «Пойти *поиграть*»; Проскурьнааго ради *непечения* (И., 96) «Ибо *некому печь* просфоры»; Мати убо, не *търпящи* сына своего въ такой *укоризнѣ* суща (И., 96) «Мать и сама не смогла *смириться* с тем, что все *укоряют* ее сына»; И *срамословье* в них пред отьци и пред снохами (К., 46) «И *срамословили* при отцах и при снохах».

Аналитическая номинализация. Процесс в этом случае получает расчлененное выражение, состоящее из глагола, передающего процесс в общей форме (*сътворити, деяти*) либо его залоговые или видовые характеристики (*дати, начати*), и имени, которое и является лексическим обозначением самого действия. При этом для номинации действия используется не только имя действия, но — метонимически — и имя деятеля, название орудия, средства, результата, места действия. Анализ текстов и переводов обнаруживает различные соответствия: а) древнерусский текст — глагол, современный текст — аналитическое сочетание: *Насиляше* (И., 40) «*Творили насилие*»; *Съдумавше* (И., 40) «*Держали со-*

вет», *Распасли* суть Деревьску землю (И., 40) «*Ввели порядок* в Деревской земле»; Вы *почтити* (И., 40) «*Воздать* вам *честь*»; *Заповѣда* ей (И., 46) «*Дал* ей *заповедь*»; *Любити* (И., 54) «*Выражать любовь*»; *Поприяй* ми (И., 58) «*Будь* мне *другом*»; *Поруганъ* бысть (И., 98) «*Поругания перенес*»; И *поидоша* против (К , 145) «И *пошли походом* против»; б) древнерусский текст — аналитическое сочетание, современный текст — глагол: Ту *животъ* свой *сконча* (И., 32) «Тут и *умер*»; И много *убийства сотвори* около града грекомъ (И., 36) «И много греков *убил* в окрестностях города»; Бѣ бо *устроено со отравою* (И., 36) «Так как оно (вино.— Г. В.) было *отравлено*»; А въ хрестеянехъ того *несть закона* (И., 48) «А у христиан *не разрешается* это»; *Войны* многи *творяше* (И., 48) «Много *воевал*»; *Бѣ* бо *ловы дѣя* Олегъ (И., 56) «Так как и сам он *охотился* там же»; *Укоризну* себе... *твориши* (И , 94) «Он себя *срамит*»; *Облещися въ одежю* чисту (И., 92) «*Одеться* почище»; *Възложи* на нозѣ его *желѣза* (И., 96) «*Сковала* ноги ему»; Се бо токмо словенеск *язык* в руси К., 44) «По-славянски же *говорят* на Руси». Еще несколько примеров: *Ярость* свою въздвиже (К., 120) «*Разгневался*»; *Даи вину* (И., 230) «*Наставь*»; *Сотворити брань* (К , 143) «*Сразиться*»; *Скончявше царство* (И., 226) «*Царствовал*»; *Творять куплю* (К, 107) «*Торгуют*» и т. п.

Исследователи отмечают употребительность аналитических речений в древнерусском языке [20, с. 73]. Вместе с тем приведенные примеры достаточно явно свидетельствуют о том, что переход от одноместной предикативной структуры к двухместной отнюдь не может считаться ведущей тенденцией развития языка. Нет большого количественного расхождения в употреблении аналитизмов при переходе от одного этапа развития языка к другому. Обращает на себя внимание структурное разнообразие аналитических речений, в которых номинализируется глагольная семантема. В древних текстах отмечаются сочетания «глагол + прямое дополнение» (*убийства сотворити*), предложные сочетания (*устроено со отравою* «отравлено»). Особый интерес представляют собой предикативные сочетания типа *нѣсть закона* «не дозволяется»: такие сочетания, где соотносящееся с глаголом имя выполняет функцию подлежащего, широко используются в современном русском языке (*дождит* — *дождь* идет), особенно в разговорной речи (ср. *приказ вышел ему* — *ему приказали*; *на ней стыда нет* — *она не стыдится* и т. п.). Подобные субъектно-предикативные аналитизмы могут служить способом устранения конкретного субъекта, они равнозначны безличным или неопределенно-личным предложениям: ср. *бо словенеск язык* «*по-славянски же говорят*», *въ такой укоризнѣ суща* «(все) *укоряют* (ее сына)». Формирование аналитических речений — общеязыковая универсалия. Их распространенность в древнерусском языке, их чрезвычайная употребительность и в современной разговорной речи, замена в истории языка не только глагола аналитизмами, но и аналитизмов глаголом подтверждают, что их возникновение — результат самобытного развития языка, а не иноязычных литературных влияний.

В древних текстах нередко встречаются сочетания «глагол + прилагательное», соответствующее одному глаголу в современном тексте: Искусивъ и *любезнивъ* ли *есть* злату (И., 52) «*любит* ли он золото»; Вскую *печална еси* (И., 146) «Зачем *печалишься*». Характерны сочетания глагола *быти* с причастием, выражающие длительное состояние: *быть лежащим* «лежать», *быть сидящим* «сидеть»; *Бе* бо тогда вода *текущи* въздоле горы Киевьския (К., 169) «Ибо вода тогда *текла* возле Киевской горы».

Именному сказуемому современного языка в древнем тексте может соответствовать глагольно-именное сочетание, что свидетельствует о более номинализованном характере используемого обозначения; при этом состояние выражается глаголом *иметь*, приобретение признака — глаголами *получить*, *принять*: Поляне бо ..*имуть*... *стыденье* к снохам своим (К., 46) «Поляне *стыдливы* перед снохами своими»; А зла жена... в богатествѣ *гордость приемлеть* (И., 232) «А злая жена в богатстве *гордой становится*».

Разумеется, вопрос нуждается в более глубоком исследовании, но возможно, что, наряду с номинализацией, в эволюции номинативных

средств русского языка имела место и вербализация — использование глаголов не только действий, но состояний и качеств.

Ориентация высказывания и диатеза. Важной типологической чертой построения высказывания при номинации некоторого события является ориентация структуры предложения. При совпадении реального носителя действия с ремой обозначающее его подлежащее должно занимать место после глагола, в связи с чем образуется центростремительная ориентация высказывания, которая грамматически может осуществляться с помощью следующих трех средств: позиционного — простой перестановки слов (*Феодосия наказывала мать*), морфологического — с помощью пассива (*Феодосий был наказан матерью*), лексического — с помощью глаголов центростремительной ориентации типа *получать*, *терпеть* и т. п. (*Феодосий получил наказание от матери*). В современном русском языке основным средством переориентации предложения является изменение порядка слов. В таких языках, как английский и французский, относительно чаще эта цель достигается использованием пассива или центростремительных глаголов, что обычно объясняют жестким порядком слов в данных языках. В древнерусском языке порядок слов был относительно свободен, но в рассмотренном материале встретилось несколько случаев, когда древнерусский пассив или центростремительные глаголы заменяются при переводе активными оборотами с инверсией подлежащего: а) пассив: *Быша обидимы* древлями (И., 32) «*Стали притеснять* (полян.— Г. В.) древляне»; Си вси *звахуться* от грекъ Великая Скуфь (И., 36) «Этих всех *называли* греки Великая Скифь»; То все *покорено было* Богом крестияньскому языку (К., 59) «То все *покорил бог* народу христианскому»; б) центростремительные глаголы: Яко велику *честь приялъ* от царя (И., 32) «Великие *почести воздал* ему... тот царь»; Олегъ же *прим* въ умѣ (И., 38) «*Запали* слова эти в душу Олегу». При изменении порядка слов подлежащее совпадает с обозначением семантического субъекта, в других конструкциях оно выражает семантический объект или адресат и таким образом используется не в своей первичной функции. Следовательно, в данных примерах мы видим переход от переносного использования конструкций к прямому.

Особый случай диатезы представляет собой «демиактивность» («понижение субъекта») — оформление семантического субъекта в виде косвенного дополнения при выражении аффектов и состояний. Эту древнюю конструкцию историческая типология рассматривает в индоевропейских языках как реликтовую структуру [21, с. 208]. Действительно, нередко таким конструкциям (особенно с инфинитивом) в современном тексте соответствуют активные обороты: И *самому царю* возбоятися (К., 149) «И *сам царь* устрашился»; От чего *ми* есть умрети? (К., 107) «От чего *я* умру?». Но встречаются и обратные случаи: А *древляне* живяху звериньским образом (К. 46) «*У древлян* был звериный обычай». Это показывает, что и в данной сфере эволюция не была однонаправленной.

Формы связи между номинациями. Способ связи между номинациями — важная типологическая особенность построения речи. Наиболее явно противопоставляются два способа: паратактический и гипотактический. В сфере гипотаксиса различаются аналитические и синтетические средства. Отражая распространенное мнение, Л. Теньер писал: «Как правило, языки вначале выражают сложные мысли в форме паратаксиса и лишь в ходе своего развития они получают способность замечать и выражать гипотактические связи... Например, латинский язык, хотя он и достиг высокого уровня абстракции, тем не менее строит паратактически многие семантические комплексы там, где французский язык фиксирует гипотактические отношения. В этом случае латинский паратаксис приходится переводить французским гипотаксисом» [22, с. 315]. И далее: «Германские языки, такие, как английский и немецкий, или славянские, как русский, ... осмысляют еще иногда паратактически те комплексы, которые во французском языке осмысляются гипотактически». Сплоченность синтаксических форм в «сложных семантических комплексах» имеет ряд степеней: «член предложения — оборот (причастный, деепри-

частный) — придаточное предложение — предложение в составе сложносочиненного — отдельное предложение». Если движение литературного языка действительно идет по линии усиления компактности синтаксических связей — от паратаксиса к гипотаксису, как это казалось Теньеру, то мы могли бы ожидать, что сочинению в древних текстах соответствует подчинение в современных, придаточным предложениям или оборотам — члены предложения (что связано и с номинализацией обозначения). Факты, однако, далеко не подтверждают этого предположения. Во-первых, в древнерусском языке были особые компактные гипотактические построения второстепенных членов, которые выпали из структуры языка и которым в современных текстах функционально соответствуют менее сплоченные формы связи — придаточные предложения. Таковы, например, самостоятельный дательный и двойной винительный: *Пришедшю* бо ему с войны хорватьскыя (К., 116) «*Когда* же *возвратился* он с хорватской войны»; Печенези же мнеша князя *пришедша* (К., 115) «Печенегам же показалось, что *пришел* сам князь».

Во-вторых, даже при возможной структурной эквивалентности мы обнаруживаем в современном тексте менее жесткие формы связи, чем в древнем: а) оборот в древнем тексте — придаточное в современном: И едва *отдохнув* от великого того плача (К., 145) «И едва *отдохнул* князь от великого того плача...»; Аще будуть родилися в матерь, то, *возрошьши*, мене продадут (И., 234) «Если родились они в мать, то *как подрастут*, меня самого продадут»; б) оборот в древнем тексте — сочиненное предложение (или однородное сказуемое) в современном: И *пославши* Ольга к деревляномъ, рече имъ (И., 42) «И *послала* Ольга к древлянам и сказала им...»; Видевше же печенези, устремишаяся на нь, *стреляюще* его, и не могоша ему ничтоже створити (К., 115) «Печенеги, видя это, бросились за ним, *стреляли* в него, но не смогли ему что-либо сделать». Выше, в связи с проблемой номинализации, приводились примеры соответствия древнерусскому предложному обороту причастного оборота и придаточного предложения в современном тексте. Вот характерный пример скопления в древнерусской фразе гипотактических оборотов, которым в переводе на современный язык соответствуют придаточные и сочиненные предложения: Доблии, мнится *быти*, и храбръ Александръ Македонскыи, яко, все сътворивъ, *поспѣвающу* ему, *имея* присно къ доброму делу промышление (И., 237) «Кажется нам, что доблестным и храбрым *был* Александр Македонский, раз во всем *сопутствовала* ему удача, и всегда он *стремился* к славным делам».

Историки русского языка отмечают расширение употребления предложно-падежных конструкций вместо беспредложных, что способствовало уточнению синтаксических связей в предложении [23, с. 343]. Конечно, такая тенденция проявлялась в структуре языка в целом и во многих конкретных конструкциях, но в функциональном плане обнаруживаются случаи, когда древнерусский язык реализует предложный оборот, а современный — синонимический ему беспредложный: И живяху кождо *с* своим родом и на своих местех (К., 43) «И жили они родом на своих местах»; И удариша *в* коне (К., 119) «И стегнули коней».

Репрезентация номинаций. В каждом языке имеются свои закономерности местоименной репрезентации имен или глаголов. Так, во французском языке местоимения в тексте используются для замены прямых номинаций значительно чаще, чем в русском, который предпочитает прямые обозначения (имена нарицательные или собственные). Анализ текстов и переводов показывает определенные расхождения в местоименной замене. В современном языке местоимение нередко соответствует отсутствию репрезентации в древнем тексте: И рече ему (И., 50) «А *тот* ответил ему»; Всего же паче убогых не забывайте, но елико могуще по силе кормите (К., 56) «Всего же более убогих не забывайте, но, насколько можете, кормите *их*». С другой стороны, если актант обозначен во фразе, то местоименной репрезентации древнего текста соответствует в современном повтор прямого обозначения: *Онъ* же рече (И., 50) «*Претич* же ответил»; По *сих* же придоша печенези (К., 45) «Вслед за

обрами пришли печенеги» (К., 45). Другим параметром местоименной репрезентации является последовательность прямого и местоименного обозначения. Обычно местоимение следует за представляемым им именем, но, например, в английском или французском языках в определенных грамматических условиях (в частности, в препозитивном придаточном) местоимение может предшествовать прямому обозначению объекта. В древнерусском тексте последовательность «имя — местоимение» соблюдается менее строго, чем в современном; местоименная антиципация отмечается в препозитивных зависимых комплексах: Ольга же, поимши мало дружины, легъко идущи приде къ гробу *его*, и плакася *по мужи своемъ* (И., 42) «Ольга же, взяв с собою малую дружину, отправилась налегке, пришла к могиле *своего мужа* и оплакала *его*».

Сделанные наблюдения показывают существенные расхождения в организации текста на древнерусском и современном русском языке. К известным структурным особенностям двух языковых срезов, не раз подробно описывавшихся в лингвистике, можно добавить некоторые явления, относящиеся к сфере реализации, к употребительности, закономерностям номинации и организации номинаций в высказывании. Более часто употребление гиперонимов, несколько более частая местоименная замена при обозначении объектов, развитость гипотаксиса, достаточно широкое использование номинализованных средств обозначения, обращение к центростремительным конструкциям, довольно широкое употребление глагола *иметь*, менее широкое, но более семантически нагруженное использование глагольных превербов,— вот некоторые явления, отличающие древнерусский текст от перевода на современный язык. Как это ни парадоксально, но по некоторым из этих параметров древнерусский текст стоит несколько ближе к некоторым современным западноевропейским языкам, чем к современному русскому. Так, можно полагать, что тенденция к лексико-семантической конкретизации в русском литературном языке продолжала усиливаться за последнее столетие. В прошлом веке положение в этой сфере было примерно таким же, как в современном французском языке. В этом нетрудно убедиться, прочитав, например, несколько страниц из «Анны Карениной» Л. Толстого. Конечно, нужно исключить стилизацию речи, ту смесь «французского с нижегородским», которая столь характерна для некоторых толстовских персонажей (например, для княгини Бетси Тверской). Но в речи самой Анны, даже в авторском повествовании мы находим следующие примеры использования глагола *делать*: *сделать удовольствие*, *делать трудности*, *сделать несчастье*, *сделать один вопрос* (сочетание *сделать вопрос* повторяется в романе много раз), *сделать пользу*, *сделать себе врага*. В наше время мы сказали бы: *доставить удовольствие*, *создавать трудности*, *принести несчастье*, *задать вопрос*, *принести пользу*, *нажить врага*.

Как можно объяснить изменения в реализации номинативных средств в истории русского языка? Можно предполагать, что поскольку древнерусская литература складывалась под известным влиянием византийско-греческой литературы — непосредственно или через посредство старославянской литературы (24, с. 17—35),— то и складывавшемуся литературному языку были свойственны некоторые тенденции реализации (выбор средств номинации и конструкций), которые в дальнейшем ослабели или совсем исчезли, когда начал формироваться современный литературно-художественный стиль, опиравшийся на внутреннюю народную стихию русского языка. Но эту гипотезу нельзя принять безоговорочно. Далеко не все рассмотренные расхождения можно объяснить появлением или прекращением каких-либо внешних влияний, тем более, что даже вопрос о воздействии греческого языка на славянскую грамматику остается дискуссионным [25, с. 165—168].

Речевая реализация в конечном счете продолжает тенденции, заложенные в системе языка. Поэтому следует связать изменения в отборе средств выражения с изменениями в самой системе языка, в его внутренних исторических процессах. Рассмотрим, в частности, проблему перехода от использования гиперонимов к более широкому употреблению гипо-

нимов. Душой языка, структурным центром предложения является глагол. Именно глагольная система в значительной степени предопределяет структуру предложения, типы связи, даже отбор типов номинаций, особенно глагольных. За столетия, отделяющие рассматриваемые произведения древней литературы от наших дней, в системе русского глагола произошли коренные изменения. Система времен древнерусского глагола удивительно напоминала систему времен, например, современного французского языка. В прошедшем времени аорист, имперфект, перфект и плюсквамперфект во общем параллельны французским формам простого прошедшего, имперфекта, сложного прошедшего и плюсквамперфекта. Так же и в будущем времени в обоих языковых образованиях различаются две формы, одна из которых обозначала будущее предшествующее время. Пусть морфология этих времен была различной: они совпадали в своих основных значениях, образуя сопоставимые системы. Вида, подобного современной грамматической категории в русском языке, в древнерусском языке не было, но существенную роль играли семантические различия между перфективными и неперфективными глаголами, взаимодействовавшие со значением временных форм (в частности, аориста и имперфекта) [19, с. 324—345]. Это взаимодействие значений глагольных времен и лексических значений глаголов в древнерусском языке при выражении видовых значений типологически напоминает аналогичное явление в современных западнороманских языках. Однако, сколь бы ни были дифференцированы временные формы, они сравнительно мало затрагивают семантику глагола. Картина изменилась, когда ведущей категорией в русском глаголе стал вид. Вид более «семантичен», чем время, он показывает не столько временные соотношения между фактами, сколько способ совершения самого действия. Видовые форманты — превербы — одновременно выступают и как конкретизаторы лексического значения глагола. Поэтому, возможно, становление грамматической категории вида способствовало более широкому употреблению гипонимов — глаголов более конкретного значения. Глаголы-связки *быть* и *иметь*, не имея форм совершенного вида, изменили свои семантические ареалы и функции, их функциональными супплетивами стали глаголы более конкретного значения: *стоять*, *сидеть*, *стать*, *идти*; *получить*, *приобрести* и др. Проблема нуждается в более глубоком изучении, но несомненно, что существенная перестройка в системе русского глагола отразилась на функционировании ряда элементов языка.

Рассмотренные факты показывают, что многие явления неправомерно связывались с идеей прогресса и совершенствования строя языка: такие явления, как номинализация, гиперонимия (абстрактность) лексем, гипотаксис и другие были не в меньшей степени свойственны древней литературной речи, чем современной, а иногда и в большей. Развитие средств выражения в языке не носит во многих случаях однонаправленного характера, как внутри отдельного языка, так и в общетипологическом плане. Подобно тому, как внутри одного языка противоположные приемы номинации могут развиваться, затрагивая круг различных лексических единиц, так и в межъязыковом плане язык А может ограничить использование определенного типа номинации, который был употребителен в нем в прошлую эпоху и который продолжает широко использоваться в языке Б.

ЛИТЕРАТУРА

1. *Coseriu E.* Structure lexicale et enseignement du vocabulaire.— In: Langues vivantes en Europe. s. l., 1967.
2. *Coseriu E.* Sistema, norma e «parola».— In: Studi linguistici in onore di V. Pisani. Brescia, 1969.
3. *Coseriu E.* Leistung und Grenzen der kontrastiven Grammatik.— In: Probleme der kontrastiven Grammatik. Düsseldorf, 1970.
4. *Гак В. Г.* Категория процесса.— В кн.: *Гак В. Г.*, *Ройзенблит Е. Б.* Очерки по сопоставительному изучению французского и русского языков. М., 1965.
5. *Гак В. Г.* Беседы о французском слове. М., 1966.
6. *Гак В. Г.* Сопоставительная лексикология. М., 1977.

7. *Бородина М. А., Гак В. Г.* К типологии и методике историко-семантических исследований. М., 1979.
8. «Изборник» (Сборник произведений литературы Древней Руси). М., 1969.
9. *Кожин А. Н.* Литературный язык Киевской Руси. М., 1981.
10. *Потебня А. А.* Из записок по русской грамматике. Т. I—II. М., 1958.
11. *Бенвенист Э.* Общая лингвистика. М., 1974.
12. Категория бытия и обладания в языке. М., 1977.
13. *Graur A.* Studii de lingvistică generală. A i și a avea. Bucureți, 1960.
14. *Meillet A.* Linguistique historique et linguistique générale. Paris, 1926.
15. *Vendryès J.* La comparaison en linguistique.— BSLP, 1946, t. 42, fasc. 1.
16. *Bally Ch.* L'expression de idées de sphère personnelle et de solidarité dans les langues indo-européennes.— In: Festschrift L. Gauchat. Aarau, 1926.
17. *Мейе А.* Введение в изучение индоевропейских языков. М.— Л., 1938.
18. *Никифоров С. Д.* Глагол, его категории и формы в русской письменности второй половины XVII века. М., 1952.
19. *Ломтев Т. П.* Общее и русское языкознание. М., 1976.
20. *Копыленко М. М.* Сочетаемость лексем в русском языке. М., 1973.
21. *Гухман М. М.* Историческая типология и проблема диахронических констант. М., 1981.
22. *Tesnière L.* Eléments de syntaxe structurale. Paris, 1959.
23. *Стеценко А. Н.* Исторический синтаксис русского языка. М., 1972.
24. *Лихачев Д. С.* Развитие русской литературы X—XVII веков. Л., 1973.
25. *Верещагин Е. М.* Из истории возникновения первого литературного языка славян. М., 1971.

ВОПРОСЫ ЯЗЫКОЗНАНИЯ

№ 4 1985

ДИСКУССИИ И ОБСУЖДЕНИЯ

КОРТЛАНДТ Ф.

ПРАИНДОЕВРОПЕЙСКИЕ ГЛОТТАЛИЗОВАННЫЕ СМЫЧНЫЕ

(Сравнительно-исторические данные)

Типологическая аргументация. Согласно традиции, индоевропейский праязык имел четыре серии смычных, соответствующих древнеиндийским *t*, *th*, *d*, *dh*. Ларингальная теория убедительно показала, что *th* отражает не единую фонему праязыка, а последовательность «*t* плюс ларингальный». Многие лингвисты заметили, что при такой интерпретации система шумных реконструированного праязыка становится типологически маловероятной. Утверждалось, что следует вернуться к традиционной реконструкции, хотя имеющиеся данные и недостаточны, чтобы подтвердить эту точку зрения. Другие попытались реинтерпретировать триаду *t*, *d*, *dh* таким образом, чтобы привести реконструируемую систему в большее соответствие с типологией. Х. Педерсен установил, что нет надежных этимологий, которые указывали бы на праиндоевропейский начальный *b*- [1]. Поскольку глухой лабиальный смычный *p*- легко утрачивается в ряде языков (например, в кельтских, армянском, японском), Педерсен предполагает, что праиндоевропейский *b* был, вероятно, глухим и слабым, тогда как *bh*, по-видимому, развился из глухого аспирированного. Он сравнивает чередование звонких и глухих смычных с западноармянским передвижением согласных. Ссылаясь на точку зрения Педерсена, А. Мартине предполагает, что праиндоевропейские неаспирированные зконкие могут быть выведены из серии глоттализованных [2]. Отсутствие лабиального, по его мнению, можно сравнить с аналогичным явлением в прасемитском, для которого А. Мартине реконструирует серию глоттализованных, откуда он выводит эмфатические шумные. Н. Д. Андреев предлагает реконструкцию праиндоевропейского без звонких шумных, реконструируя глухие сильные, глухие слабые и глухие аспирированные, соответствующие традиционным *t*, *d*, *dh* [3]. Он объясняет несовместимость сильных и аспирированных в корне правилом ассимиляции. М. Сводеш предположил, что праиндоевропейский и соседние языки имели простые, глоттализованные и аспирированные смычные и что различие между звонкой и глухой артикуляцией было следствием локального варьирования [4, с. 127]. Он отмечает, что индоевропейские простые звонкие смычные соответствуют ряду глоттализованных в других языковых семьях [4, с. 219]. Т. В. Гамкрелидзе и Вяч. В. Иванов на основе аргументации Х. Педерсена выдвинули точку зрения, согласно которой праиндоевропейские неаспирированные звонкие смычные были глоттализованными [5]. Данная интерпретация позволяет им объяснить отсутствие корней с двумя глоттализованными смычными на основе правила диссимиляции [6]. Сверх того переформулируется закон Грассмана как праиндоевропейское правило аллофонического варьирования [7]. Это, по-видимому, расходится с латинскими данными (ср., например, *fīdō* «верю» < и.-е. *bheidh-*). Аналогичная точка зрения была выдвинута П. Хоппером, который указал не только на отсутствие *b* в праиндоевропейском и на ограничения, связанные со структурой корня, но и на отсутствие глоттализованных смычных во флективных окончаниях [8]. Й. Расмуссен предложил вывести традиционные *t*, *d*, *dh* из более ранних, *T*, *t*, *d*, причем «*T* является общим

символом для любого эмфатического смычного, как бы фонетически он ни реализовался (глоттализованный, фарингализованный или просто сильный)» [9]. Та же реконструкция предполагается в «Ностратическом словаре» В. М. Иллича-Свитыча [10]. Она основана на неверном допущении, что глоттализованные или эмфатические согласные являются более сильными, чем другие. Еще в 1948 г. А.-Ж. Одрикур пришел к выводу, что праиндоевропейские неаспирированные звонкие смычные были глоттализованными и что в восточном армянском сохранилось первоначальное произношение [11]. Его аргументация основывалась на типах фонетического развития, засвидетельствованных в языках Дальнего Востока. Отрицательное отношение Ж. Блока и Е. Куриловича к его точке зрения удержало, видимо, А.-Ж. Одрикура от ее опубликования. В своем исследовании я реинтерпретировал *t*, *d*, *dh* соответственно как сильный, глоттализованный слабый и аспирированный слабый [12]. Рефонемизация аспирированных или глоттализованных смычных (или и тех и других) как звонких вызвала ряд передвижений (или слияний) согласных в отдельных ветвях индоевропейского. В индоиранском, балто-славянском, кельтском и албанском как *d*, так и *dh* стали фонологически звонкими. В греческом отмечаются звонкий *d* и глухой *dh*, тогда как в германском наблюдается обратное. В италийском, где *d* является звонким, и в восточном армянском, где *d* глухой, представлены как звонкий, так и глухой рефлексы *dh*. Ни в анатолийском, ни в тохарском фонологически звонких смычных не возникло. Дж. Дункель совершенно справедливо указал на порочный круг в типологической аргументации [13]. Если реконструкции строятся с расчетом на типологию, они отклоняются от среднего языкового типа. Но чем больше структура реального праязыка отличалась от среднего типа, тем большими становились различия между реальным и реконструированным праязыком.

Недостатком дискуссии является, на мой взгляд, имеющее, к сожалению, место неразграничение теории и метода. Типологические соображения являются исключительно полезным эвристическим приемом. Однако они никоим образом не могут заменить языковых данных. В связи с этим удивительно, как мало внимания уделяется сравнительно-историческим данным, которые имеются в избытке для тех, кто хочет с ними считаться.

Балтийский. В латышском признак глоттализации сохранился в виде глоттализованного тона на предшествующем гласном в первоначально предударных слогах, например, *pẹ̃ds* «шаг», *nuôgs* «обнаженный» (ср. вед. *padám*, *nagnás*) [14]. Глоттализованный тон представляет собой слияние признака глоттализации с рефлексом праиндоевропейских ларингальных. В ударной позиции он сохраняется в жемайтийских диалектах литовского [15]. Общепринятая точка зрения, согласно которой глоттализованный тон имеет вторичное происхождение, не может быть верной, т. к. она не объясняет возникновения глоттализации. Более вероятно, что прабалтийский акут являлся гортанной смычкой, которая утрачивалась при движении восходящего и нисходящего тонов, возникших в отдельных языках [14, с. 324—325; 328].

Широко распространено мнение, что прабалтийский циркумфлекс, как и его греческий аналог, возник в результате ранних стяжений, тогда как все древние долгие гласные являются акутовыми. Данная точка зрения неверна. Как я уже отмечал в других публикациях, акут является фонетическим рефлексом праиндоевропейских ларингальных и глоттализации неаспирированных звонких смычных, тогда как все другие древние долгие гласные являются циркумфлексными [16]. Последние включают следующие категории: 1) долгие гласные, возникшие в результате стяжения, например, литов, род. п. ед. ч. *algõs* «жалованье», ср. греч. ᾽αλφῆς; 2) гласные продленной ступени в им. п. ед. ч. основ на сонант, например, литов. *akmuõ* «камень», *dukt̃ė* «дочь», греч. ἄκμων, θυγάτηρ 3) долгие гласные в формах претерита, например, литов. *ẽmė* «брал», *bẽrė* «сыпал», *lẽkė* «летел». Акут в *gẽre* «пил» отражает ларингальный в конце корня, а не долгий корневой гласный; 4) формы 3-го л. будущего времени в литов-

ском, например, *duõs* «даст», *kalbẽs* «будет говорить». Поскольку долгий гласный не сокращается в многосложных основах, метатония должна по времени предшествовать действию закона Лескина [17, с. 86]. Допуская, что праиндоевропейские ларингальные исчезают после гласных продленной ступени, я связываю метатонию в этой категории с продленной ступенью в формах актива 2-го и 3-го л. ед. ч. ведийского сигматического аориста инъюнктива [18]; 5) гласные продленной ступени в первичных корневых существительных, например, литов. *gėlà* «боль», *žolẽ* «трава», *mėsà* «мясо», ср. слав. *žalь*, прусск. вин. п. ед. ч. *sālin*, вед. *mā́s*; 6) лтш. им. п. ед. ч. *sàls* «соль» и *gùovs* «корова», ср. греч. ἅλς, βοῦς, вед. *gā́us*. Здесь я также допускаю, что ларингальный был утрачен после гласного продленной ступени. Ожидаемый акутовый рефлекс ларингального находим в литов. *sólymas* «рассол» [19]; 7) литов. им. п. ед. ч. *-ẽ*. Это окончание возникло, по моему мнению, в результате утраты ларингального после гласного продленной ступени в форме им. п. ед. ч. корневого существительного, представленного в литов. *arklìdė* «конюшня», *avìdė* «овчарня», *alùdė* «пивная», *pelùdė* «сарай для соломы», а также в *žvaigždẽ* «звезда», вед. *-dhā́*, лат. *-dēs* и суффиксе аориста пассива в греческом *-θη-*. В соответствии с этими фактами я прихожу к выводу, что праиндоевропейские ларингальные перешли в гортанную смычку, которая совпала с признаком глоттализации неаспирированных звонких шумных. Прабалтийский циркумфлекс представляет собой просто отсутствие гортанной смычки.

Славянский. Общей чертой балтийского и славянского было то, что праиндоевропейские ларингальные фонемы слились с признаком глоттализации неаспирированных звонких смычных, образовав гортанную смычку. В славянском впоследствии имела место утрата гортанной смычки с компенсирующим удлинением соседнего гласного в предударном и втором заударном слогах [17, с. 11]. В ударной позиции и в первом заударном слоге утрата гортанной смычки приводила к возникновению новых тембровых различий. В результате этого наличие (и соответственно отсутствие) гортанной смычки отражается как различие между краткими и долгими рефлексами «долгих» гласных. Это различие, как правило, сохранилось в сербскохорватском, а также оставило следы в некоторых других языках. Так, краткие *ě*, *a* в серб.-хорв. *jàbuka* «яблоко», *jȅdēm* «ем», *pàdnem* «упаду», *sjednēm* «сяду», *pòbjegnēm* «убегу», *jàgnje* «ягненок», *jàgoda* «клубника» отражают признак глоттализации последующего неаспирированного звонкого шумного.

Долгие гласные без гортанной смычки сокращались в славянском лишь в определенных условиях. Так, гласные продленной ступени являются обычно долгими в сербскохорватском, например, в следующих случаях: 1) слово *žerāv* «журавль» (чешск. *žeráv*) отражает исходную форму им. п. ед. ч. *gerōu*, ср. лат. *grūs* [20]. Долгий гласный согласуется с циркумфлексом в литов. *akmuõ* «камень» и лтш. *âbuõls* «яблоко»; 2) сигматический аорист: 1-е л. ед. ч. *dònijeh* рядом с *donèsoh* «принес» и изолированный инфинитив *rȉjet* (Дубровник) рядом с *rèći* «говорить» [21]. Аналогично 1-е л. ед. ч. *mrȉjeh*, *ùmrijeh* «умер», *klêh*, *zàkleh* «поклялся»; 3) тональное чередование между *dàh* «(я) дал» и *dâ* «(он) дал» соответствует литов. *dúosiu* «дам» и *duõs* «даст». Я полагаю, что оно отражает утрату ларингального после гласного продленной ступени в аористе инъюнктива; 4) исконные корневые существительные, например, *rȉječ* «слово», тох. В *reki*, ср. вед. *vā́k*, лат. *vōx*, прусск. вин. п. ед. ч. *tārin*. Другие примеры: *žâr* «горящие угли», *žára* «крапива», *pȍžār* «пожар», *ȕgār* «вспышка», *gâr* «сажа», *čâr* «чары» (чешск. *čár* и *čára*), *nȅmār* «небрежность», *sâm*, *sáma*, *sámo* «один».

Еще одним свидетельством в пользу того, что акут был гортанной смычкой, является тот факт, что он препятствовал прогрессивному сдвигу акцента [17, с. 14]. Это ограничение имеет важную параллель в аварском, где «ударение переместилось на второй слог от первого нефарингализованного» [22].

Армянский. Еще в начале века Х. Педерсен подверг сомнению существовавшие тогда представления о системе армянского консонантизма,

выдвинув гипотезу, согласно которой звонкие смычные классического языка были аспирированными [23]. Эта точка зрения была принята Х. Фогтом [24], детально рассмотревшим данную проблему в специальной статье [25], а позднее В. С. Алленом [26] и Э. Бенвенистом [27]. А. С. Гарибян пошел дальше и высказал предположение, что звонкие смычные в западных диалектах, соответствующие глухим смычным классического языка, представляют собой архаизм [28]. Э. Б. Агаян показал, что эта точка зрения не может быть принята [29]. Сами источники, на которые опирались Х. Фогт и Э. Бенвенист [30], позволяют сделать совершенно разные выводы, которые поддерживаются, видимо, и новооткрытыми южными диалектами [31].

Представленный ниже анализ базируется на трех основных положениях: 1) реконструкция системы общеармянского консонантизма на основе современных диалектов должна логически предшествовать сравнению с материалом других индоевропейских языков; 2) если системы консонантизма двух родственных диалектов различаются более чем одним признаком, исторические связи между ними включают по крайней мере два различных этапа развития; 3) если единый и непрерывный центральный ареал отличается от периферийных ареалов по специфическому признаку, вероятно, что центральный диалект является инновацией.

Чтобы упростить изложение, я пронумеровал современные диалекты так, чтобы первая цифра отражала соответствие с классическим *t*, вторая — соответствие с классическим *d* в начале слова, а минимальное различие между номерами отражало бы минимальное различие между диалектами с точки зрения различительных признаков. В следующей таблице наряду с номером каждого диалекта даны рефлексы классических *t*, *d*, *th* и соответствующий номер в классификациях Х. Фогта [25] и А. С. Гарибяна [28]; кроме того, указываются диалекты, где наиболее последовательно реализуются эти рефлексы.

	t	*d*	*th*	Фогт	Гарибян	Примеры
11	*t* =	*t*	*th*	4	7	ванский
12	*t*	*d*	*th*	3	6	агулисский
13	*t*	*dh*	*th*	1	2	ереванский
21	*d*	*t*	*th*	—	4	сасунский
22	*d* =	*d*	*th*	5а	3	трабзонский
23	*d*	*dh*	*th*	2	1	севасский
20	*d*	*th* =	*th*	5б	5	малатийский

Диалекты 11, 22 и 20 возникли, вероятно, в результате нейтрализации фонологической оппозиции. По словам Х. Фогта, «речь идет, очевидно, о вторичном упрощении центральных систем» [25], т. е. 13 и 23. Действительно ли 11 следует выводить из 13? Поскольку эти диалекты различаются по двум признакам, мы должны допустить существование промежуточной стадии. Если звонкость была утрачена раньше, чем аспирация, рефлексы классических *d* и *th* должны были совпасть, чего не произошло в 11. Если аспирация была утрачена раньше, чем звонкость, промежуточная стадия была идентична системе диалекта 12. Однако нет никаких оснований для выведения 12 из 13; возможно, что как 11, так и 13 действительно должны быть выведены из 12. В географическом отношении ареал, который совместно занимают 11 и 12, образует дугу, охватывающую центральные диалекты: Арчеш — Ван — Хой (11) — Агулис — Мегри (12) — Карабах — Канакер (11) — Лори — Тбилиси — Артвин (12). Данная ситуация позволяет сделать вывод, что 13 следует выводить из 12. Диалекты 22 и 20 действительно могут быть выведены из 23, но каждый из них в отдельности можно вывести и из 21, диалекта, который Х. Фогт не принимал во внимание, т. к. его нет в монографии Г. Ачаряна. Более того, 22 может быть выведен из 12 точно так же, как 23 может быть выведен из 13. Выбор можно сделать только на основе географического распределения диалектов. Поскольку положение Трабзона (22) относительно ареала Артвин — Тбилиси (12) является таким же, как положение Малой Армении (23) относительно Центральной Армении (13), есть основания допустить, что исторические связи между диалектом Трабзона и его восточ-

ным соседом были такими же, как связи между 23 и 13. Предположение, согласно которому 13 следует выводить из 12, а также невозможность вывода 12 из 22 приводят к заключению, что диалекты Трабзона и Малой Армении должны выводиться соответственно из 12 и 13. Если это верно, то вышеуказанную дугу можно продлить до Трабзона. Другие части диалекта 22 могли иметь разные исторические связи. Так, изолированный марашский диалект (22) следует, вероятно, выводить из соседнего аджинзейтунского (21). Ареал Малатья — Урфа (20) расположен внутри дуги Сасун — Дерсим — Аджин — Бейлан — Сведья (21) и должен, следовательно, выводиться из последнего диалекта.

Какие различительные признаки могут быть реконструированы для самой ранней стадии архаичного, по-видимому, диалекта 12? Полагаю, что ответ на этот вопрос дает фонетический анализ восточноармянского диалекта, проведенный В. С. Алленом [32]. В данном диалекте неаспирированные глухие взрывные являются глоттализованными, тогда как звонкие смычные классического языка в начальной позиции являются глухими. Следовательно, это переходный диалект между 12 и 11, утративший звонкость *d*, но сохранивший оппозицию между *d* и *t*. Действительно, оппозиция между начальными звонкими и глухими смычными была восстановлена благодаря заимствованию слов *beg* и *boy* [32, с. 202]. Термин «потенциальные звонкие аспирированные», которым В. С. Аллен обозначает рефлексы классического *d* и т. п., ввел в заблуждение Э. Бенвениста, сделавшего на основании этого описания вывод о существовании звонких аспирированных [27, с. 50]. В действительности озвончение и аспирация исключают друг друга, причем «потенциальные звонкие аспирированные» являются звонкими и неаспирированными, если им предшествует носовой, и слабо аспирированными и глухими в конечной позиции после *r*. Это именно те позиции, в которых почти все армянские диалекты обнаруживают соответственно неаспирированные звонкие и аспирированные глухие взрывные [33]. В начальной позиции «потенциальные звонкие аспирированные» являются глухими. «Они отличаются от глоттализованных тем, что имеют не гортанный, а легочный взрыв (pulmonic plosion), а от аспирированных — отсутствием глухого выдоха при эксплозии. Однако наиболее характерным признаком, отличающим их от глоттализованных, является то, что последующий гласный артикулируется со значительно более сильным выдохом и с более низким тоном, чем обычно, в сопоставимых контекстах» [32, с. 200]. Перенос различительного признака на последующий гласный строго проводится в части диалектов [11, 34]. В исходной системе гортанная артикуляция глоттализованных была, очевидно, смыслоразличительной. Действительно, слова, заимствованные в XIX в. из русского языка, обнаруживали в армянском аспирированные смычные, например, *pʿeč* (< *печь*), *manetʿ* (< *монета*) [33, с. 18]. Таким образом, я не разделяю общепринятую точку зрения, согласно которой глоттализованная артикуляция неаспирированных глухих смычных в ареале Тбилиси — Артвин обусловлена кавказским субстратом. Более вероятно, что субстрат просто способствовал сохранению уже имевшегося признака.

Новооткрытые диалекты 21 подтверждают, по-видимому, древность глоттализованной артикуляции. По мнению Гарибяна [28, с. 85—86] и Писовича [33, с. 78], эти диалекты следует выводить из западной системы 23. Поскольку 21 и 23 различаются по двум признакам, мы должны допустить существование промежуточной стадии. Если звонкость была утрачена раньше, чем аспирация, промежуточная стадия была идентична 20. Если аспирация была утрачена раньше, чем звонкость, промежуточная стадия была идентична 22. И в том и в другом случае две серии совпали бы, чего нет в 21. Следовательно, я прихожу к заключению, что 21 нужно выводить из восточного диалекта. Поскольку географическое положение южных диалектов (21) относительно ванского ареала (11) соответствует положению Малой Армении (23) относительно Центральной Армении (13), есть основания полагать, что исторические связи между 21 и 11 аналогичны связям между 23 и 13. Отсюда я делаю вывод, что южные

диалекты развивались из системы их восточного соседа в тот период, когда последний еще не утратил различия между первоначальными (глоттализованными) неаспирированными глухими смычными и теми смычными, которые возникли в результате оглушения классических звонких смычных. Действительно, в шатахском диалекте (между ванским и сасунским) различаются две серии неаспирированных глухих смычных [33, с. 66], и он является в этом отношении переходным между 11 и 21. Теперь можно соединить две вышеуказанные дуги: они образуют непрерывный ряд диалектов, которые являются архаичными по отношению к тем, которые расположены внутри ареала.

Была установлена следующая относительная хронология: 1) возникновение аспирации звонких смычных (12 → 13); 2) оглушение неаспирированных звонких смычных (12 → 11); 3) озвончение глоттализованных смычных (11 → 21, 12 → 22, 13 → 23); 4) утрата неаспирированных глухих смычных (21 → 22, 21 → 20). Абсолютную хронологию можно установить только на основании анализа заимствованных слов. Поскольку арабские заимствования подвержены передвижению согласных, а турецкие не подвержены [29, с. 44], следует отнести 3) к периоду между VII и X вв. Возможно, что 1) проходило в классический период, как полагает Джаукян [35].

До сих пор я говорил о взрывных в начальной позиции, т. к. это позиция максимального контраста в армянских диалектах. Такому же анализу можно подвергнуть и другие позиции. Обобщение звонких смычных после носовых и глухих аспирированных после *r* в конечном слоге — это, вероятно, ранние процессы, т. к. они затронули подавляющее большинство диалектов. В интервокальной позиции установлены следующие типы:

	t	*d*	*th*	Примеры
10*a*	*t*	*th* =	*th*	карабахский, лорийский
11*a*	*t* =	*t*	*th*	ванский
12*a*	*t*	*d*	*th*	агулисский
20*a*	*d*	*th* =	*th*	малатийский, трабзонский, ереванский, тбилисский
21*a*	*d*	*t*	*th*	сасунский
23*a*	*d*	*dh*	*th*	севасский

Ареалы 12а и 23а являются небольшими островками внутри соответственно 10а и 20а, тогда как 11а и 21а значительно меньше, чем 11 и 21. Большая часть восточных диалектов имеет западный (звонкий) рефлекс интервокального *t* и т. п. Почти все северные диалекты были подвержены аспирации интервокального *d* и т. д. На основе предложенной выше методики анализа приходим к той же реконструкции и к той же относительной хронологии, которые были установлены для начальных взрывных, с добавлением одного процесса: 5) оглушение звонких аспирированных (13а → 10а, 23а → 20а).

Реконструированная общеармянская система шумных выглядит теперь следующим образом:

	аспирированные	простые	глоттализованные
звонкие		*d*	
глухие	*th*		*t*

Первое армянское передвижение согласных заключается, как видим, в утрате аспирации праиндоевропейского *dh*, в рефонемизации слабого праиндоевропейского *d* в глухой и в ослаблении смычки у праиндоевропейского *t*.

Ведийский и авестийский. Балто-славянские данные указывают на то, что ряд преглоттализованных звонких смычных был наиболее реконструируемым рефлексом праиндоевропейских глоттализованных смычных. А. Лубоцкий привел индоиранские данные в поддержку этой интерпретации [36]. Корень греч. πήγνυμι «скреплять» представлен в Ригведе следующим образом: 3-е л. ед. ч. *pā́paje* «застыл, затвердел», *pajrá-* «крепкий», *paksá-* «крыло», *pakṣín-* «птица», *pā́kṣas-* «сторона», *pā́jas-* «поверхность», *pājasyà-* «бок».

Распределение краткого и долгого гласного в корне легко объясняется, если допустить, что ларингальный был утрачен перед глоттализованным шумным, когда за последним следовал другой шумный. Лубоцкий приводит 14 корней, оканчивающихся на «ларингальный плюс глоттализованный смычный» с кратким корневым в древнеиндийском, пять из которых имеют соответствующие формы с кратким корневым гласным в авестийском. Следовательно, закон Лубоцкого должен быть отнесен к индоиранскому периоду. Данный путь развития становится понятным, если последовательность «ларингальный плюс глоттализованный смычный» реализовалась в виде гортанной смычки плюс преглоттализованный звонкий шумный.

Синдхи и панджаби. Гипотеза, согласно которой неаспирированные звонкие смычные в древнеиндийском были преглоттализованными, непосредственно подтверждается этимологическими свидетельствами языка синдхи, в котором сохранилась глоттальная артикуляция. В этом языке имеется трехчленная оппозиция звонких смычных: необусловленные рефлексы серий *d* и *dh* являются соответственно глоттализованными и аспирированными, тогда как диссимиляция серии *dh* перед аспирированными позднего происхождения привела к возникновению серии простых звонких, например, *ʾgāhᵘ* «приманка» < *grāsa-*, *gāhᵘ* «корм для скота» < *ghāsa-*. Можно показать, что глоттализованные смычные по меньшей мере старше утраты праиндоевропейских ларингальных [37]. Нет оснований отвергать их праиндоевропейское происхождение. Глоттальную артикуляцию нельзя приписать внешнему влиянию, т. к. соседние языки не дают никаких сопоставимых звуков.

Материал языка панджаби также свидетельствует в пользу былого существования преглоттализованных звонких шумных на поздней стадии. В этом языке звонкие аспирированные становились глухими и неаспирированными, вызывая появление низкого тона на следующем гласном, например, *kòṛā* «лошадь», хинди *ghoṛā*. Поскольку глухие аспирированные сохранились как отдельная категория, серия *dh* не была фонологически аспирированной в период оглушения [11, с. 271]. Из этого следует, что глоттализованные смычные на данной стадии сохранялись. Более того, серия *d* не снижала тона следующего гласного, что также указывает на сохранение признака глоттализации.

Греческий. Общепринятая реконструкция праиндоевропейского слова со значением «сто» *ḱm̥tóm* не объясняет начального гласного в греч. ἑκατον. Сравнению этого гласного со словом *sem-* «один» мешает несклоняемость и синтаксическое поведение слова ἑκατόν. Первоначальный характер несклоняемости очевиден в связи с сохранением конечного носового в композитах и отсутствием формы множественного числа. Если бы последняя существовала на более ранней стадии, она едва ли была бы замещена производным образованием. Таким образом, я думаю, что греческая форма и ее синтаксис более архаичны, чем принято полагать.

Начальный гласный в слове ἑκατόν можно объяснить, если взять в качестве исходной праиндоевропейской форму *d̀ḱm̥tóm* и предположить, что ртовые признаки начального согласного были утрачены, а признак глоттализации совпал с рефлексом праиндоевропейского ларингального H_1 и дал *e-* с последующей аспирацией по аналогии со словом, имеющим значение «один» [38]. У данной интерпретации, которая основана на предположении, что *d* был глоттализованным шумным в рассматриваемый период, имеется дополнительное преимущество: она объясняет долгий гласный в названиях десятков, например, πεντήκοντα «пятьдесят» < *penkʷed̀komt-*. Она также объясняет сосуществование южной формы εἴκοσι < ἐF̣ίκοσι и северной F̣ίκατι «двадцать», причем обе формы могут быть выведены из праиндоевропейского *dwid̀ḱm̥ti*, если допустить, что частичная диссимиляция начального согласного давала H_1, а полная диссимиляция — нуль. При этом также предполагается, что глоттализованная артикуляция *d* сохранялась в период диссимиляции.

Когда *d* совпало с H_1 в ἑκατόν, εἴκοσι и πεντήκοντα? Я полагаю, что τριᾱκοντα «тридцать» < *triH₂dḱomt-* и зап.-греч. τετρώκοντα «сорок» < < *kʷetwr̥dḱomt-* позволяют датировать совпадение *d* с ларингальными периодом после возникновения темброво окрашенных эпентетических гласных, но до окончательного исчезновения ларингальных. Поскольку развитие темброво окрашенных эпентетических гласных является специфически греческим, следует вывод, что праиндоевропейские глоттализованные смычные сохранялись до сравнительно поздней стадии.

Латинский. В латинском находим долгий гласный корня в *āctus* «гонимый», *lēctus* «собранный», где велярный согласный принадлежит к праиндоевропейской серии глоттализованных, и краткий гласный корня в *factus* «сделанный», *vectus* «несомый», где он принадлежит к серии сильных или аспирированных. Балто-славянские и индоиранские материалы показывают, что признак глоттализации характеризовал начальную часть шумного, тогда как аспирация характеризовала его конечную часть в соответствии с законом Бартоломэ. Когда звучность стала фонематической, аспирация в группе *-ght-* была просто утрачена, а глоттализованная артикуляция в *-gt-* сохранялась как различительный признак предшествующего гласного. Как и в приведенных выше греческих и балто-славянских примерах, она совпала с рефлексом H_1.

Такое же развитие объясняет наличие долгого гласного в названиях десятков, например, *vigintī* «двадцать», *quadrāgintā* «сорок», *septuāgintā* «семьдесят». Озвончение *k* в *g* в этих словах следует относить за счет предшествующего носового в *septm̥dkont-* «семьдесят» и *newn̥dkont-* «девяносто» [39]. Это правило озвончения было свойственно итало-кельтскому, что очевидно из др.-ирл. *sechtmogo* «семьдесят» в отличие от *cethorcho* «сорок». Количественное различие между лат. *vīgintī* и др.-ирл. *fiche* «двадцать», как и различие между лат. *rēctus* «прямой» и др.-ирл. *recht* «право», показывает, что утрата глоттальной артикуляции имела место после распада итало-кельтского.

Признак глоттализации был утрачен после согласного, например, в формах презенса с носовым *stringō* «натягиваю», *pingō* «рисую» < *-g-*, которые совпали с *fingō* «касаюсь», *mingō* «мочусь» < *-gh-*. Этим объясняется и отсутствие долгого гласного в *strictus*, *pictus*, получивших огласовку по аналогии с *fictus*, *mictus*. Признак глоттализации был, очевидно, поглощен предшествующим ларингальным в *lassus* «усталый» < *lH₁dtos* точно так же, как ларингальный был поглощен последующим глоттализованным шумным в вед. *pajrá-* «крепкий». Начальный слог основы *sedeō* «сижу» присоединился к форме *sdtos* в *-sessus*. Таким образом, латинские данные подтверждают реконструкцию серии преглоттализованных шумных.

Германский. В своей монографии, посвященной западноютскому толчку (stød), К. Рингаард приходит к выводу, что «западноютский толчок встречается только в позиции непосредственно перед взрывными *p*, *t*, *k* и во всех случаях, когда они стоят в первоначальной срединной позиции после звонкого в ударном слоге. Исключение составляют определенные типы заимствованных слов позднейшего периода» [40]. «Западноютский толчок представляет собой полную смычку голосовых связок, которая сочетается с движением диафрагмы при вдохе» [40, с. 199], т. е. классическую гортанную смычку. Рингаард датирует возникновение западноютского толчка XII в., потому что он характерен для «всех существовавших тогда срединных взрывных». Его точку зрения, согласно которой толчок является спонтанной инновацией западных диалектов датского языка, едва ли можно назвать объяснением. Более того, она не объясняет и параллельного развития преаспирации в исландском.

Преаспирация встречается не только в исландском, но также в фарерском и норвежском и в гэльских диалектах Шотландии. С фонетической точки зрения предшествующий гласный внезапно прерывается и переходит в шепот, а предшествующий сонорный (*m*, *n*, *l*, *r*) частично или полностью оглушается. Распределение преаспирации в исландском является таким же, как и в норвежском диалекте Ерна [41]. Можно, следовательно,

сделать вывод, что это один из тех признаков, которые были принесены в Исландию первыми поселенцами [42].

К. Марстрандер утверждает, что преаспирация в шотландском гэльском обусловлена скандинавским субстратом [43]. Он выдвигает гипотезу, согласно которой норвежские преаспирированные смычные восходят к группам *hp*, *ht*, *hk*, которые в других языках развились в геминаты [43, с. 302]. Данная теория предполагает три пути изменения: *tt* < *ht* в восточноскандинавском, *ht* < *tt* в западноскандинавском и *ht* < *t* в западноскандинавском в тех позициях, где преаспирированный смычный не является рефлексом группы, например, исл. *epli* «яблоко», *vatn* «вода», *mikla* «увеличивать», *hjálpa* «помогать», *verk* «работа». Преаспирированный смычный здесь, по-видимому, является фонетическим рефлексом праиндоевропейского неаспирированного звонкого шумного.

Как западноютский толчок, так и преаспирация получают естественное объяснение, если допустить, что ранний прагерманский, подобно прабалто-славянскому и праиндоиранскому, обладал серией преглоттализованных звонких смычных. Оглушение дало серию поздних прагерманских последовательностей *ˀp*, *ˀt*, *ˀk*, в которых гортанная смычка могла в различных условиях утрачиваться. Ослабление гортанной смычки в западноскандинавском привело к преаспирации, тогда как ее ассимиляция с последующим шумным вызвала появление ряда геминат в восточноскандинавском, кроме датского, где эти последовательности подверглись ослаблению и гортанная смычка сохранилась в западных диалектах. Возникает вопрос, не отражают ли швед. *vecka* «неделя», *droppe* «капля», *skepp* «корабль» диалект, в котором отсутствовала самая ранняя утрата гортанной смычки. Может также возникнуть вопрос, не сохранялась ли преглоттализация в начале слова в позднем прагерманском. В пользу этого говорит западноютский толчок в словах *fattig* < *fátǿkr* «бедный» < «мало берущий», *sytten* «семнадцать».

Выдвинутая здесь теория не только дает простое объяснение западноютского толчка и исландской преаспирации, но обладает также тем преимуществом, что на ее основе объясняется существование нескольких слоев геминат, которые могут теперь рассматриваться как остаточные явления, а не как инновации: 1) *mp*, *nt*, *nk* переходили в *pp*, *tt*, *kk* в большей части Скандинавии. Носовой согласный оглушался, очевидно, под влиянием глоттализации, которая предшествовала смычному, и, следовательно, утрачивал назализацию; 2) *k* переходил в *kk* перед *j* и *w*. Аналогичным образом *t* дало *tt* перед *j* в ограниченном ареале, например, швед. *satta* «ставить». Данное развитие трудно отождествить с изменением *g* в *gg* перед *j*, т. к. последнее связано с преобразованием фрикативного в смычный; 3) *p*, *t*, *k* переходили в *pp*, *tt*, *kk* перед *r* и *l* в западногерманском. Такое же развитие встречается спорадически в Скандинавии. Здесь также геминаты могли возникнуть в результате ассимиляции гортанной смычки с последующим ртовым смычным.

Таким образом, открываются, по-видимому, определенные возможности для интерпретации западногерманского материала. Во-первых, верхненемецкое передвижение согласных могло возникнуть в результате ослабления ртовых смычных с одновременной орализацией предшествующей гортанной смычки. Если это так, то глоттализация должна была сохраняться во время передвижения. Во-вторых, отсутствие аспирированных смычных в голландском и фризском, возможно, обусловлено ранней утратой преглоттализации в данном ареале. В-третьих, гортанная смычка в английском, возможно, является гораздо более древней, чем принято считать. Представляется, что указанные возможности заслуживают дальнейшего рассмотрения.

Заключение. Данные балто-славянского, индоиранского, итало-кельтского и германского указывают на раннее существование ряда преглоттализованных звонких шумных. Эта реконструкция подтверждается данными греческого и армянского. Из современных языков глоттализация сохранилась в латышском и синдхи, а также в литовских, армянских и датских диалектах. Весьма вероятно, что преглоттализованные звонкие

шумные возникли как общая инновация всех индоевропейских диалектов за исключением анатолийского и тохарского, где звонкость так и не стала фонологически релевантным признаком.

Теперь можно вновь обратиться к типологической аргументации, данной во введении. Моя точка зрения, как можно видеть, наиболее близка к позициям Н. Д. Андреева и М. Сводеша: праязык имел простые сильные, глоттализованные слабые и аспирированные слабые смычные, соответствовавшие традиционным *t*, *d*, *dh*. Все смычные были обычно глухими, как в современном исландском и в южных диалектах восточного армянского. Это согласуется с отсутствием звонкого аналога у праиндоевропейского фрикативного *s*.

Типологическая реинтерпретация системы шумных была основана на почти полном отсутствии засвидетельствованных форм с лабиальным смычным *b*, на несовместимости двух глоттализованных смычных в корне, а также на несовместимости сильных и аспирированных в корне. Последнее ограничение имеет примечательную параллель в австронезийском [44]. Отсутствие начального *b*- едва ли можно объяснить утратой раннего *p*-, как утверждал Педерсен [1, с. 12]. Я полагаю, что верное решение было предложено Р. Турнейзеном [45]: *b*- утратило признак глоттализации и совпало с *p*-, ср., в частности, вед. *píbati* «пьет», др.-ирл. *ibid*, арм. *эmpem* (с вторичным носовым инфиксом), лат. *bibō* (с восстановленной редупликацией). Срединное -*b*- сохранилось, например, в лтш. *âbuõls* «яблоко» < < *abōl*-, литов. *obelìs* «яблоня» < *abel*-, русск. *я́блоко* < *abl*-, где чередование по аблауту бесспорно свидетельствует о праиндоевропейском происхождении данного слова.

Было выдвинуто предположение, что германский и армянский сохраняют первоначальную глухость праиндоевропейских глоттализованных смычных. Я полагаю, что это неверно. В случае германского тот факт, что признак глоттализации предшествует ртовому смычному, позволяет сделать вывод, что последний был звонким на раннем этапе развития. В случае армянского на основании его тесных родственных связей с греческим, албанским, балто-славянским, индоиранским можно придти к заключению, что глухость является вторичной. Таким образом, я полагаю, что исходная система не сохранилась за пределами анатолийского и тохарского.

Перевела с английского *Сизова И. А.*

ЛИТЕРАТУРА

1. *Pedersen H.* Die gemeinindoeuropäischen und die vorindoeuropäischen Verschlusslaute.— Historisk-filologiske Meddelelser, 1951, bd. 32, № 5, p. 10—16.
2. *Martinet A.* Remarques sur le consonantisme sémitique.— BSLP, 1953, v. 49, p. 70.
3. *Андреев Н. Д.* Периодизация истории индоевропейского праязыка.— ВЯ, 1957, № 2, с. 7.
4. *Swadesh M.* The origin and diversification of language. Chicago, 1971.
5. *Гамкрелидзе Т. В., Иванов В. В.* Лингвистическая типология и реконструкция системы индоевропейских смычных.— В кн.: Конференция по сравнительно-исторической грамматике индоевропейских языков. Предварительные материалы. М., 1972, с. 16.
6. *Gamkrelidze T., Ivanov V.* Sprachtypologie und die Rekonstruktion der gemeinindogermanischen Verschlüsse.— Phonetica, 1973, Bd. 27, S. 153.
7. *Гамкрелидзе Т. В., Иванов В. В.* Реконструкция системы смычных общеиндоевропейского языка. Глоттализованные смычные в индоевропейском.— ВЯ, 1980, № 4, с. 30—32.
8. *Hopper P. J.* Glottalized and murmured occlusives in Indo-European.— Glossa, 1973, 7, p. 157.
9. *Rasmussen J. E.* Haeretica Indogermanica. A selection of Indo-European and pre-Indo-European studies.— Historisk-filosofiske Meddelelser, 1947, bd. 47, № 3, p. 11.
10. *Иллич-Свитыч В. М.* Опыт сравнения ностратических языков. Введение. Сравнительный словарь (*Ь — К.*). М., 1971, с. 147.
11. *Haudricourt A. G.* Les mutations conconantiques (occlusives) en indo-européen.— Mélanges linguistiques offerts à Émile Benveniste. Louvain, 1975, p. 267.
12. *Kortlandt F.* Proto-Indo-European obstruents.— IF, 1978, Bd. 83, S. 107.

13. *Dunkel G.* Typology versus reconstruction.— In: Bono Homini Donum. Essays in historical linguistics in memory of Kerns J. A. Amsterdam, 1981, p. 566.
14. *Kortlandt F.* Historical laws of Baltic accentuation.— Baltistica, 1977, 13, № 2.
15. *Zinkevičius Z.* Lietuvių dialektologija. Lyginamoji tarmių fonetika ir morfologija. Vilnius, 1966, s. 34.
16. *Kortlandt F.* Long vowels in Balto-Slavic.— Baltistica, 1985, 21.
17. *Kortlandt F.* Slavic accentuation. A study in relative chronology. Lisse, 1975.
18. *Kortlandt F.* Archaic ablaut patterns in the Vedic verb.— In: Hoenigswald felicitation volume (в печати).
19. *Būga K.* Rinktiniai raštai. II. Vilnius, 1959, s. 584.
20. *Vaillant A.* Grammaire comparée des langues slaves. II. Morphologie. Lyon, 1958, p. 172.
21. *Vaillant A.* Grammaire comparée des langues slaves. III. Le verbe. Paris, 1966, p. 60.
22. *Dybo V., Nikolayev S., Starostin S.* A tonological hypothesis on the origin of paradigmatic accent systems.— Estonian papers in phonetics. Tallinn, 1978, p. 19.
23. *Pedersen H.* Armenisch und die Nachbarsprachen.— KZ, 1906, 39, S. 336—342.
24. *Vogt H.* Arménien et caucasique du sud.— NTS, 1938, 9, p. 327.
25. *Vogt H.* Les occlusives de l'arménien.— NTS, 1958, 18.
26. *Allen W. S.* Phonetics and comparative linguistics.— Archivum Linguisticum, 1951, 3, p. 134.
27. *Benveniste É.* Sur la phonétique et la syntaxe le l'arménien classique.— BSLP, 1959, 54.
28. *Гарибян А. С.* Об армянском консонантизме.— ВЯ, 1959, № 5,
29. *Агаян Э. Б.* О генезисе армянского консонантизма.— ВЯ, 1960, № 4.
30. *Adjarian H.* Classification des dialectes arméniens. Paris, 1909.
31. *Гарибян А. С.* Новая группа диалектов армянского языка.— ВЯ, 1958, № 6.
32. *Allen W. S.* Notes on the phonetics of an Eastern Armenian speaker.— Transactions of the Philological Society, 1950.
33. *Pisowicz A.* Le développement du consonantisme arménien. Wrocław, 1976, p. 61—62.
34. *Pisowicz A.* Matériaux pour servir à la recherche du consonantisme arménien.— Folia Orientalia, 1976, 17, p. 215—216.
35. *Джаукян Г. Б.* Очерки по истории дописьменного периода армянского языка. Ереван, 1967, с. 76.
36. *Lubotsky A.* Gr. *p'gnumi*: Skt. *pajrá-* and the loss of laryngeals before mediae in Indo-Iranian.— Münchener Studien zur Sprachwissenschaft, 1981, 40, S. 137.
37. *Kortlandt F.* Glottalic consonants in Sindhi and Proto-Indo-European.- IIJ, 1981, 23/1, p. 17—18.
38. *Kortlandt F.* Greek numerals and PIE. glottalic consonants.— Münchener Studien zur Sprachwissenschaft, 1983, 42, S. 98.
39. *Thurneysen R.* Urspr. *dn, tn, cn* im Lateinischen.— KZ, 1983, 26, S. 313.
40. *Ringgaard K.* Vestjysk stød. Aarhus, 1960, p. 10, 195.
41. *Oftedal M.* Jærske okklusivar.— NTS, 1947, 14.
42. *Chapman K. G.* Icelandic-Norwegian linguistic relationships. Oslo, 1962, p. 85.
43. *Marstrander C. J. S.* Okklusiver og substrater.— Norsk Tidsskrift for Sprogvidenskap, 1932, 5, p. 298.
44. *Bradshaw J.* Obstruent harmony and tonogenesis in Jabêm.— Lingua, 1979, 49.
45. IF, Anzeiger, 1908, Bd. 22, S. 65.

ВОПРОСЫ ЯЗЫКОЗНАНИЯ

№ 4 1985

РОГОЖНИКОВА Р. П.

МАШИННЫЙ ФОНД РУССКОГО ЯЗЫКА И СЛОВАРНОЕ ДЕЛО

В соответствии с толкованием слова «фонд» в толковых словарях под Машинным фондом русского языка можно понимать ресурсы, запасы единиц русского языка, введенные в память ЭВМ и извлекаемые оттуда по мере необходимости. Машинный фонд можно рассматривать и как собственно фонд, хранилище разного рода данных, и как исследовательскую лабораторию, в которой на основе введенных в ЭВМ данных русский язык изучается в различных аспектах.

Наиболее актуальным, хотя и трудоемким, является создание машинного фонда лексических единиц. Актуально это потому, что именно на основе собрания лексических материалов возможна организация словарной работы, создание больших, фундаментальных словарей русского языка, а на их основе — кратких общих и учебных словарей. Именно словарная работа, особенно связанная с большими словарными предприятиями (такими, как словарь национального языка), требует наиболее полного охвата лексического состава русского языка, привлечения большого количества текстов произведений самых различных жанров, использования словарей как современного языка, так и предшествующих эпох, материалов русской разговорной речи, лексикологических исследований отдельных слов и т. п. С другой стороны, собрание лексических материалов русского языка дает возможность проводить разнообразные исследования лексики, ее семантических, грамматических, стилистических, словообразовательных и других особенностей. Поскольку слово — основная единица языка, собрание лексики может служить источником самых разнообразных работ, словарных и несловарных.

Создание машинного фонда лексических единиц возможно, с одной стороны, путем введения в ЭВМ текстов, обработки текстов таким образом, чтобы можно было выделить и подготовить для лексикографической обработки лексические и другие единицы текста. С другой стороны, машинный фонд предполагает обработку и хранение уже выделенных и лексикографически обработанных словарных единиц, т. е. таких, которые заключены в словарях русского языка, в лексикологических исследованиях.

Словарная работа обычно начинается с создания картотек. Создание картотеки — это сбор и подготовка языковых фактов к дальнейшей работе. Языковой факт представляет собой употребление слова в ограниченном контексте, извлечение слова из какого-либо текста, где выявляется его словарная форма, грамматические, стилистические особенности, словесное окружение, сочетаемость и т. п. В своей совокупности языковые факты представляют собой лексико-фразеологический состав русского языка.

Можно сказать, что у нас существует фонд русской лексики по источникам XIX—XX вв., правда, составленный вручную. Это Большая картотека Словарного сектора в Ленинграде. То же можно сказать и о картотеках исторических — Словаре русского языка XI—XVII вв., XI—XIV вв. в Москве и XVIII в. в Ленинграде, представляющих фонд русской лексики по указанным временным периодам. Каждая из этих картотек создавалась в ходе подготовки материалов для словаря той или иной эпохи. Организация картотек велась по определенному плану, связанному с замыслом словаря. В то же время каждая из картотек используется не только для непосредственной словарной работы, но и для многих других работ, словарных и несловарных. Широта охвата материала, большое количество разнообразных материалов на каждый языковой факт позволяет сделать

это. Так, на основе Большой картотеки Словарного сектора созданы не только Большие толковые словари (17-томный и 4-томный), но и Словари синонимов (2-томный и однотомный), словарь «Трудности словоупотребления и варианты норм русского литературного языка», завершен Фразеологический словарь русского языка. Материалы картотеки используются при подготовке Словарей новых слов, Словаря русских народных говоров. Здесь постоянно работают и другие исследователи, в том числе и иностранные ученые. Ведется работа по сбору материалов для кандидатских и докторских диссертаций, для монографических исследований, сбор и проверка материалов для учебных пособий, каталогов, учебных словарей, для плановых исследований Института русского языка, Института русского языка им. Пушкина, университетов страны и других научных и учебных учреждений. Картотекой пользуются литературоведы для комментирования текстов, изучения языка и стиля писателей и для других целей.

Создание машинного фонда лексики, на основе которого будут проводиться словарные, а также и несловарные работы, как представляется, целесообразно связывать с большим словарным предприятием — созданием словаря национального языка какого-либо временнóго периода. Об этом свидетельствует зарубежный и отечественный опыт [1—3], хотя имеются примеры создания центров по обработке больших массивов текстовых данных для различных лингвистических целей [4, 5].

Хотелось бы обратить внимание на те сложности, которые возникают при подготовке словарных картотек и которые следует учесть при создании Машинного фонда русского языка. В материалах картотеки необходимо по возможности максимально точно отразить лексическую систему русского языка, представленную через отдельные языковые факты. Сложность этой работы состоит в том, что она связана с охватом большого материала, огромного количества лексических единиц, нередко многозначных, которые нужно представить в возможно большей полноте, т. е. отразить лексический состав «вширь». Это можно сделать, привлекая большое количество разнообразных источников различных жанров. С другой стороны, каждый факт языкового употребления должен быть обеспечен достаточным количеством материалов. Это необходимо для того, чтобы выводы, которые будут делаться в отношении семантики отдельного слова или группы слов, сочетаемости, грамматических и других особенностей слова, не были случайными. Таким образом, необходимо отразить состояние лексико-фразеологической системы «вглубь». Это может быть достигнуто при тщательной, возможно более полной обработке источников.

И полнота отражения лексических единиц, и обеспеченность их достаточным количеством материала позволят более объективно включать различные группы лексики в словники словарей и отразить каждое языковое явление в словаре с наибольшей точностью. Исходным материалом являются письменные тексты, которые отбираются в зависимости от целей и задач словаря [6]. Они представляют русский литературный язык во всем его жанровом и стилистическом многообразии. Отбор текстов для картотеки — серьезный и важный вопрос, которому уделяется большое внимание.

Что касается источников картотеки словаря современного языка, то они должны быть значимыми и актуальными, в них должен быть представлен русский литературный язык во всех важнейших сферах его функционирования. Необходимо, чтобы они были достаточными в количественном отношении, поскольку важно выявить реальный лексический состав русского литературного языка и обосновать языковой факт необходимым количеством материала (контекстов). При выборе источников учитывается принадлежность к определенному стилю и жанру, тематика и языковые качества источника. Только большое количество разнообразных источников может отразить состояние литературного языка в данный временной период.

В настоящее время в словарной картотеке, на основе которой подготовлены такие фундаментальные словари, как 17-томный и 4-томный, а также составлен и составляется ряд других словарей, насчитывается более

7 млн. карточек-цитат. Это огромнейшее собрание лексических материалов. Казалось бы, можно перевести на магнитные ленты картотеки, созданные вручную, и это создало бы машинный фонд лексики русского языка. Однако в картотеках, составленных вручную, имеются, как правило, уязвимые места, связанные с тем, что пополнение картотек происходит неравномерно в разное время, основным принципом выборки является частичная выборка, ориентированная прежде всего на качество цитаты, т. е. на непосредственное использование ее в словарях. Не учитывается весь реальный лексический состав хотя бы какого-то специально отобранного круга источников. Все эти недостатки картотек объяснимы. Они связаны с тем, что обработка источников — очень трудоемкое дело — происходило, да и сейчас еще происходит вручную. Это не дает возможности учесть весь реальный лексический состав источников, не всегда имеется достаточное количество материалов на отдельный языковой факт.

Использование ЭВМ для подготовки словарных материалов поднимет эту работу на более высокий уровень. На первых порах кажется целесообразным сочетание ручных и автоматизированных методов создания картотек (т. е. пополнение картотек, созданных вручную, данными, полученными на ЭВМ) и одновременно с этим разработка программ и подготовка текстов для машинного фонда лексики. Создание Машинного фонда русского языка связано с использованием современной сложной техники, знанием специальных языков, с помощью которых производится составление программ, позволяющих получить необходимые результаты на естественном языке, и т. д. Все это предполагает разработку специальных задач, относящихся к разным сторонам лингвистики. Эти задачи решаются специалистами по вычислительной технике совместно с лингвистами [7].

В настоящее время значительную долю времени, связанного с обработкой текстов на ЭВМ, занимает подготовка текстов для ввода. Для повышения эффективности обработки текстов на ЭВМ целесообразно использование уже готовых перфолент, магнитных лент и т. п. Это экономит время подготовки информации для ЭВМ и позволяет ввести в ЭВМ текст, адекватный тексту источника. Текст, введенный в память ЭВМ, может быть отредактирован.

Возможности редактирования машинного текста в режиме непосредственного доступа дают лексикографу дополнительные удобства при работе с источником. Он может оперативно менять издание, выбирая первое или наиболее авторитетное или любое другое в зависимости от целей обработки текста. Например, если обрабатывается текст произведений XIX в., изданный в XX в., то введя его один раз, можно работать с ним дважды — по изданию XIX и XX вв.

Языковые явления и факты поступают из ЭВМ в виде алфавитно-частотных указателей словоформ — на листах, в виде конкордансов, алфавитно-частотных указателей на карточках и т. п. Получение словоуказателей текстов, конкордансов проводится и у нас, и за рубежом [8, 9]. Много сделано в этом отношении теми, кто занимался подготовкой частотных словарей и вопросами машинного перевода [10, 11]. В алфавитно-частотном указателе словоформ приведены все словоформы текста с их вариантными, морфологическими и другими особенностями, даются количественные указания использования их в тексте. Все это очень важно для лексикологов, лексикографов. На основе прямого указателя словоформ составляется словоуказатель текста, в котором все словоформы приведены к основной форме слова. Он необходим для сопоставления данного текста со словарями, картотеками и т. п., где за основу берется исходная форма слова.

Автоматическое приведение словоформ к основной (словарной) форме слова, или лемматизация, затруднительно из-за большого количества фоно-морфологических особенностей лексики, представляющих национальные отличительные черты русского языка. Ср., например, чередование в корне слова, аффиксах (*носить — ношу*, *разбить — разобью*). Кроме того, приведение к основной форме слова выявляет большое количество омоформ и омографов, которые могут быть заданы только списком (напри-

мер: род. п. ед. ч. существительного: *бег — бéгу* и форма 1-го л. ед. ч. глагола: *бежать — бегý*). Поэтому после составления указателя словоформ каждой словоформе в интерактивном режиме приписывается его словарная форма, а затем производится пересортировка в алфавитный порядок по словам в словарной форме [12]. Для автоматизации этого процесса необходимо создание списка соответствий, в который войдут все словоформы, соотносящиеся с основной словарной формой слова и не имеющие каких-либо особенностей (*делаю — делать*), омоформы и омографы (*бегу* < *бег* и *бежать*) и формы с чередованием в корне или аффиксах (*разобью — разбить*). Использование такого списка облегчит лемматизацию и сортировку слов при автоматической обработке текста.

Возможно также приписывание к каждой словоформе основной формы слова в исходном тексте, но она целесообразна лишь на небольших по объему текстах. Задача составления списка омоформ и омографов представляется важной не только в узко практическом (для машинной обработки текстов), но и в теоретическом отношении, а также для обучения русскому языку [13—15]. В настоящее время работа по выявлению и составлению списка омографов ведется в Картотеке Словарного сектора.

Словоформы, приведенные к основной форме слова, могут быть выданы как списком, так и на карточке вместе с количественными данными употребления словоформ и всего слова в тексте. Возникает возможность организовать картотеку-словоуказатель, являющуюся необходимой частью словарной картотеки, но, как правило, отсутствующую в современных картотеках, поскольку создание ее является очень трудоемким делом. Это по существу словник с приведением всех словоформ к основной форме слова и количественными данными их употребления в полностью обработанных текстах. Такая картотека-словоуказатель представляется весьма важной с разных точек зрения: она дает представление о словнике по полностью обработанным произведениям. Здесь воспроизведен весь набор словоформ текстов, даются сведения о количественных показателях употребления словоформ и слов. Картотека-словоуказатель позволяет пополнять картотеку цитат в необходимых случаях по частям, дает возможность быстро найти нужную цитату в тексте, а также использовать количественные данные об употреблении слов и словоформ в текстах. Гораздо легче проводить сверку словника со словарями по картотеке-словоуказателю, поскольку здесь все словоформы, как и в словаре, приведены к основной форме слова.

Получение карточек-цитат из произведений, введенных в ЭВМ,— следующий этап автоматизации. Контекст выделяется формальным путем: по количеству словоупотреблений, строк от заданного слова. В стихотворных произведениях — это строфа, которая обычно представляет законченный отрезок в смысловом отношении, для прозаических произведений — определенное число символов вправо и влево от ключевого слова, с учетом пунктуационных знаков [16]. На карточке имеются библиографические сведения. Таким образом, лексикограф-исследователь получает по своему требованию любые цитатные материалы тех произведений, которые обработаны с помощью ЭВМ. Обработка текстов с помощью ЭВМ предполагает создание программы для получения обратных указателей словоформ и обратных словоуказателей. Они могут быть использованы для выявления вариантных форм и слов и сбора материалов для них. Обратный указатель словоформ дает полную картину словоизменения, которую невозможно найти в обычном обратном словаре, в основу которого положены исходные формы слова. В то же время обратный словоуказатель, составленный по исходным формам слов, может послужить основой для выделения и детального обследования определенных групп лексики, исходя из их словообразовательных признаков.

Большое значение имеет полная и последовательная фиксация устойчивых и фразеологических сочетаний в словарях. Эта задача является сложной как с лингвистической, так и с технической стороны. Необходимо знание законов построения сочетаний, их формальной структуры. Формальным путем выделяются сочетания с постоянным порядком слов. Выделение

их производится по опорным словоформам [17], а также по определяемым формальным путем левым и правым границам. Работа по выявлению сочетаний с постоянным порядком слов способствовала появлению учебного «Словаря сочетаний, эквивалентных слову» [18]. Интересной представляется методика выделения именных словосочетаний, предложенная для технических текстов [19].

Обработка текстов с помощью ЭВМ даст возможность более полно отразить в толковых словарях лексический состав русского языка, что окажет влияние и на другие стороны исследований по русскому языку. Так, в толковые словари по разным соображениям, в том числе и из-за недостаточного количества материалов, не включаются целые группы лексики (например, наречия на *-о*, *-е*, наречия с *по-* и др., слова с аффиксами субъективной оценки и т. п.). Это характерно не только для русской лексикографии.

Работа по созданию машинного фонда лексики безусловно является трудоемкой, но она открывает новые возможности для словарной работы, поскольку обрабатываются полностью произведения определенного временнóго периода. Для этой цели необходимо обрабатывать такие материалы, которые могут быть использованы многократно для разных работ. Так, если взять произведения классической литературы XIX в., не только художественной, то они могут быть использованы в словарях современного русского языка, общих и учебных, для создания словаря языка XIX в., для различного рода лингвистических и других исследований. Еще Я. К. Грот и А. А. Шахматов при работе над словарем русского языка высказывали идеи о необходимости создания словарей языка наиболее крупных писателей, что дало бы возможность гораздо полнее отразить лексический состав русского языка в словаре [20, 21].

Другая важная часть словарной работы — отбор лексики в толковые словари. Сверка словника картотеки со словниками словарей — важный этап работы при формировании словников словарей. В настоящее время в распоряжении лексикографов имеются различные словари, позволяющие обобщенно характеризовать объект исследования — слово. Однако пока еще нет сводного справочника, в котором можно было бы найти ответ на вопрос: в каких существующих словарях зафиксировано то или иное слово. Поскольку словники различных, в том числе и толковых словарей русского языка не совпадают, представляется целесообразным создание справочника, в котором бы все словники наиболее значительных словарей были объединены. Таким справочником должен явиться Сводный словник словарей русского языка. Он будет объективным справочником, с помощью которого можно формировать словники различных по объему словарей, как общих, так и учебных. Разнообразие задач, которые могут решаться с помощью Сводного словника словарей, обусловливает его многократное использование в различных целях. Сводный словник словарей русского языка может стать основой для Генерального словника в машинном фонде лексики, создаваемом с помощью словарей.

На основе имеющихся полностью обработанных текстов и частотных словарей произведений авторов XIX в. предполагается создание Словаря редких слов. Сопоставление этого словаря со Сводным словником словарей выявляет слова, не включенные в современные толковые и другие наиболее значительные словари русского языка, но употреблявшиеся в произведениях русской классической литературы [22]. Этот словарь может быть составлен на основе полностью обработанных на ЭВМ текстов произведений авторов XIX в. В настоящее время по имеющимся словоуказателям и полным частотным словарям авторов XIX в. выявлено около 3000 таких слов. Эта работа важна для лексикографов, литературоведов. Она помогает увидеть жизнь слов.

Сводный словник словарей имеет и самостоятельное научное значение. Он помогает проанализировать состав словников словарей, на основе которых он создан. По Сводному словнику можно определить, какой лексикой пополнялись словари, будут пополняться в дальнейшем, какие слова исключались из словарей.

Известно, что в настоящее время терминологическая лексика получает значительно большее распространение в общелитературном языке. В филологических словарях терминологическая лексика могла бы быть представлена значительно полнее, если бы в большей степени учитывались не только данные картотеки, но и данные различных словарей. Данные терминологических словарей и словарей новых слов позволят с большей достоверностью вводить их в толковые словари. В то же время Сводный словник показывает необходимость нормализации терминологической лексики в нефилологических словарях. Нередко одно и то же слово в разных нефилологических словарях представлено по-разному. В связи с этим целесообразно создание нормативного Словаря межотраслевой русской терминологии.

С помощью Сводного словника можно выявить наиболее употребительную лексику современного русского языка и отобрать ее в словари различных объемов. Это важно при составлении толковых словарей разного объема как общего, так и учебного типа, а также для отбора лексики в русско-иноязычные словари. В настоящее время у нас отсутствуют толковые словари на 10, 20, 30 тыс. слов, необходимые как для русских, так и для тех, кто изучает русский язык на продвинутых этапах. Не очень ясны пока критерии отбора лексики в такие словари. Думается, что Сводный словник мог бы оказаться полезным и в этом отношении. Поскольку в Сводном словнике отражены варианты слов, отмеченные в словарях, а также омонимы, некоторые грамматические особенности слов, он может оказать существенную помощь в научных исследованиях и учебных занятиях по лексикологии и служить базой для отбора лексики по различным семантическим, грамматическим и другим группам, для изучения омонимов, вариантов слов. По типу Сводного словника словарей современного языка могут быть созданы словники словарей предшествующих эпох, терминологических словарей и т. п.

С созданием словарей связана еще одна сторона работы, которая также должна войти в Машинный фонд русского языка. Речь идет об учете лексикологических работ, в которых в том или ином аспекте исследуются лексические единицы.

При каждом слове дается библиографическая справка, в которой указывается кем, когда и где опубликована работа о данном слове, с краткой аннотацией. Подобный указатель по истории слов русского литературного языка XVIII—XX вв. уже имеется [23]. Сейчас в Словарном секторе ведется многоаспектное обследование лексики, зафиксированной в существующих лексикологических трудах.

Введенные в ЭВМ сведения позволят поставить вопрос о включении в словари определенных разрядов лексики, об изменении толкований слов, дадут возможность уточнить или изменить стилистическую квалификацию слова, этимологическую справку и т. п. Возможность использования ЭВМ в лингвистических исследованиях с каждым годом расширяется в связи с усложнением функций современных вычислительных машин, увеличением объема памяти и быстродействия, оснащенностью дополнительными устройствами, облегчающими ввод и обработку исходного материала (текстов или словарей). Применение интерактивных методов позволяет исследователю-лингвисту использовать ЭВМ даже в тех случаях, когда какие-то языковые факты или явления трудно или невозможно формализовать. Желательно передать ЭВМ наиболее трудоемкие и часто повторяющиеся задачи, что позволит значительно сократить сроки исполнения различных разработок, связанных с исследованием языка, и в то же время откроет новые возможности его изучения.

ЛИТЕРАТУРА

1. *Josselson H. H.* Lexicography and the computer.— In: To honor Roman Jacobson. V. II. The Hague — Paris, 1967.
2. *Robinson J. L. Bailey R. W.* Computer-produced microfilm in lexicography: toward a dictionary of Early modern English.— In: The computer and literary studies. Ed. by Aitken A. J. Edinburgh, 1973.

3. *Virks J.* An automatic system for generation of dictionaries. In: Computational linguistics and related topics. Tallin, 1980.
4. *Meunier J. G.* A system for text and content analysis.— Computers and the humanities, 1976, v. 10, № 5.
5. *Hague J. H.* A survey of EDP projects in linguistics and literary studies at Norwegian universities.— ALLC bulletin, 1975, v. 3, № 3.
6. *Левашов Е. А., Рогожникова Р. П.* Принципы отбора источников для картотеки Словаря современного русского литературного языка.— В кн.: Теория и практика современной лексикографии. Л., 1984.
7. Вычислительная лингвистика. М., 1980, 1982.
8. *Рогожникова Р. П., Чернышева Л. В.* Организация словарной картотеки на базе автоматизированной системы.— В кн.: Теория и практика современной лексикографии. Л., 1984.
9. *Герд А. С., Богданов В. В., Азарова И. В., Аверина С. А., Зубова Л.В.* Автоматизация в лексикографии и словари-конкордансы.— ФН, 1981, № 1.
10. Статистика речи и автоматический анализ текста. Л., 1968, 1972, 1974.
11. Автоматическая переработка текста методами прикладной лингвистики. Кишинев, 1977.
12. *Koubourlis D. J.* From a word-form concordance to a dictionary-form concordance.— In: Computers in the humanities. Minneapolis, 1974.
13. *Виноградов В. В.* Об омонимии и смежных явлениях.— В кн.: *Виноградов В. В.* Избранные труды. Исследования по русской грамматике. М., 1975.
14. *Мельникова А. И.* К вопросу о русских омографах.— РЯШ, 1974, № 4, с. 60.
15. *Колесников Н. П.* Изучение проблем омонимии в советском языкознании.— В кн.: Вопросы русского языкознания. Куйбышев, 1978.
16. *Tollenaere F.* The problem of the context in computer-aided lexicography.— In: The computer and literary studies. Ed. by Aitken A. J. et al. Edinburgh, 1973.
17. *Данейко М. В., Машкина Л. Е., Нехай О. А., Сорокина В. А., Шаранда А. Н.* Статистическое исследование лексической дистрибуции словоформы.— В кн.: Статистика речи. Л., 1968.
18. *Рогожникова Р. П.* Словарь сочетаний, эквивалентных слову. М., 1983.
19. *Белоногов Г. Г., Загика Е. А., Новоселов А. П., Хорошилов А. А.* Автоматическая нормализация слов и словосочетаний.— НТИ, сер. 2, 1985, № 1, с. 39—40.
20. *Грот Я. К.* Филологические разыскания. Т. I. Материалы для словаря, грамматики и истории русского языка. СПб., 1876, с. 160—172.
21. *Истрина Е. С.* А. А. Шахматов как редактор Словаря русского языка.— ИАН ОЛЯ, 1946, № 5, с. 405—407.
22. *Рогожникова Р. П.* Редкие слова в произведениях авторов XIX в.— ВЯ, 1982, № 1.
23. История слов русского литературного языка (XVIII—XX вв.): Опыт указателя литературы, изданной в СССР на русском языке с 1918 по 1970 г. Сост. Левашов Е. А., ред. Сорокин Ю. С.

ВОПРОСЫ ЯЗЫКОЗНАНИЯ

№ 4 1985

КУРКИНА Л. В.

ПРАСЛАВЯНСКИЕ ДИАЛЕКТНЫЕ ИСТОКИ ЮЖНОСЛАВЯНСКОЙ ЯЗЫКОВОЙ ГРУППЫ

Исследования последних десятилетий, ориентированные на реконструкцию праславянского лексического фонда, работы по составлению Общеславянского лингвистического атласа и региональных атласов внесли существенные изменения в традиционные представления о праславянском языке. Ключевым, определяющим для этногенетических построений стало понимание праславянского языка как системы сложной, развивающейся, диалектно дифференцированной. Переосмыслен и сам механизм развития: прямолинейные схематичные построения в духе теории родословного древа уступают место более сложным представлениям о процессе развития, вытекающим из положения о динамичности праславянского языка, незамкнутости, проницаемости занимаемой им территории [1]. «Необходимо считаться с подвижностью праславянского ареала,— пишет О. Н. Трубачев,— с возможностью не только расширения, но и сокращения его, вообще,— с фактом сосуществования разных этносов даже внутри этого ареала, как и в целом — со смешанным характером заселения древней Европы,— далее с неустойчивостью этнических границ и проницаемостью праславянской территории» [2]. Праславянский язык, видимо, характеризовала сложная система диалектных отношений, которая неоднократно перестраивалась под воздействием многих факторов лингвистического и экстралингвистического характера (давление субстрата, процессы интерференции и интеграции на смежной территории, факторы культурно-исторического характера и т. п.). В свете новых идей пересматривается традиционное положение о трехчленной структуре праславянского. Как показывают последние исследования, западнославянская языковая группа сложилась на основе консолидации трех диалектных групп: чешско-словацкой, лехитской и серболужицкой, причем серболужицкие диалекты, для которых прослеживаются древние генетические связи с юго-восточными диалектами праславянского, лишь на сравнительно позднем этапе развития сблизились с прапольским диалектом и постепенно вошли в сферу влияния диалектов лехитской группы [3]. Известно, что южные славяне пришли на Балканы и в Восточные Альпы не раньше VI—VII вв. Это обстоятельство и факт определенно выраженной неоднородности южнославянской языковой группы были причиной того, что некоторые слависты (Рамовш, Коларич, Копечный, Поржезинский, Ляпунов, Мирчев) ставили под сомнение существование южнославянского праязыка, хотя и допускали, что южнославянские племена до прихода на Балканы некоторое время жили вместе в северной или северо-восточной Паннонии. Вопрос об истоках южнославянской языковой группы имеет принципиальное значение для понимания процесса формирования и механизма развития языков и диалектов, занимающих территорию к югу от Дуная. Важно выяснить: содержит ли южнославянская группа протоюжнославянское наследие или эта группа сложилась на основе смешения разных славянских племен, перемещавшихся двумя потоками через Паннонию и Дакию; что в диалектной структуре южнославянских языков можно считать продолжением праславянского состояния, а что сложилось в эпоху миграций и освоения новой родины.

В своих выводах о развитии диалектной структуры праславянского наука опирается главным образом на критерий изофон и изоморф. Лишь в самое последнее время в связи с активизацией лексикографической

работы и развитием нового направления — праславянской лексикографии — стали использоваться и данные лексики. В основу генетической классификации славянских языков положен принцип последовательной стратификации во времени и пространстве определенной совокупности фонетических и морфологических явлений, соотносимых с праславянской эпохой. Каждая из славянских языковых групп, образуемая пересечением разнонаправленных изоглосс, предстает как результат постепенного, многоступенчатого деления праславянского языка. В соответствии со сложившейся традицией [4] истоки южнославянской языковой группы связывают с тем периодом развития праславянского, когда вслед за первым разделением исходной монолитной системы на два диалекта — западный и восточный — происходит расщепление восточного диалекта, выделение в его составе южнославянского праязыка и как следствие этого процесса — образование нового противопоставления север — юг. Следующую, третью фазу в перегруппировке праславянских диалектов связывают с процессом сближения южных славян с предшественниками чешских и словацких племен. Языковым знаком совместных переживаний служит одинаковое преобразование сочетаний *tert*, *tělt*. С учетом этих трех исходных этапов эволюции распределяются во времени и пространстве южнославянские изоглоссы. Традиционная схема предстает в несколько преобразованном виде в тех теориях, которые придают решающее значение противопоставлению запад — восток. Соответственно при осмыслении проблемы генетических истоков южнославянской языковой группы акцентируется внимание на производности южных славян от восточных [5] или подчеркиваются преимущественные связи южных и западных славян, и на этом основании строится гипотеза о западнославянском происхождении южных славян [6, 7].

В современной славистике благодаря достижениям славянской лингвистической географии и праславянской лексикографии происходит переоценка традиционных выводов в двух направлениях. С одной стороны, исследования, базирующиеся на более широком и углубленном изучении языковых фактов, вносят изменения в хронологию основных фонетических явлений, в результате чего процессы, традиционно относимые к эпохе раннепраславянского, в современных исследованиях приближены во времени или совпадают с эпохой активного освоения новой родины. С другой стороны, новейшие работы показывают, что восстанавливаемые для праславянского языка древнейшие изоглоссы имеют более сложную конфигурацию и не укладываются в традиционную схему деления исходной системы. Прерывистые изоглоссы, связывающие разные части славянского пространства, являются показателями более сложных диалектных отношений, чем простое деление праславянского сначала по вертикали на запад и восток, а затем по горизонтали с вычленением двух ареалов — северного и южного.

Так, к числу важнейших свидетельств древнейшего диалектного членения праславянского относят изменение сочетаний *tl*, *dl*, но по новым данным это преобразование относится к более поздней эпохе II—III вв., а соответствующие изоглоссы 1) *l*, 2) *dl*, *tl*, 3) *kl*, *gl* [8; 9, с. 27—28] [1] получают более сложное пространственное выражение и не совпадают с предполагаемым делением праславянского по вертикали на запад и восток. Не подтверждает гипотезы о первоначальном противопоставлении западных и восточных диалектов и изоглосса *kv*, *gv*/*cv*, *zv*. Новые исследования показывают, что II палатализация, датируемая по данным топонимии VI—VII вв., не захватила диалекты русского севера, и, таким образом, изоглосса *kv*, *gv* достаточно далеко продвинута на восток [10, 11].

Пересмотра и переоценки требуют изоглоссы, которые традиционно считаются релевантными для южнославянской языковой группы. Со времени Ягича [12] утвердилось мнение, что южнославянский праязык сложился благодаря следующим инновациям: 1) *ol̥t-*, *ol̥t* > *ra-*, *la-* при сев.-

[1] Из большой литературы на эту тему отметим лишь последнее по времени исследование [8].

слав. *ro-*, *lo-*; 2) *ę* > *e* при сев.-слав. широком открытом гласном (ср. словен., серб.-хорв. *pet* и русск. *пять*); 3) *y* > *i*; 4) депалатализация согласных перед гласными переднего ряда; 5) окончание *ę* в род. п. ед. ч. основ на *-iā*, *-iō* при сев.-слав. *ě* (ср. ст.-слав. *душѧ* и др.-русск. *душѣ*); 6) окончание *-oть* в тв. п. ед. ч. основ на *-ŏ* при сев.-слав. *-ъть* (ст.-слав. *градомь* и др.-русск. *градъмь*); 7) действительное причастие наст. вр. на *-y* при сев.-слав. *-a* (ср. ст.-слав. *несы* и др.-русск. *неса*), 8) союз *da* и т. п. Но изоглоссы, которые, как полагают, определили противопоставление север — юг, неоднородны по составу и имеют разную хронологическую глубину, многие из них сложились поздно, уже в эпоху самостоятельного развития славянских языков. К специфически поздним балканским новообразованиям следует отнести южнославянскую форму инфинитива с союзом *da*. В историческую эпоху происходит смешение *i* и *y*: в сербскохорватском еще в XII в. встречаются записи *mi* ≤ *my*, *vami* ≤ *vamy*, в болгарском правильное употребление *y* прослеживается до XIII в. [9, с. 88]; более того, следы произношения *y* сохраняют современные говоры родопского края. Утрата ринезма в славянских языках происходила в IX—XI вв. Такой признак, как широкое *a* на месте *ę*, едва ли можно признать исключительно севернославянским, так как тот же рефлекс *ę* знают некоторые южнославянские диалекты в позиции после мягких согласных: ср. серб.-хорв. чакав. *žaja* < **žędja*, ю.-макед. *ḿäso* < *męso*. Отдельные грамматические формы выходят за пределы южнославянского ареала. Так, окончание тв. п. *-om* характеризует серболужицкие языки (ср. в.-луж. *z člowjekom*, н.-луж. *z cłowjekom*), предполагается оно и для среднесловацкого диалекта [13, с. 134; 14]. По всей видимости, правы те, кто сомневается в возможности выделения в системе праславянского специфически южнославянских черт [9, с. 85]. Гипотеза о существовании южнославянского праязыка как особой самостоятельной системы в пределах праславянского опирается на некоторые морфологические показатели (форма причастия на *-y*, окончание существительных на *-ę*) и на факт сохранения исключительно южнославянскими языками древнейшего индоевропейского термина **desnъ(jь)* для обозначения правого, соотносительного с литов. *dẽšinas* «правый». Но с точки зрения лингвистической географии южнославянский языковой ареал может рассматриваться как периферия по отношению к северной территории, занимаемой славянами накануне расселения. Южная периферия сохраняет архаичные явления (ср. закономерное развитие ю.-слав. *-y* из *-onts*), на нее не распространились севернославянские новообразования (ср. форму причастия на *-a*). На этом основании некоторые исследователи определяют южнославянский как «архаизирующий праславянский» [15]. При отсутствии специфически южнославянских новообразований едва ли правомерно предполагать для южных славян ступень отдельного существования в рамках праславянского. Взаимосвязь и языковое единство южных славян свидетельствуют не столько об обособленном развитии, сколько о сохранении праславянского наследия. Южнославянская языковая общность, видимо, складывается как союз близкородственных языков/диалектов уже в условиях жизни на новой родине.

Положение лингвистической географии о центре и периферии методологически важно для понимания того, как складывалась языковая дифференциация на рубеже двух эпох — балканской и добалканской. Диалектная структура позднего праславянского сохраняет наибольшую преемственность с тем ареалом, который был последней территорией, занимаемой славянами перед расселением. Оставляя в стороне проблему прародины славян, мы опираемся на положение о динамичности праславянского ареала и исходим из того, что на разных этапах славянских миграций возникали свои центры и периферии, но в плане лингвоэтнических процессов, определивших структуру и географию славянских языков, важно именно последнее соотношение центра и периферии. Последняя остановка и была тем центром, откуда шли колонизационные потоки в разных направлениях. По сведениям исторических источников (Иордан), к середине V в. славяне делились на антов и склавенов и занимали терри-

торию к северу от Дуная и, в частности, размещались в Среднедунайской низменности. Славяне, видимо, проникли на эту территорию, входившую в состав древней Паннонии, путем ранней инфильтрации в составе варварских народов вместе с гуннами, готами, аварами и т. п., но к VII в. Паннония уже область с преобладающим славянским этносом. В пользы гипотезы об освоении славянами этой территории говорят многочисленные гидронимы и топонимы славянского происхождения по обе стороны Дуная на землях современной Венгрии [16]. Польский лингвист Т. Милевский [17], осмысляя процесс языкового развития, высказал предположение, что именно область Паннонии, а также земли к югу от Карпат образовывали центральную зону, где складывались важнейшие инновации, предопределившие последующее развитие диалектных отношений позднего праславянского. Именно к этой эпохе восходят истоки основных фонетических процессов, активная реализация которых приходится на период миграций и освоения новой родины (VII—XII вв.), а именно: 1) преобразование сочетаний *tert*, *telt*, датируемое по данным славяно-германской топонимии VIII—IX вв.; 2) утрата носовых; 3) изменение *ě*, 4) смешение *y* и *i*, 5) утрата праславянских интонаций, 6) депалатализация согласных; 7) переход *g* > *h*. Тенденции, исходившие из центра, с разной степенью интенсивности проявлялись в периферийных областях. В зависимости от характера и силы воздействия центра Т. Милевский различает три периферии: ближнюю, среднюю и дальнюю. Ближайшей периферией с малым числом архаизмов признаются области словенско-чакавская и южнорусская. К средней периферии отнесены области севернорусская и польская. Дальней периферией, сохранившей наибольшее число архаизмов, по мнению Т. Милевского, были, с одной стороны, область болгаро-македонская, а с другой, полабско-поморская. Перекрестными изоглоссами связываются все три периферии, сохраняющие в силу своей удаленности от центра наиболее архаичное состояние. Так, признак сохранения носовых является общим для словенских диалектов (ближняя периферия), лехитской области (средняя периферия) и болгаро-македонских говоров (дальняя периферия). Отступления от закономерного преобразования сочетаний *tert*, *telt* на основе метатезы плавных или передвижения границы слога наблюдаются в болгаро-македонских и лехитских диалектах, а именно в полабском и кашубско-словинском. Разные части трех периферий объединяет и такой признак, как сохранение взрывного *g*: севернорусские диалекты, лехитская область, большая часть территории южнославянских языков. С расширением материальной базы исследования, с введением других параметров, функционально значимых для системы праславянского (ср., в частности, показатели тв. п. *-ǫ* и *-ojǫ*, результаты преобразований *-oĩ t*, *-oĩt* и т. п.), мы получим еще более сложную и дробную картину изоглоссных связей, в которой взаимодействуют системы унаследованных генетических отношений с той системой связей, которую определяет отношение центра и периферии на разных этапах развития праславянского. Положение осложняется еще тем, что на периферии, с которой связывается понятие архаизма, складываются свои инновации, анализ которых сопряжен с большими трудностями, поскольку мы не располагаем надежными критериями для хронологического расслоения языкового материала.

Проблема лингвистического этногенеза славян сводится, по существу, к поискам генетических связей восстанавливаемых древнейших диалектов в пределах славянского ареала и шире — в кругу индоевропейских языков. Но в силу ряда причин внешнего порядка поставленная проблема едва ли разрешима в полном объеме. Современные славянские языки в сильно преобразованном виде продолжают диалектные отношения, унаследованные из праславянской эпохи. Диалектная структура языка всегда является следствием целого комплекса причин, соотношение и воздействие которых неодинаково в разное время и в разных частях языкового пространства. В эпоху после распада праславянского языка определяющим фактором языкового развития было взаимодействие двух противоположных тенденций, одна из которых была вызвана расширением занимаемой

славянами территории и вела к усилению языковой дифференциации, а другая способствовала сближению, интеграции близкородственных диалектов в условиях, когда племенные союзы превращались в устойчивые территориально-государственные образования. Вследствие указанных процессов, осложненных воздействием субстрата, миграциями населения и т. п., диалектные отношения, характеризующие славянские языки, не имеют прямого, точного соответствия на плоскости праславянского. Поэтому традиционная генетическая классификация славянских языков, строго говоря, носит условный характер, поскольку она исходит из представлений об отличительных особенностях современных славянских языков и опирается на факт общности территориального и культурно-исторического развития славянских языковых групп. Сложившаяся классификация отражает скорее конечный результат исторического развития, а не те исходные отношения, которые имплицитно присутствуют в диалектной структуре славянских языков. В свете новых положений основной единицей генетической классификации должны быть не славянские языковые группы в целом, а восстанавливаемые для них древнейшие диалекты и диалектные группы.

Формирование южнославянской языковой группы протекало под воздействием двух факторов. С одной стороны, в условиях жизни на Балканах тесные языковые контакты способствовали развитию межъязыковых связей и созданию балканского языкового союза, а с другой стороны, противоположные процессы, обусловленные целым рядом причин, привели к разделению южнославянской языковой области на два ареала — западный и восточный — и образованию двух диалектных комплексов. Наиболее существенным и, бесспорно, древним показателем этого противопоставления можно считать преобразование групп *tj*, *dj* в направлении словен. *č*, *j*, серб.-хорв. *ć*, *đ* и болг. *št*, *žd*. Видимо, истоки этого явления восходят к периоду совместной жизни славян. Преобразование шло через промежуточную ступень, определяемую как *t̄'*, *a'* или *t'*, *d'*, подтверждением чего служит графическая передача *tj*, *dj* через *k*, *c*, *g* во Фрейзингенских отрывках [18, 19]. Но конечные результаты этого процесса складываются, по всей видимости, в эпоху жизни славян на новой родине. К другим показателям противопоставления южнославянских ареалов могут быть отнесены следующие явления: 1) совпадение редуцированных ъ, ь в одном гласном в словенском и сербскохорватском; 2) сохранение губной артикуляции для носовых в западной части (*ǫ* > словен. *ǫ*, серб.-хорв. *u*) и развитие *ǫ* > *a*, ъ в восточной части; 3) сохранение музыкального ударения в западной части; 4) окончание род.-вин. п. муж. и ср. р. местоимений и прилагательных *-ga* в западной части и *-go* в древнеболгарском; 5) окончание 1-го л. мн. ч. наст. вр. *-mo* в словенском и сербскохорватском и *-m* в древнеболгарском; 6) окончание 3-го л. ед. ч. наст. вр. *-tъ* в древнеболгарском и отсутствие этого окончания в словенском и сербскохорватском. Противопоставление прослеживается и в системе именного словообразования: в западной части абстрактные существительные образуются с помощью суффикса *-ot'a*, в восточной — *-ota* (ср. словен. *lahkoča*, серб.-хорв. *lahkoća* — болг. *лекота*). Преимущественно западным ареалом ограничено распространение суф. *-ača* в nomina agentis и nomina instrumenti и *-it'ь* в качестве показателя деминутивов (ср. серб.-хорв. *nožić* : *nož*) [20]. Наблюдаются и различия в лексике диалектов западного и восточного ареалов, о чем будет речь ниже. Развитие противопоставления на южнославянской территории связывают с двумя потоками славянских миграций, которые шли через Дакию и Паннонию. Углублению различий способствовало и то обстоятельство, что на новых землях славяне испытали на себе разностороннее культурное влияние (в западной части преобладает влияние позднеримской культуры, в восточной — греческой), их развитие протекало в разных системах государственных образований. Противопоставление двух южнославянских ареалов, во многом обязанное интеграции диалектов в новых культурно-исторических условиях, перекрыло и таким образом стерло более древнюю диалектную структуру южнославянских языков [21, там же основная литература].

Южнославянское языковое пространство представляет собой непрерывный диалектный континуум, в пределах которого, по данным современной диалектологии, выделяется, по меньшей мере, три диалектные зоны (северо-западная, юго-восточная, область штокавского диалекта), каждая из которых имеет свои генетические истоки. Для решения проблемы лингвистического этногенеза южных славян необходимо выяснить, в какой степени каждый из диалектных комплексов сохраняет генетическое тождество на всем протяжении развития и что в составе этих комплексов может быть репродуцировано на плоскость праславянского языка. Пересмотр традиционных взглядов на происхождение южных славян с позиции отдельных южнославянских диалектов обещает открыть новые аспекты в системе взаимоотношений славянских диалектов и их распределении на карте праславянского. Путь к решению поставленной проблемы лежит через исследование частных систем методом изоглосс, установление наиболее значимых сепаратных связей южнославянских диалектов с разными частями севернославянского ареала и в первую очередь с языками и диалектами западнославянской группы. Исследования, ведущиеся в этом направлении, уже дают некоторый материал, позволяющий судить о характере отношений двух указанных ареалов. Так, выявлены некоторые общие явления для болгарского языка и лехитской (точнее, севернолехитской) группы диалектов: 1) отсутствие протезы *ja*, 2) отражение *ě* в виде *ä*, 3) сохранение аффрикат *ʒ* и *ʒ'*, 4) отклонения от метатезы плавных, 5) лексические соответствия [22, с. 38]. В этих схождениях усматривают отражение старой связи предков македонцев и болгар с предками поморян и поляков [23]. В самое последнее время предметом пристального внимания стали изоглоссы, объединяющие словенский и серболужицкий языки: 1) окончание тв. п. ед. ч. в форме *-om*; 2) окончание 1-го л. мн. ч. глагола *-mo*; 3) глагольный суффикс *-nǫ*, выступающий в словенском в форме *-ni*, в верхнелужицком — *-ny*; 4) частичное изменение *dl* > *l*; 5) тенденция к депалатализации согласных перед гласными переднего ряда; 6) возможность развития *g* > *h*; 7) многочисленные лексические схождения [24]. Но в целом разработка этой проблемы находится пока еще на стадии первых предварительных наблюдений. Накопленный опыт исследований в лингвогеографическом плане позволяет перейти от выборочного изучения отдельных фрагментов диалектных отношений к систематическому и всестороннему обследованию указанных диалектных комплексов с учетом данных лексического уровня. В настоящий момент целесообразно сосредоточить усилия на изучении северо-западной группы диалектов, для которой в значительной степени прослеживается историческая непрерывность во времени. Это, по определению А. Белича, «первое южнославянское языковое единство» объединяет словенский язык с кайкавским, чакавским и западноштокавским диалектами сербскохорватского языка [2]. Некоторые исследователи, учитывая достаточно определенные отличия этого диалектного комплекса, выделяли его в самостоятельную языковую группу и таким образом строили четырехчленную генетическую классификацию славянских языков [25].

В общей сумме изоглосс, характеризующей северо-западную группу диалектов, особое значение имеют связи с диалектами чешско-словацкой языковой области. Помимо изоглоссы *tert*, *telt*, общей для чешско-словацкой области и всей южнославянской группы, существуют и специфические связи указанной западной области с северо-западным диалектным комплексом. Эти связи охватывают следующие явления: 1) сохранение *tl*, *dl* в севернословенских диалектах и повсеместно в чешском языке; 2) наличие слогового сонанта *r̥*; 3) тв. п. ед. ч. основ на *-ā* в форме **-ǫ* > словен. *-o*, кайкав. *-o*, *-o*, *-u*, чакав. *-u* (и *-u-n*), черногор. *-u*, др.-чеш. *-ú*, чеш. *-ou* (ср. словен. *ribo*, *ženo*, хорв.-кайкав. *ribo*, *ženo*/*ribu*, *ženu*, чакав. *ribu*, *ženu* и *ribun*, *ženun*), черногор. *se*^{a} *mnu* при форме *-ojǫ* в словацком и на осталь-

[2] Мы оставляем в стороне вопрос о генетических отношениях словенских и кайкавских диалектов и связанный с этим вопрос о времени диалектного членения северо-западного ареала. Разные подходы к этим вопросам отражают, в частности, работы [18, 19; 26, гл. VII, X, § 103]. Ср. еще [27, 28].

ной южнославянской территории; 4) форма будущего времени с глаголом *byti*; 5) стяженная форма прилагательного *-ego* (ср. словен. *dobrego* ~ чеш. *dobrého* при серб.-хорв. *dobroga*, ст.-слав. *доброга*); 6) частичное сохранение приставки *vy-* словенскими и северночакавскими диалектами (ср. словен. *vigred*, хорв. *virišiti*, чакав. *vìkopati*, *vìlaz* и т. д.); 7) *g* > *γ*, *h* в чешско-словацкой группе, отдельных верхнелужицких, словенских и чакавских диалектах [26, с. 31—32].

Известно, что особенно тесная связь существует между южнославянскими языками и словацким языком, а точнее, одним из его диалектов, который в настоящее время занимает центральное положение, а в средневековье охватывал большую часть современной южной Словакии [29]. В число так называемых югославизмов словацкого языка включают следующие явления: 1) *oĭ t-*, *oĭ t-* > *ra-*, *la-* (ср. слвц. *rázvora* при чеш. *rozvora*); 2) *tl*, *dl* > *l* (ср. ср.-слвц. *omelo*, *šilo*); 3) *x* > *s* перед гласными переднего ряда (ср. слвц. *muse* при чеш. *múše*); 4) переход **ʒ'* (<*g* по II и III палатализации) не в *ʒ* (*dʒ*), а в *z* (ср. *kňaz*, местн. п. *noze*); 5) *jь* > *i* при чеш. *je-*, *j-* (ср. слвц. *ihla* при чеш. *jehla*); 6) дат.-местн. п. ед. ч. местоимения *tebě*, *sebě* при зап.-слав. *tobě*, *sobě*; 7) окончание *-om* в тв. п. ед. ч. основ на *-ŏ*; 8) топонимы на *-ince* < *-inci* < *-inьci* (ср. слвц. *Behince*, *Čeladince*, болг. *Borinci*, серб.-хорв. *Bajinci* и т. п.) [30, 31].

Наряду с явлениями, общими для среднесловацкого диалекта и всей южнославянской группы, отмечаются и особые черты, отличительно характеризующие среднесловацкий диалект и диалекты, расположенные в северо-западной части южнославянской территории. Только в этих двух областях находим: 1) сокращение долгого акута (ср. слвц. *blăto*, *vrăna* ~ серб.-хорв. *blȁto*, *vràna* при чеш. *bláto*, *vrána*); 2) удлинение гласных в род. п. мн. ч. в словах типа *ž'nā*, *p'rā* (ср. чакав. *rîb*, *žên*) при чеш. *rýb*, *žěn*; 3) окончание *-mo* в 1-м л. мн. ч. наст. вр. (ср. в области Гемер *dámo*, *idemo* ~ серб.-хорв. *damo*, *idemo*. словен. *gremo* и др.-чеш. *-m*); 4) долгий тематический гласный в глагольных основах на *-e*, содержащих первоначально *e* краткое (ср. слвц. *ňesiem*, *ňesieš* и серб.-хорв. *do-nèsēm*, *do-nèsēš* при чеш. *nesem*, *neseš* с кратким тематическим гласным); 5) частично представленный переход *ě* > *e*: ср. словен. *ę*, зап.-чакав., шчакав. *e* и средне- и вост.-слвц. развитие сочетаний *bě*, *pě*, *vě*, *mě* > *be*, *pe*, *ve*, *me* (ср. *behat'*, *pena*, *verit'*, *mesto*) при зап.-слвц. и чеш. *bje*, *pje*; 6) *stj* > слвц. *šč* (> *št* с XIV в.), словен., кайкав. *šč*, шчакав. *šć* при чеш. *ště*; 7) развитие вторичного гласного в причастиях на *-l* (ср. ср.-слвц. *padol*, *nesol*, зап.-слвц. *padel*, *nesel*, словен. *padel*, *nesel* при чеш. *padl*, *nesl*) [26, с. 37—38; 32].

Заслуживают внимания изоглоссы, объединяющие словацкий с одним из северо-западных диалектов — чакавским: 1) ср.-слвц. *čo* (зап.-слвц. *co*) ~ чакав. *ča*/*čo* (ср. на о. Хвар *ili-čo*) при чеш., польск. *co*; 2) переход *ra* > *rä*, отмеченный в среднесловацком уже в XIII в. (Орава, Гемер) и частично в чакавских и шчакавских диалектах (ср. слвц. *kräj*, *bräda*, чакав. *rêst*, *krèst*; 3) общие изолексы: ср. слвц. *stuža*, ~ серб.-хорв. чак. *stuža* «ремень» (< **sъtǫg-ją*) при чеш. *stouha*, польск. *w-stęga* (< *vъz-stǫga*) и т. п. [26, с. 371].

Дальнейшее исследование показывает, что некоторые из рассмотренных выше изоглосс получают продолжение в болгаро-македонской области. Северо-западную и юго-восточную периферию объединяет через чешско-словацкую область тип топонимов на *-inci*, который характеризует юго-западную часть словацкого языка, а на южнославянской территории концентрируется в двух областях — северо-западной и юго-восточной, но редко встречается в центральных областях Югославии. Приставка *vy-*, типичная для чешско-словацкой группы, спорадически представлена в северо-западных диалектах и в старославянском языке (ср. ст.-слав. *выстѫпити*).

Известны попытки определить изоглоссы, общие для чешско-словацго и болгаро-македонского ареалов: 1) окончание тв. п. ед. ч. *-ojǫ* > ср.-слвц. *-ov*(*-oụ*), *-of*, *-ụof* (ср. *ženov*, *ženof*, *ženụof*), в области Гемер *-ó* (ср. *ženó*), др.-серб. *-ovь* (ср. *věrovь*, glavovь), чакав. (Далмация) *-ov* (ср. *ženov*, *sestrov*), ст.-слав. *съ мъноѭ*; 2) различение ъ и ь; 3) в определенных по-

зициях широкий гласный *a* на месте *ę*; 4) развитие полногласия в группе *čert* > *čeret* [22, с. 40; 33] и т. д.

И, наконец, поддаются выделению изоглоссы, специфические для словенского и болгаро-македонского ареалов: 1) сохранение носовых в словенских диалектах (ср. зильский), македонских говорах и родопском диалекте болгарского языка; 2) развитие *ǫ* > *o* в словенском и родопском диалекте; 3) развитие протетического гласного перед *ǫ* (ср. словен. *võzel*, *võs*) [19, с. 32]. В большом списке словенско-болгарских изоглосс [34] много достаточно поздних явлений, среди них балканизмы (утрата склонения отдельными словенскими диалектами, двойной объект, союз *da* и т. п.), результаты параллельного, независимого развития (оглушение *v* > *f*, утрата *v* перед *s* и т. п.) и т. п.

Общность указанных выше диалектных зон (северо-западной, юго-восточной и чешско-словацкой) подтверждается и фактами лексики. Использование лексики как одного из показателей лингвоэтнических процессов стало возможным благодаря развернувшейся в последние два десятилетия работе по реконструкции праславянского лексического фонда, а также благодаря исследованиям, проводимым по программе Общеславянского лингвистического атласа. Словари, подготавливаемые в Москве и Кракове [35, 36], этимологические словари отдельных славянских языков [37] опираются на достаточно широкий круг лексикографических источников, поэтому уже в самом материале устанавливаемых соответствий заложена информация о территориальном распределении древних лексем. Специально выделяются узколокальные явления, наиболее выразительные изоглоссы, связывающие отдельные области славянского языкового мира. Наблюдения, содержащиеся в словарях, требуют систематизации, обобщения под определенным углом зрения. Кроме того, выводы относительно праславянских лексических диалектизмов нуждаются в дальнейшей углубленной, детальной разработке на основе более полного изучения словарного состава рассматриваемых нами диалектных областей. Надо иметь в виду, что изданные словари охватывают пока лишь часть славянской лексики: Праславянский словарь [36] в объеме букв *A* — *D*, ЭССЯ — *A*—*K*. Только путем соответствующей обработки значительного по объему материала славянской лексики по другим буквам станет возможным определение в наиболее полном виде состава диалектно ограниченных явлений в словаре.

Мы должны себе отдавать отчет в том, что в сравнении с другими языковыми уровнями меньшими диагностическими возможностями обладают данные лексики. Несистемный характер лексики, неполнота фактической базы, предоставляемой лексикографическими источниками, а также отсутствие достаточно надежных критериев для разграничения архаизмов и новообразований — все эти и другие моменты затрудняют выводы о диалектном членении праславянского языка по данным лексики. Необходимо также считаться с возможностью утраты слов. Способность слова распространяться за пределы исходного ареала осложняет интерпретацию лексических схождений особенно в тех случаях, когда совпадения наблюдаются на смежной территории, в пограничной области. Кроме того, сам факт установления изолекс нередко требует этимологического осмысления материала, и именно от избранного этимологического решения зависят выводы о направлении изоглосс. Но определенные предпосылки для суждений лингвоэтнического характера создает осмысление фактов лексики в рамках системных отношений с учетом данных других языковых уровней в соответствии с той концепцией праславянского языка, которая складывается в ходе исследования, уточняется и развивается.

Южнославянская языковая группа не обнаруживает единства и в лексике. Лингвогеографическое изучение лексики открывает новые аспекты в распределении диалектных связей на карте праславянского языка. Уже первые предварительные наблюдения позволяют констатировать отсутствие на южнославянской территории многих древних слов, ср.: **bryla*, **bydlo*, **borgъ*, **blǫkati*, **bl'uzniti*, **bolbotati*, **cъpati*, **degъtь*, **kl'uditi*, **kluky*, *-ъve*, **kogъtь*, **kodьra*, **kovalь*, **kǫb(ъ)lo* [35], **oldyga*, **lъgno*,

*leščetь, *lězivo, *lьgostajь, *lěda/leda, *lъžьka, *lyžь, -ъve, *lubъka/*lubъkъ, *luběnъka [37, t. V], *pylь [26, с. 20] и т. д. Как правило, общеюжнославянские лексемы обнаруживают продолжения в севернославянских языках. Целый ряд лексем отличительно характеризует западный или восточный ареал южнославянской языковой области. Преимущественно в северо-западной части представлены продолжения праслав. *bl'uzgati, *gnědъjь, *gnětiti, *golotja, *xrětiti, *kresati, *kolnьcь, *děža, *madežь, *natь, *kača, *tin'ati, *trъ(d)s-, *zyba/zybati, *gajь, *glyža и т. п. Восточным ареалом ограничено распространение праслав. *dъviz-, *bru(k)tъ, *boraviti, *blizna/*blizno, *bl'udo, *desiti/dositi, *drusati, *dolga, *guja, *golěmъ, *glomotъ, *gъrkl'anъ, *gъrnьcь, *kovylь, *mečьka, *naprasьnъjь, *patriti и т. д. Прослеживается еще одна особенность: специфически южнославянские лексические диалектизмы представлены не на всей южнославянской территории, а, как правило, сосредоточены в северо-западном или юго-восточном ареале. Так, северо-западная область сохраняет немало лексических архаизмов, для которых отсутствуют точные лексико-семантические соответствия в славянских языках, но восстанавливаются этимологически тождественные основы: ср. *meldьnъ (словен. mlẹ́den «слабый», серб.-хорв. mlêdan, хорв.-кайкав. mlēden «то же»), *pa-tъščiti (словен. páščiti se «стараться, торопиться», серб.-хорв. pȁštiti se), *-pętiti (словен. pripetíti se «случиться», хорв., чакав. spétȉti, pripetȉti se «то же»), *paželь < *pazio (словен. páželj «коготь», хорв.-кайкав. páželj «то же», серб.-хорв. páželj, имя), *paz-kъlь (словен. párkelj «коготь», серб.-хорв. parkalj = parkel «то же»); *gnida (словен. gnída «немножко, чуточку», серб.-хорв.чакав. gńȉda «кусочек, чуть-чуть»), *pletmę.-mene (словен. pléme = plemen «отдельная нитка, шнур»), *sorga (словен. sraga «капля», серб.-хорв. srȁga «то же») и т. д.

В общей части словаря северо-западного ареала заметное место занимают лексемы с ограниченными сепаратными связями с диалектами чешско-словацкой области, частично изоглоссы этого типа захватывают отдельные лехитские и серболужицкие диалекты [3]. Указанными ареалами ограничены продолжения праслав. *cěsta «дорога», *drěčьnъjь «крепкий», *gnatь, анат. термин, *čilъjь «крепкий», *kъrgati «капать, стекать», *xъrčьkъ «хомяк», *sotiti «ударить», а также некоторых других лексем, среди которых укажем следующие: *lěga: словен. диалектн. léga «перекладина» ~ чеш. líha, слвц. l'íha «то же», ср. укр. слíги «то же», *obtъka (~ tykati): словен. ǫ́tka «часть плуга», хорв.-кайкав. ȍtka ~ чеш. otka, зап.-слвц. otka «то же», в.-луж. wótka; *ob(v)ьlokъ (~*ob(v)ьlъ «округлый»): словен. ôblok «окно», кайкав. oblòk, чакав. òblok (при далмат. prozor) ~ слвц. oblok, н.-луж. hóblak, wóblak; *parězъ: словен. párẹz «кол, палка» ~ чеш. pařez «пень», др.-луж. parěs «то же», ц.-слав. napѣзъ «assula»; *plex-(/plaxъta): словен. pleh, серб.-хорв. pleh «одна половина» ~ слвц. диалектн. pleh «край (юбки»); *paxъtěti/-tati: словен. pahetati «махать, порхать» ~ чеш. pachtěti, слвц. pachtiet' «пыхтеть»; pa-ǫz-: словен. pavozína «палка» ~ чеш. pavuza, pavuz, слвц. pavúz «жердь», польск. pawąz; *povorz-: серб.-хорв. чакав. pôvras «петля» ~ слвц. (Гемер) povrazec «узкая длинная полоса поля», топ. Povraz; *žьvala: словен. žvála «удила», кайкав. žvale, чакав. žvala, ~ слвц. диалектн. žvala.

При отборе сепаратных изоглосс трудно ожидать большого числа словенско-болгарских изолекс. Приведем в качестве примеров: *jьzkrъ (словен. isker ~ ст.-слав. искрь «вплотную, близко»), *gluta (словен. gluta ~ болг. оглутка), *ne-ję-věr- (словен. nejęveren ~ ц.-слав. неявѣръ «неверующий»), věg- (словен. vệg «кривой» ~ болг. вéгаф), *ob-tokъ в значении «остров». Заслуживает серьезного внимания тот факт, что некоторые изоглоссы, связывающие северо-западный и юго-восточный ареалы, проходят через чешско-словацкую область и частично охватывают восточнославянские диалекты. По данным ЭССЯ, такую ареальную характеристику имеют продолжения праслав. *xarъjь (словен. harè «кляча», болг. хáрый «испорченный» у Герова, чеш. charý «мрачный, ветхий»), *kova (болг.

[3] Об основных связях южнославянской лексики см. [38].

диалектн. *кęва* «обух топора», серб.-хор. чакав. *kôva* «каменоломня» и слвц. *kova* «подкова»), **kręčь* (словен. *krêč*, макед. *креч* «судороги», чеш. *kręč*), **kotalěti/kotъlěti* (словен. *kotljáti se*, болг. диалектн. *кóтлêм* и чеш. *kotaliti*) и т. п.

Показательна еще одна особенность: некоторые балто-славянские изолексы прослеживаются лишь в юго-восточном ареале: ср. болг. *бърна* «губа» ~ литов. *burnà* «рот», болг. *дръска* ~ литов. *druskà*, болг. *гръклян* ~ литов. *gurklỹs* «зоб». и т. п. Существуют и балто-славянские изолексы, ограниченные северо-западным ареалом и неизвестные остальным южнославянским языкам: ср. словен. *vada* «вид невода» ~ литов. *vãdas* «сеть», словен. *snúditi se* «сновать» ~ литов. *snaudà* «медлительность», словен. *trabi* «рассоха в повозке» ~ литов. *trobà* «дом, постройка», словен. *sûl* «дым» ~ лтш. *svals*, *svala* «то же» и т. п.

Рассмотренные выше изоглоссы дают основание для реконструкции древней общности близкородственных диалектов с намечающимися чертами южно- и западнославянского типа. Эта диалектная группа, размещавшаяся, судя по направлению изоглосс, к северу от Дуная, распалась в эпоху славянских миграций. В эту эпоху определились, усилились диалектные различия. В историческом документе IX в., «Баварском географе», сообщается, что славяне, жившие в Паннонии, составляли один союз племен, а славяне, жившие в Каринтии,— другой. «Баварский географ» одних называет Quarantani, других Sclavi: in partes Sclavorum. Исходя из этих данных, Я. Станислав [13, с. 214] высказал предположение, что на большей части Паннонии жили будущие западные славяне, а к западу от них, у истоков Муры и Дравы,— славяне южные, но местами южные славяне вклинивались островами между западными славянами. О смешанном характере населения Паннонии свидетельствует, в частности, топонимия Венгрии. Вопреки Я. Станиславу [39], на территории Венгрии представлены топонимы не только словацкого типа, здесь выделяется довольно значительный слой топонимов болгарского и словенско-кайкавского типа [40]. Паннония была одним из центров славянских миграций. Отсюда шло движение на северо-запад в глубь Восточных Альп, на юг и юго-восток по бассейнам рек Тиса, Морава, Варда в направлении Сердики и на Филиппополь, в Фессалоники, Македонию и Грецию. На Пелопоннес славяне проникали не только с северо-востока, но и северо-запада. На основе анализа микротопонимов славянского происхождения одной из небольших областей Пелопоннеса (район вдоль побережья Мессенского залива на юго-запад от Спарты, район Мани), где славяне жили в течение шести веков (середина IX—XV вв.), Малингудис восстанавливает некоторые важные особенности функционировавшего здесь славянского диалекта и приходит к выводу, что этот диалект несет в себе черты неболгарского типа (ср. *tj* > *č* в *čuž* < *tjudjь*) [41]. В формировании юго-восточной части южнославянской территории принимал участие, видимо, колонизационный поток, двигавшийся с северо-запада.

Таким образом, выделяемая по признаку единства и специфичности общность близкородственных диалектов, определяемая нами как паннонославянская, устойчиво сохраняет последовательность и преемственность в своем развитии на определенной территории. Этот комплекс диалектов принимал участие в формировании двух южных периферий и диалектов западной группы и, следовательно, был одним из генетических источников языковых групп южных и западных славян. Для восстановления других исходных диалектов и диалектных комплексов для южных славян необходимо всестороннее обследование болгаро-македонских говоров в лингвогеографическом и структурно-генетическом плане.

ЛИТЕРАТУРА

1. *Трубачев О. Н.* Ранние славянские этнонимы — свидетели миграций славян.— ВЯ, 1974, № 6.
2. *Трубачев О. Н.* Языкознание и этногенез славян. Древние славяне по данным этимологии и ономастики.— ВЯ, 1982, № 4, с. 12.
3. *Шустер-Шевц Х.* Возникновение западнославянских языков из праславянского и особенности серболужицкого языкового развития.— ВЯ, 1983, № 2.

4. *Lehr-Spławiński T.* Słowianie południowi (z cykłu: Początki Słowian). Kraków 1946.
5. *Hamm J.* Zur Periodisierung der südslavischen Sprachen.— WslJb, 1962, IX.
6. *Nalepa J.* Słowiańszczyzna północno-zachodnia. Podstawy jedności i jej rozpad. Poznań, 1968.
7. *Штибер З.* О древних словенско-западнославянских языковых связях.— В кн.: Русское и славянское языкознание. М., 1972.
8. *Зализняк А. А.* К исторической фонетике древненовгородского диалекта.— В кн.: Балто-славянские исследования. 1981. М., 1982.
9. *Furdal A.* Rozpad języka prasłowiańskiego w świetle rozwoju głosowego. Wrocław, 1961.
10. *Jurkowski M.* Losy prasłowiańskich grup **kv-*, **gv-*, **χv-*.— В кн.: Z polskich studiów slawistycznych. Seria druga. Warszawa, 1963.
11. *Stieber Zd.* W sprawie pierwotnego podziału dialektalnego języka prasłowiańskiego.— In: Symbolae linguisticae in honorem G. Kuryłowicz. Wrocław—Warszawa—Kraków, 1965, s. 305.
12. *Jagić V.* Einige Streitfragen.— AfslPh, 1898, Bd. XX, Hf. 1.
13. *Stanislav J.* Dejiny slovenského jazyka. I. Úvod a hláskoslovie. Bratislava, 1967.
14. *Krajčovič R.* Slovenčina a slovanské jazyky. I. Bratislava, 1981, s. 102.
15. *Иванов В. В.* Диалектное членение славянской языковой общности и единство древнего славянского языкового мира (в связи с проблемой этнического самосознания).— В кн.: Развитие этнического самосознания славянских народов в эпоху раннего средневековья. М., 1982, с. 224.
16. *Трубачев О. Н.* Языкознание и этногенез славян.— ВЯ, 1982, № 5, с. 7—9.
17. *Milewski T.* Archaizmy peryferyczne obszaru prasłowiańskiego.— In: Sprawozdania z posiedzeń komisji PAN. Oddział w Krakowie. Styczeń — czerwiec 1965. Kraków, 1966.
18. *Белић А.* Прилози историји словенских језика.— ЈФ, 1924, IV.
19. *Ramovš F.* Une isoglosse čakavo-kajkavienne.— RÉS, 1923, III.
20. *Ivić P.* Die serbokroatischen Dialekte. Ihre Struktur und Entwicklung. 's-Gravenhage, 1958, S. 38.
21. *Куркина Л. В.* Некоторые вопросы формирования южных славян в связи с паннонской теорией Е. Копитара.— ВЯ, 1981, № 3.
22. *Цонев Б.* История на българския език. А. Обща част. Т. I. София, 1940.
23. *Бернштейн С. Б.* К изучению польско-южнославянских языковых связей.— SFPS, 1965, V.
24. *Schuster-Šewc. H.* Zur Bedeutung des Sorbischen und Slowenischen für die slawische historisch-vergleichende Sprachforschung. In: Nahtigalov zbornik. Ljubljana, 1977.
25. *Kopečný F.* K otázce klasifikace slovanských jazyků.— Slavia, 1949, t. XIX.
26. *Popović I.* Geschichte der serbokroatischen Sprache. Wiesbaden, 1960.
27. *Belić A.* Kajkavski dijalekt.— In: *Stanojević St.* Narodna enciklopedija srpsko-hrvatsko-slovenačka. II. Zagreb, [192—].
28. *Ramovš Fr.* Slovenački jezik.— In: *Stanojević St.* Narodna enciklopedija srpsko-hrvatsko-slovenačka. IV. Zagreb, 1929.
29. *Stanislav J.* Über die Stellung des Slowakischen innerhalb der slawischen Sprachen.— ZfSl, 1956, Bd. I, Hf. 2.
30. *Kniezsza I.* Zur Geschichte der Jugoslavismen im Mittelslowakischen.— Études slaves et roumaines, 1948, v. I, f. 3.
31. *Horalek K.* Zur Frage der Jugoslavismen Mittelslowakischen.— WdS, 1966, XI.
32. *Popović I.* Quel était le peuple pannonien qui parlait μεσος et *strava*.— Зборник радова Византолошког института. Кн. 7. Београд, 1961.
33. *Иванчев Св.* Български и праславянски.— В кн.: Славянская филология. XVIII. Езикознание. София, 1983, с. 31—32.
34. *Petrov-Slodnjak M.* Zum Stellenwert der slowenisch-bulgarischen Sprachparallelen.— In: Die slawischen Sprachen. Bd. 2, Salzburg, 1982.
35. Этимологический словарь славянских языков. Праславянский лексический фонд. Под ред. Трубачева О. Н. Вып. 1—11. М., 1974—1984 гг. (ЭССЯ).
36. Słownik prasłowiański. Pod red. Sławskiego F. T. I—V. Wrocław—Warszawa—Kraków—Gdańsk, 1974—1984.
37. *Sławski F.* Słownik etymologiczny języka polskiego. T. I—V. Kraków, 1952—1982.
38. *Boryś W.* Problematyka prasłowiańskich dialektyzmów leksykalnych. Izoleksy południowosłowiańskie i zachodnio-południowosłowiańskie.— In: Etnogeneza i topogeneza Słowian. Materiały z konferencji naukowej zorganizowanej przez Komisję Slawistyczną przy Oddziale PAN w Poznanie w dniach 8—9. XII 1978. Warszawa — Poznań, 1980.
39. *Stanislav J.* Slovenský juh v stredoveku. Bratislava, 1948.
40. *Kniezsza I.* Charakteristik der slawischen Ortsnamen in Ungarn.— Studia Slavica, 1963, t. IX. f. 1—4.
41. *Malingoudis Ph.* Studien zu den slavischen Ortsnamen Griechenlands. 1. Slavische Flurnamen aus der messenischen Mani. Wiesbaden, 1981.

ВОПРОСЫ ЯЗЫКОЗНАНИЯ

№ 4 1985

ДАШКЕВИЧ Я. Р.

CODEX CUMANICUS — ВОПРОСЫ ВОЗНИКНОВЕНИЯ

В тюркологии имеется немного источников, которые, по использованному и неиспользованному потенциалу, могли бы сравниться с CC[1] — небольшой рукописью (164 с. в пол-листа), созданной в XIV в. где-то поблизости от Дешт-и Кыпчак — и спокойно, более шести столетий, хранящейся в Библиотеке св. Марка в Венеции под шифром Cod. Marc. Lat. DXLIX. Кодексу посвящена значительная литература (более 200 названий, перечни [1, с. 138—140; 2, с. 2—8])[2]. Он никогда, начиная с 1828 г. (когда его частично опубликовал Ю. Клапрот), не принадлежал к забытым источникам: наоборот, поток исследований постоянно увеличивался. CC неохотно раскрывал свои тайны тюркологам и иранистам (кроме тюркской части словаря и связных текстов, в нем имеется также иранская часть словаря). Некоторые существенные обстоятельства его возникновения являются дискуссионными. Усилившийся на протяжении последних десятилетий интерес к CC, отразившийся в выдвижении свежих аспектов, говорит о необходимости подведения хотя бы промежуточных итогов, чтобы изжить некоторые укоренившиеся взгляды, которые при ближайшем рассмотрении оказываются недостаточно обоснованными и нуждаются в корректировке на основе более новых, более глубоких исследований.

В соответствии с современным уровнем изучения, а также с привлечением собственных наблюдений попытаемся осветить группу вопросов, связанных с возникновением CC,— его создание, текстологию, датировку и локализацию, назначение, авторство. Не все из них разрешены окончательно. Постараемся обратить внимание на перспективные гипотезы, а также пробелы в исследованиях. Кажущиеся мелочи и второстепенные детали помогают воссоздать целостную картину.

Название кодекса. Заглавие CC соответствует духу эпохи: In hoc libro co[n]ti[ne]ntur P[e]rsicum et Coma[n]icum p[er] alfabetum «Эта книга содержит персидский и команский [языки] по алфавиту». Это одна из первых фраз, открывающая CCI. Памятник состоит из двух частей, но CCII заглавия не имеет. Более канцелярское, чем книжное название не вошло в научный обиход. Исходя из заглавия и содержания, рукописи давали разные каталожные названия: Alphabetum Persicum, Comanicum et Latinum anonymi (1650 г.) или же Lexicon Latinum, Persicum et Comanicum (1741 г.). Клапрот пытался закрепить заглавие 1650 г., но оно не удержалось. Привилось лаконичное название Codex Cumanicus, придуманное вторым публикатором графом Г. Кууном [3]. Название игнорировало ИК, оставляло вне поля зрения имеющееся в рукописи автохтонное название языка tatar til «татарский язык». При этом издатель памятника, считавший себя потомком половцев-куманов (что отразилось в фамилии Куун, по-венгерски «половец»), преследовал также свою субъективную цель — желание прославить предков, отразив исключительно их имя в названии кодекса. Наз-

[1] Приняты сокращения: CC — Codex Cumanicus, CCI — первая («итальянская») часть CC, CCII — вторая («немецкая») часть, ТК — тюркская колонка CCI, ИК — иранская колонка CCI. Не предрешая заранее вопрос этнолингвистической атрибуции ТК и ИК (нуждающейся в детальном анализе — что будет сделано нами позже), мы употребляем термины «тюркский язык» и «иранский язык» в смысле их принадлежности к языковым семьям.

[2] Обзор русской и советской литературы о CC, а также анализ воззрений отечественных тюркологов на этот памятник произведен А. Н. Кононовым. Мы обращаем большее внимание на зарубежную литературу вопроса, с которой советские исследователи менее знакомы.

вание сыграло свою роль в закреплении цепи поверхностных ассоциаций: если Codex — Cumanicus, значит его язык — lingua Cumanica, а носители языка, конечно, Cumani = куманы (команы) = половцы = кыпчаки.

Внешняя критика СС. Кодикологическое изучение — в строгом понимании кодикологии как вспомогательной дисциплины — не проводилось. Отдельные данные помогают, однако, воссоздать первоначальный облик СС, а в совокупности с наблюдениями из области палеографии и истории бумаги реконструировать историю создания рукописи и перехода ее от одних лиц к другим. На сегодня СС состоит из трех тетрадей [1, с. 24, 27]— первая из 29 л. (это с. 1—58; когда-то было 32 л.), вторая из 30 л. (сохранилась полностью, с. 59—118) и третья из 23 л. (с. 119—164; считается, что сохранилась полностью, но нечетное количество листов, возможно, свидетельствует о пропаже одного из них). Высказывается предположение, что между второй и третьей тетрадями находилась еще одна [2, с. 46]. Кодикологическое деление СС не соответствует текстологическому, согласно которому различают ССI («итальянская» часть, с. 1—110) и ССII («немецкая», с. 111—164).

Палеографическое изучение не доведено до конца. Внимание привлекала в первую очередь (что вполне обосновано [4, с. 49—50]) система специальных букв и диакритики, изобретенных для передачи тюркских и иранских звуков. Меньше внимания уделяли исследованию письма в точном понимании слова. СС можно разбить на три части: латинскую с записями итальянским письмом; латинскую с записями, дукт которых (с точки зрения происхождения) не исследован; немецкую с немецкой разновидностью письма. Единственная имеющаяся в словаре дата была прочитана правильно только недавно (1330 г. вместо бытовавшего столетиями 1303 г.): раньше не учитывались особенности написания римских чисел лигурийским дуктом [5, с. 396—398]. Делались попытки установить число лиц, принимавших участие в создании рукописи. Куун определил, что ССI написан одним итальянским почерком, 4 руки вносило поправки, из них 3 — немецким письмом; в ССII он увидел 14 почерков. Д. Дрюлль считает, что в ССII вносило записи 16 лиц [1, с. 92—93], в чем сомневается Л. Лигети [2, с. 50]. Почерки нуждаются сейчас не столько в палеографической, сколько в графологической экспертизе. Число лиц, вносивших записи в ССII, преувеличено: сомнительно, чтобы на протяжении примерно 30 лет, когда рукопись находилась у миссионеров, в ней 16 человек могли сделать записи. Определение этих второстепенных деталей важно для лингвистического декодирования текста: сколько рук, столько индивидуальных систем понимания и транскрибирования речи.

Изучение бумаги далеко от завершения. Все тетради итальянской бумаги, но филиграни, идентичные водяным знакам СС, в другом документальном материале не найдены. А ведь только находка тождественной филиграни на бумаге, обладающей «черной» датой (датой, проставленной канцеляристом или другим лицом), может пролить свет на то, соответствует ли единственная имеющаяся в рукописи «черная» дата — 11 июля 1330 г.— времени написания словаря, а также на то, когда была заполнена третья тетрадь. Поиски тождественных знаков в альбомах и коллекциях филиграней пока успехом не увенчались. На основании сходных, но не тождественных филиграней Д. Дьёрффи датировал изготовление первых двух тетрадей 1315—1346 гг., а третьей — 1340—1350 гг. [6, с. 118]; Дрюлль все тетради относит к середине XIV в. [1, с. 29—31].

Совокупность данных внешней критики дает возможность делать вывод о том, что СС прошел через три руки — итальянского переписчика словаря, миссионеров — «латинофонов» и миссионеров — «германофонов». Примерно в конце 50-х годов XIV в. рукопись оказалась у генуэзца А. де Финале (фамилия указана в рукописи) и вскоре после этого очутилась в Венеции.

Текстология. Историю создания текста обеих частей СС следует рассматривать по отдельности. Они сохранились в единственном экземпляре; до сих пор не найдены следы похожих текстов XIV в.— исследование по линии сравнительной текстологии отпадает.

ССІ, состоящий из склонений и спряжений слов и двух латино-иранотюркских словарей, одного, составленного по алфавиту, и второго — систематически, явственно отражающего этнические черты автора, возник не сразу. Ему, несомненно, предшествовал период сбора и черновой обработки материала. Имеются косвенные свидетельства того, что завершенный протограф (= оригинал) был составлен не ранее 1324 или 1325 гг. (см. ниже). Протограф подвергался доработке: в процессе практического использования, когда он находился еще у итальянцев, пополнялись как алфавитный, так и систематический перечни. В этом убеждает хотя бы то, что в латинскую колонку (первую) внесено около 250 слов-дезидератов, к которым не успели подобрать иранские (вторая колонка) или же тюркские (третья) эквиваленты. В незавершенном виде протограф или отредактированный его список,— а спрос на словарь среди европейцев, заброшенных в «варварскую» страну, был большой — копировался в таком виде, в каком дошел до нас в составе СС. Можем предположить следующую стемму текстологической истории ССІ: 1) черновые записи = = источники → 2) протограф = оригинал → 3) отредактированная копия (копии) → 4) дополненная копия (копии) = ССІ → 5) дополнения, вносимые в ССІ. Исходя из подобной стеммы, в дальнейшем можно будет более определенно говорить о стратиграфии структурных единиц. ССІ изготовлялся постепенно не очень аккуратным переписчиком, возможно, с плохой копии, с чем связаны описки и другие ошибки [7, с. 91; 8, с. 206—207]. Миссионеры вносили свои дополнения, не придерживаясь первоначальной транскрипции. Они также (что лингвистически очень важно) «исправляли» транскрипцию, т. е. по-видимому, меняли фонетическую запись диалекта, отраженного в протографе, применительно к диалекту окружающего населения.

Дискуссионным является вопрос о том, считать ли ССІІ оригиналом или копией [2, с. 7]. Можно отнести к заслугам Дрюлль, доказавшей, что ССІІ — это оригинал [1, с. 31—32], а не копия [9, с. 211], однако, если учитывать, что в ССІІ хаотически перемешаны тексты различного содержания — фольклорные записи, молитвы и гимны, глоссарии,— определить черновой, копийный или беловой характер всех этих текстов вряд ли возможно. Предположения в отношении отдельных из них [10, с. 459] общей картины не меняют. Если ССІ формировался, обрабатывался и редактировался в канцелярском затишье, то ССІІ напоминает «полевые записи», частично, возможно, подвергнутые литературной шлифовке (высокий художественный уровень некоторых гимнов не подлежит сомнению [11, с. 243—251]), но, в основном, сделанные на скорую руку, по горячим следам непосредственных контактов с населением. Не исключена возможность, что миссионеры включали в ССІІ религиозные тексты, составленные ранее, в процессе христианизации, а загадки и другой фольклорный материал записывали из уст народа.

Текстологическое (отличное от кодикологического) деление СС на две части не подлежит сомнению. Вопрос состоит в том, сохранить ли за частями традиционные названия — ССІ «итальянская» (с. 1—110) и ССІІ «немецкая» (с. 111—164) — или принять предложенные Лигети названия «книга переводчика» и «книга миссионеров» [2, с. 52—53] на том основании, что ССІІ нельзя полностью считать немецким (часть ССІІ — это латинские записи миссионеров неизвестного происхождения). Вместе с тем нельзя отделаться от впечатления, что ССІ (а, может, и ССІІ) комплектовался в двух плоскостях: текстуальной, зафиксированной на письме, и устной, отражавшей произношение звуков, на письме зафиксированных особыми графемами и диакритикой. Устная инструкция, по-видимому, сопровождала передачу копий из рук в руки.

Датировка. Изучение датирования СС имеет длинную и противоречивую историю, на которой сейчас, когда благодаря открытию П. Зорзанелло (не опубликованному в свое время) и В. Дримбы предложена расшифровка «черной» даты [5, с. 396—398], не стоит останавливаться. В настоящее время можно учитывать две даты: «черную» 1330 г.— MCCCXXX die XI July (ошибка предыдущей расшифровки состояла в том, что лигурий-

ское написание цифр в виде m интерпретировалось как III, а в действительности это XXX [5, с. 396, 398, табл. III, IV]) и извлеченную из конкорданса названий месяцев латинской колонки и ИК 1324 или 1325 гг. [5, с. 400—401]. Но определением этих двух дат проблема не ограничивается — предстоит уточнить еще несколько датировок: протографа (= оригинала), изготовления копий ССІ, выполнения записей ССІІ. Другой вопрос состоит в том, каким временем датировать заключенный в СС материал. Хронологическую проблему представляет также установление конкорданса между месяцами солнечного календаря и обозначениями, имеющимися в ТК (элементы животного цикла? [2, с. 6—7]).

Полученные из коркондансa годы 1324 или 1325 можно считать датой изготовления протографа. Следы истории ССІ ранее 1324—1325 гг. не найдены.

«Черная» дата допускает двойную интерпретацию. Это или дата переписки одной из отредактированных копий, к которой восходит настоящий список ССІ, или же дата дошедшего до нас ССІ. Так или иначе, не думается, чтобы в первом случае (т. е. если 1330 г. считать датой не дошедшего до нас экземпляра рукописи) изготовление настоящего ССІ отставало на много лет от 1330 г. Практика средневековых канцелярий (особенно при выдаче выписей из канцелярских кни) знает много случаев, когда при копировании оставляли дату, простав енную ранее в начале документа, а дату изготовления копии не отмечали. День «11 июля», конечно, нельзя считать днем создания ССІ — эта дата показывает начало письменной фиксации текста оригинала или копии. Стемма ССІ, дополненная хронологическими показателями, представляется нам в следующем виде: 1) черновые записи = источники ранее 1324—1325 гг. → 2) протограф = оригинал 1324—1325 гг. → 3) отредактированная копия 1330 г.→ 4) дополненная копия = ССІ после 1330 г.→ 5) дополнения, вносимые в ССІ 1330—1350 гг.

Нет оснований для более точной датировки ССІІ. Terminus post quem здесь все тот же 1330 г. В руках одной или двух групп миссионеров СС находился между 1330 г. и концом 50-х годов XIV в.

Все датировочные выводы не могут поколебать глубокого убеждения в том, что протограф, или коренным образом переработанная редакция ССІ, были изготовлены не ранее 1324—1325 гг. Составленный тогда разговорник, предназначенный для связей с носителями тюркского и иранского языков, даже если он основывался на более ранних источниках, соответствовал языковой ситуации того времени. Если некоторые религиозные тексты ССІІ возникли в более ранний период, то они были живы и понятны в 30—50-х годах XIV в. Материал СС, как тюркский, так и иранский, отражает данный период, данную лингвистическую ситуацию. Поэтому теряют смысл попытки отнести материал СС к XIII в. [12, с. 87] или даже к домонгольскому периоду [13, с. 25]. При динамичности событий середины XIII — начала XIV в., вызванных вторжением монголов, миграциями огромных масс с Востока на Запад, уничтожением или насильственным угоном значительной части населения Восточной Европы, продажей его в рабство за пределы ареала — точная хронологизация материала СС имеет большое значение. Достаточно точно определяемый отрезок времени не нужно понимать так, что до 1324—1325 гг. не изготовлялись разговорники или же не составлялись религиозные тексты. Вероятно, они существовали ранее — с момента экспансии итальянцев в бассейн Черного моря (60-е годы XIII в.) и начала миссионерской деятельности (30-е годы),— однако не подлежит сомнению соответствие материала СС периоду 20—30-х годов XIV в. Состояние рукописи, вид страниц, испещренных глоссами и разнообразными записями, свидетельствуют о том, что СС постоянно находился в деле. Церковь была заинтересована в том, чтобы преподносить основы веры в форме наиболее понятной туземному населению — это исключало архаизацию или стилизацию языка.

Место изготовления. Город, в котором написан СС, в рукописи не указан. Предполагалось в качестве локализационного признака использовать то место в инвокации, где упоминается имя св. Иоанна-евангелиста. Ис-

ходя из того, что в ССІ имеется ИК, анализировали географию итальянских поселений Причерноморья, наиболее интенсивно осуществлявших торговлю с Персией (для этих контактов будто бы и предназначалась ИК).

ССІ открывается обширной инвокацией с упоминанием Иисуса Христа, Богоматери и всех святых. Она заканчивается формулой: Ad honorem Dei et b[ea]ti Ioh[ann]is euangeliste. Подобные инвокации соответствуют эпохе и характерны для духовных и светских рукописей. Согласно гипотезе В. Банга, упоминание евангелиста указывает на монастырь св. Иоанна в приволжском Сарае или его окрестностях [14, с. 244—245]. Монастырь такой действительно существовал — он упоминается в 1313—1340 гг. [15, т. 2, с. 456, 516, 557; 15 т. 3, с. 170]. Предположение Банга нашло поддержку у ряда исследователей [1, с. 15—19; 2, с. 8; 5, с. 403]. Монастырь в Сарае или вообще нижнюю Волгу [4, с. 46; 17, с. 13] считали и считают местом копирования или даже составления ССІ. Однако упоминание евангелиста нельзя рассматривать как локализирующий признак. Во-первых, место и дата изготовления рукописи обычно указываются в колофоне, а не упоминаются в инвокации; во-вторых, копирование ССІ духовным лицом сначала надо доказать: духовная инвокация в средневековье не дифференцировала авторов и копиистов с точки зрения их духовного или светского звания. Монастыри и церкви св. Иоанна существовали также в других местах, например, монастырь и госпиталь св. Иоанна в Кафе (1290 г. [18, с. 365]). Упоминание св. Иоанна не является календарным признаком (11 июля — это день св. Бенедикта), но евангелист мог являться патроном автора, редактора или же копииста ССІ.

Другое возможное место создания ССІ — Солхат (совр. Старый Крым) — было предложено Д. Расовским на том основании, что там находилась генуэзская фактория, где будто бы заканчивался караванный путь из Хорасана, на котором господствовал персидский язык [8, с. 210—213]. Главное доказательство Расовского — цитата из Ибн-Арабшаха (ум. 1450) [19, с. 272—275] — понята им неправильно: арабский историк говорит о караванах из Хорезма (не Хорасана!) на полуостров Крым (не в Солхат!) в дотимуровское время, т. е. тогда, когда в Хорезме уже господствовал тюркский язык.

Сугдея (Солдая, Сурож, совр. Судак) была предложена О. Прицаком [9, с. 212], так как там одно время пребывал венецианский консул, а восточнославянские глоссы в ССІ указывают на гостей-сурожан, итальянских купцов, торговавших на Руси. Но понятие гостей-сурожан не обязательно указывает на Сурож — это были купцы с полуострова вообще (подобно тому как др.-русск. *Сурожское море* это не только море около Сурожа!). Да и на полуострове сохранилось довольно значительное восточнославянское население — возможный источник глосс.

Э. Шюц [20, с. 202] считает местом создания ССІ Тану — там был венецианский квартал, но этого мало для гипотезы.

За Кафу, крупнейший центр генуэзской торговли на Черном море, выступила Дрюлль [1, с. 34—39, 92, 136]; ее поддержал Г.-В. Хауссиг [21, с. 8]. Дрюлль разработала вопрос о торговых связях Кафы с государством Ильханов, с использованием, будто бы, ИК. Ей, однако, не удалось доказать наличия интенсивных связей Кафы с Персией, тем более, что Золотая Орда, осуществлявшая общий суверенитет над Кафой, в 1261—1356 гг. находилась в состоянии войны с Ильханами и их наследниками, вследствие чего об активной торговле Кафы и других городов Северного Причерноморья с Персией не могло быть и речи.

И все же, учитывая, что Кафа являлась центром генуэзских поселений, мы считаем изготовление ССІ здесь наиболее вероятным. Город располагал в первой половине XIV в. необходимой культурной инфраструктурой, в среде которой могла возникнуть уникальная для своего времени система научной транскрипции тюркского и иранского языков. В Кафе действовала разветвленная сеть администрации с обширной канцелярией, штатом переводчиков, что способствовало созданию такого необходимого пособия, каким являлся ССІ. Теоретически допустимо, что ССІ мог возникнуть и в Генуе, где были носители тюркского и иранского языков,—

в среде рабов и вольноотпущенников, привезенных из Причерноморья.

С другой стороны, возникновение ССII в среде миссионеров не подлежит сомнению. Но находилась ли миссия в Крыму (в пределах или вне итальянских поселений), в Поволжье или на Северном Кавказе определить нелегко. Диалектные особенности тюркского ССII, отличные от языка ССI, как будто говорят о том, что ССII возник в несколько иной языковой среде, хотя этому противоречит тот факт, что фонетической правке на основе второго или даже третьего диалекта [4, с.46—47] весь материал ССI не подвергался. Границы между диалектами существовали там, где сохранялись барьеры между племенами и обособленными родами кочевников. С переходом к оседлой жизни в городах и селах диалектные различия стирались. Здесь аналогия с лингвистической ситуацией в Крыму второй половины XIX — начала XX в., когда, после распада родоплеменной структуры, в языке одного носителя крымскотатарского языка спокойно уживались явления, характерные для северных и центральных диалектов, на которые накладывал свой отпечаток южный крымскотурецкий язык. Некоторые особенности ССII позволяют утверждать, что миссия находилась в Крыму. Об этом свидетельствуют иноязычные (восточнославянские, иберо-кавказские) вкрапления, проникшие в ССII и даже в язык миссионеров. Немцы использовали украинское слово *копиця* (*kopicze* «копна») для перевода тюркского слова *čerē* [22, с. 205—206]. Иберокавказские элементы изучал Лигети [2, с. 50]. Одновременное наличие восточнославянских и иберо-кавказских элементов характерно для крымских городов и селений, где наряду с другими народами — все города Крыма были полиэтническими — жили славяне, черкесы, зикхи (западные черкесы). Украинское население Кафы, например, потомки русов, просуществовало до середины XVII в. [23, с. 225].

Назначение. Цель создания ССI и ССII не вызывает дискуссий. Как каждый разговорник, ССI связывал носителей итальянского, с одной стороны, и тюркского и иранского языков, с другой. Подобную же функцию выполнял и ССII при общении носителей немецкого (или другого западноевропейского) языка, «зашифрованного» под латынь, с тюркофонами. Все это способствовало усвоению, обучению и распространению религиозных текстов на тюркском языке. Не вызывает сомнения и другое назначение СС: облегчая общение между этносами, он служил и своеобразным учебником иностранного языка. Тем не менее, назначение, особенно ССI, этим не исчерпывалось. В «домиссионерский» период он выполнял и другие функции. Относительно сущности этих функций ведется упорная дискуссия.

ССI — пособие для купцов, специализировавшихся в межконтинентальной торговле. В нем зафиксирована тюркская lingua franca (далее LF) — средство общения на караванном пути, начинавшемся в Тане на Азовском море и заканчивавшемся в Китае, у берегов Желтого моря. Персидская же LF — аналогичное средство общения на другом пути (обычно предполагалось Дон — Волга — Каспий). Эта версия имеет многих приверженцев [24, с. 339; 1, с. 132—135]. Как доказательство приводилось италянское происхождение ССI, связанное с успешной экспансией итальянцев на Восток. Не подлежит сомнению, что ССI возник в обстановке колониальных захватов Генуи, частично других итальянских городов, в Причерноморье. Для генуэзцев свободный путь открылся в 1260 г. Экспансия требовала расширения контактов с иноязычным купечеством. Lingua Comanica (по распространенному во второй половине XIII—XIV в. аморфному выражению) действительно играла роль LF на среднеазиатском пути. Здесь начинаются неясности: во-первых, торговую деятельность на пути к Каспию до середины XIV в. конкретизировать невозможно [25, с. 336; 26, с. 361]; во-вторых, начиная с 1261 г. путь через Каспий или через перевалы Кавказа просто не действовал, не существовал (шла война за Азербайджан). Даже если бы путь действовал, вряд ли здесь была нужна персидская LF. Вторая половина XIII—XIV в.— это период господства тюркского языка также в Иране. Недаром именно в эту эпоху даже в литературный персидский язык вошло значительное количество

тюркизмов и монголизмов [27]. Дрюлль высказала предположение, что торговля Кафы с Персией из-за золотоордынской блокады осуществлялась через Трапезунд [1, с. 44—47, 81—90; 21, с. 8], но это маловероятно. Названия товаров, отправляемых в Трапезунд, с названиями товаров, перечисленных в ИК, не совпадают: товары здесь и там разные. Неубедительным является и мнение о том, что в ССІ зафиксирована купеческая LF в тюркском и иранском вариантах. Для проведения торговых операций вряд ли был нужен такой значительный (2500—3000) запас слов. Да и в систематической части ССІ имеются разделы лексики, которые не использовались коммерсантами. Наконец, основной язык разговорника — латынь — не был языком торговли; в XIV в. это язык церкви, науки, юриспруденции, канцелярии, дипломатии; даже не все представители высших кругов владели латынью в достаточной мере. Известные пособия по международной торговле (анонимное 1315 г., Ф. Бальдуччи-Пеголотти середины XIV в. [28, с. 311—320; 29]) составлены на итальянском, настоящей LF Средиземноморского бассейна, в который входили Черное и Азовское моря.

Миссионеры, конечно, владели латынью, а ССІ они пользовались как самоучителем тюркского (об изучении миссионерами восточных языков см. [30, с. 83—126; 31, с. 169—184; 32, с. 96]). Но думать, что ССІ предназначался исключительно для миссионерских целей (как считают некоторые исследователи [32, с. 98]), нет оснований, ибо тематический разрез ССІ только частично отвечал задачам, стоявшим перед миссионерами. С другой стороны, нельзя забывать, что религиозные вопросы представляли большой интерес для средневекового человека — не следует удивляться значительному пласту религиозной лексики ССІ.

Высказывалось предположение, что ССІ, в частности ИК, употреблялся для контактов с монголо-татарской верхушкой Золотой Орды, будто бы использовавшей изящный персидский для международных контактов [7, с. 92]. Дискуссия между Б. Шпулером и П. Пельо по поводу роли персидского в монголо-татарских улусах [33, с. 291; 16, с. 164—165] показала, что персидский язык не был распространен среди монголо-татарской верхушки (кроме государства Ильханов); спорадическое употребление персидского для дипломатических сношений не меняет общего вывода. С другой стороны, иранский язык ССІ очень отличается от изящного классического новоперсидского — грубоватый разговорный язык ИК не похож на средство общения рафинированной (как представляется некоторым исследователям) монголо-татарской аристократии.

Сравнительно недавно была разработана гипотеза, согласно которой ССІ — книга итальянского переводчика [2, с. 124, 136, 212]. Лигети, конкретизировав мысль Расовского и Дьёрффи о том, что ССІ был изготовлен для нужд итальянских колоний, подкрепил свое мнение довольно солидной (хотя односторонней) источниковой базой. Лигети считает, что переводчик пользовался ТК для контактов на высоком уровне с монголо-татарской верхушкой (включая составление и переводы договоров между итальянцами, с одной стороны, и ханами или же их наместниками, с другой). За ИК Лигети сохранил роль купеческой LF. В этой гипотезе — в отношении ТК — имеется рациональное зерно, но исследователь закрепил за ТК только роль пособия высокого ранга. Детальное рассмотрение договоров не подтверждает гипотезы: из перечисленных Лигети многочисленных договоров только в отношении одного венецианского договора 1332—1333 гг. [34, с. 585] можно с уверенностью сказать, что он был составлен на «команском» языке. В отношении других договоров подобных сведений нет. Выражение lingua ugaresca, употреблявшееся в связи с договорами, обозначает не язык, а уйгурское письмо. До 1380 г. в международной практике Золотой Орды господствовал монгольский; в этом мы согласны с выводами А. Григорьева [35, с. 81—89], хотя они и сделаны на ограниченном материале. Да и содержание ССІ не свидетельствует об его употреблении главным образом для международных отношений.

Обратим внимание на то, что лексика ССІ охватывает все области повседневной жизни (детальный анализ см. [8, с. 197—206]). Конкретно

на назначение CCI указывают латинские (полные итальянских варваризмов) перечни уже упомянутых дезидератов. О них известно было давно [8, с. 207; 1, с. 32], однако они не подвергались анализу. Среди дезидератов встречаются, в частности, следующие, не переведенные на оба языка: град, полдень, чернильный орешек, кардамон, мускат, пряности; [мех] маленьких кошек, льва, горностая; писарь, книга, пособие, письмо, чернила, бумага; порошок, ветвь дерева, виноградник, шкура, цапфа, резец; топаз, яшма, аметист; содержательница притона; камнемет, копье, щит; игла, нитка, терраса, быстроходный [конь], матрац, кушанье, вино, вода, соль, платок, испепелять. Системы здесь нет, лексика отражает повседневную жизнь с уклоном к коммерции — что характерно для среды торговых колоний. Другое обстоятельство, на которое исследователи не обращали внимания, состоит в том, что иранский и тюркский языки занимают в CCI равноправное место. Невозможно доказать, будто иранская лексика употреблялась в одной сфере, а тюркская — в другой. Тематические границы полей, в пределах которых употреблялась и иранская, и тюркская речь, идентичны. Носители этих языков должны были находиться примерно на одинаковом положении, проживать в аналогичных условиях. Тождественность полей могла возникнуть только в том случае, если языковые контакты устанавливались на одном и том же социальном уровне, если характер контактов был практически идентичным. Так как это не были тюрко- и ираноязычные купцы или двуязычная аристократия (объем лексики достаточно обширен), напрашивается вывод, что CCI был составлен для повседневного общения с окружающим населением, находившимся под генуэзской (судя по варианту латыни) администрацией или заселявшим недалекий хинтерланд. Лигети прав, называя CCI «книгой переводчика», но это была книга не для дипломатических переговоров, а обычное пособие для переводчика с его обыденными занятиями на территории, находившейся под итальянским владычеством.

Лингвистическая ситуация в Крыму в 20-х годах XIV в. Прошло почти столетие со времени монголо-татарского смерча, мало затронувшего развитой юг Крыма с его городами и селениями, насчитывавшими много веков существования. Все они (Солхат, Солдая, Кафа, Воспоро, Кирк-Иер, Мангуп и др.) периодически становились объектами грабежа и разорений, но это не было тотальное уничтожение. Города Крыма с момента возникновения первых греческих полисов были полиэтническими и многоязычными. Со временем возникали новые этнические и этноконфессиональные общины, менялся господствующий язык в зависимости от политической ситуации. В 20-х годах международное положение было сложным, но стабильным. Города Южного Крыма номинально зависели от Византийской империи, что укрепляло позиции греческого языка. Остальная территория полуострова вошла в состав Золотой Орды — население этой части Крыма постепенно подвергалось тюркизации [36, с. 80; 37, с. 92—93; 38, с. 383—384]). Там господствовал упоминаемый в CC tatar til. К 20-м годам XIV в. колонии достигли экономического расцвета — возникала настоящая Итальянская империя на Черном море. Была создана сеть административных и судебных учреждений, введено делопроизводство западного образца (о нотариате см. [39, с. 33—34]), укрепились позиции католической церкви. Население городов, селений, хинтерланда было весьма пестрым. Г. де Рубрук еще в 1253 г. писал: «...между Керсоной [Херсонесом] и Солдаией существует сорок замков, почти каждый из них имел особый язык» [40, с. 90]. В городах, захваченных генуэзцами, звучала, кроме итальянской, греческая, восточнославянская (потомки русов), готская, армянская, иберо-кавказская (черкесы и зикхи), сирийская, еврейская (в области культа), валашская и др. речь. Значительный процент населения пользовался тюркскими и иранскими языками. Тюркофонами были татары, осколки ранее поселившихся тюркских народов (хазар, печенегов, половцев), а также караимы. Ираноязычными были аланы, персы, возможно, остатки сугдейцев и хорезмийцев (иранофонов). Управлять таким этническим и религиозным Вавилоном было нелегко. В условиях итальянской колонии с обширной сетью западноевропейской

администрации и богатым делопроизводством, регистрирующим торговые сделки, завещания и описи имущества, огромное значение имели государственные и другие, менее официальные, переводчики.

Нотариальные акты Кафы 1289—1290 гг. еще задолго до расцвета города в 20—30-х годах XIV в. много раз упоминают переводчика генуэзской общины (drogumanus = torcimanus comunis Janue in Caffa) Пьетро де Милано, владевшего, по-видимому, греческим, сирийским (арабским?) и татарским — по крайней мере, он присутствовал в нотариате, когда записывались акты с участием лиц этих народностей [18, № 47, 52, 53, 99, 124, 126 и др.]. Кроме него, в роли переводчиков упоминается еще 24 лица, владеющие греческим, сирийским, арабским, армянским, аланским и немецким языками [18, № 80, 154, 190, 232, 371, 386 и др.]. Если учесть, что переводчиками выступали просто доверенные лица, знавшие определенные языки, помимо итальянского, объем переводческой работы в административных учреждениях, у нотариев, в судах, на базарах и в других местах оказывается огромным. Подобный же результат дает изучение актов таких колоний конца XIII — середины XIV в., как Вичина, Килия, Белгород (Монкастро), Тана (обзор публикаций [41, с. 222—225], кроме этого [42]). Вот та среда, для которой составление и употребление пособий вроде ССІ было необходимостью. Еще деталь: латинский язык генуэзских актов аналогичен языку ССІ, что давно отметили историки [43, с. 231], но до сих пор не учли языковеды. А дата в начале ССІ напоминает канцелярскую практику датирования актов, а не запись даты в колофоне рукописей.

Учитывая языковую ситуацию в колониях, с ее практикой переводческой деятельности, приходим к выводу, что ССІ был создан как разговорник для общения с тюрко- и ираноязычным населением колоний и хинтерланда [3]. Зафиксированный в ССІ язык — это язык местного населения, а не LF среднеазиатского и каспийского путей: грецизмы, славянизмы, романизмы, германизмы ТК и ИК, понятные в причерноморском ареале, были непригодны для контактов в Персии или Китае.

Проблема этнической принадлежности автора или составителя, информанта, а также лиц, редактировавших и дополнявших СС, представляет интерес не только для этнолингвистики, но и для правильного декодирования текстов. Как мы видели, текстологическая история ССІ сложнее, чем ССІІ. Если процесс получения и обработки информации для ССІ включает последовательное участие информанта → автора (составителя) → редактора (переписчика) → лица, дополнявшего или исправлявшего ССІ, то для ССІІ цепочка состоит из двух элементов: информант → автор (фиксатор, составитель).

Согласившись с многослойностью текста ССІ, т. е. с тем, что первоначальный текст, базировавшийся на неизвестных источниках, был составлен в 1324—1325 гг., а в дальнейшем дополнялся и должен был дополняться, достигнув оформления в 1330 г., нельзя отказаться от мысли об участии в этом процессе информантов. Даже если автором считать переводчика-полиглота, для которого один из восточных языков был родным (оптимальный вариант), то приписывание латинских и итальянских слов, поиски для них тюркских и иранских эквивалентов свидетельствуют о многих информантах, знания которых использовались для пополнения ССІ. Как копииста ССІ, так и информантов в литературе характеризуют нелестными словами. Подобная характеристика рикошетом бьет по автору ССІ. Дримба считает, что ТК заполнена со слов информанта «не-комана» или плохо знавшего «команский» [44, с. 184]. Он согласен сделать скидку на неграмотность переводчика. По Д. Монки-заде, ИК составлена из слов, продиктованных «команом», так как персидская лексика подчинена «команским» языковым законам [17, с. 13]. А. Бодроглигети считает, что для информанта ИК персидский не являлся родным, он знал его посредственно [45, с. 12]. Лигети, наоборот, усматривает здесь влияние иранского на тюркский: «тюркские варваризмы явились следствием рабского перевода

[3] Вопросу идентификации языков с точки зрения этнолингвистики будет посвящена отдельная статья.

персидских выражений» [2, с. 13]. Получается, что оба информанта, тюркский и иранский, «подвели» совершенно не знающего восточных языков автора, что привело к составлению малопригодного к практическому применению пособия. Трудно допустить, что человек, создавший последовательную, удовлетворительную с точки зрения практической лингвистики систему транскрипции, одну из первых такого рода в средневековой Европе (ср. высокую оценку, данную К. Залеманом [46, с. 950]), мог не знать восточных языков. Имеются основания считать ССІ «книгой переводчика» — в колониях, несомненно, были талантливые переводчики, способные составить пригодный разговорник. Уровень транскрипционной системы, схема построения ССІ, систематизация лексики по разделам свидетельствуют о том, что автором был человек, для которого переводческая деятельность являлась профессией. Он владел, по-видимому, обоими восточными языками в объеме, достаточном для повседневного общения. В ССІ нашел отражение язык, которым пользовался автор и на котором говорили окружающие. То, что этот язык не был безукоризненным,— это другой вопрос. Но ведь и итальянская латынь ССІ не укладывается в рамки идеальной латыни, даже в ее итальянском варианте. Из этого, однако, не следует, что автор был неграмотным в латыни или не знал итальянского языка.

Каким представляется нам автор? Возможно, имя его было Иоаннес (Джованни), и он внес имя своего патрона в инвокацию. Генуэзец (о чем свидетельствует лигурийский вариант латыни и лигурийский дукт письма) или выходец из вывезенных из Причерноморья рабов (современник, Иоанн из Гильдесгейма, писал, что итальянцы покупали детей, владевших местными языками, для того, чтобы в дальнейшем воспользоваться их языковыми знаниями [15, т. 2, с. 153]). Владел, вероятно, одним из восточных языков с детства (о вывозе рабов «команов» и алан в Италию, см. [47, с. 287—298; 48, с. 451—457; 49]). Он обладал лингвистическими способностями, понимал фонетическую структуру тюркского языка, что выразилось в разработке транскрипции. Высказывалось предположение, что он был знаком, хотя бы поверхностно, с арабскими трудами из области практической лингвистики: по структуре, в частности делением лексики по предметам, ССІ больше похож на восточные пособия (на что обратил внимание Лигети [2, с. 15—16]), чем на западные. Определить роль предполагаемого редактора ССІ не представляется возможным. Палеографическое изучение ССІ указывает на существование лиц, дополнявших или исправлявших первоначальный текст в духе другой транскрипции (нередко это были немецкие монахи).

СС часто подвергается субъективному декодированию во имя «нормализованной», «стандартизированной» транскрипции обоих восточных языков без учета того, что в полиэтнических причерноморских городах разговорные языки изобиловали интерферентными явлениями.

Информантами ССІІ (их присутствие ощущается на каждом шагу) были живые носители тюркского языка. Кто был автором переводов религиозных текстов — монахи-иностранцы, досконально владевшие языком, или же туземцы (возможно, также монахи), сказать трудно. Некоторые поэтические гимны могли пройти фольклорную обработку (пропаганда католицизма велась среди тюркофонов на протяжении ста лет). Для декодирования записей важен этнос монахов. Частично это немцы, говорившие на средневерхненемецком диалекте; остальные монахи неизвестного происхождения (среди миссионеров встречались англичане, итальянцы, венгры, французы, каталонцы, испанцы, поляки и др.). Если палеографический и лингвистический анализ когда-нибудь поможет определить этнос остальных фиксаторов, это, возможно, уточнит наше представление о тюркских текстах ССІІ. Немцы, по-видимому, вносили записи последними [2, с. 53] и именно там, где среди миссионеров господствовал немецкий язык. Трудно представить себе, что монах не-немец изучал немецкий только для того, чтобы научиться говорить по-тюркски.

Многоаспектный анализ проблемы возникновения СС дает возможность сделать выводы, важные для дальнейшего лингвистического и этнолингвистического исследования памятника:

а) название СС дезориентирует исследователей, что отразилось в этнолингвистическом плане изучения;

б) кодикологическое, палеографическое и филигранологическое обследование памятника не завершено, и ранее сделанные выводы нельзя считать окончательными;

в) текстологический анализ свидетельствует о том, что ССІ — это копия протографа или отредактированной копии, а ССІІ — материалы оригинального и копийного происхождения;

г) предложенное Зорзанелло — Дримбой прочтение «черной» даты ССІ — 1330 г. — не подлежит сомнению; протограф был изготовлен, по-видимому, в 1324—1325 гг. ССІІ был составлен в пределах 30-х — начала 50-х годов XIV в. Нет оснований относить материал памятника к XIII в.;

д) ССІ был создан в одном из городов Северного Причерноморья, находившихся под генуэзским владычеством, наиболее вероятно в Кафе. Сарай в качестве места создания или переписки ССІ отпадает. Место создания ССІІ неизвестно, по-видимому, это был Крымский п-ов;

е) ССІ был создан как пособие для переводчика в колониях, ССІІ — для фиксации «полевых записей» миссионеров, а также для записи религиозных текстов, распространяемых среди тюркофонов. ССІ не был пособием, созданным специально для купцов или миссионеров, поскольку ИК и ТК отражают местные разговорные языки, а не купеческую LF;

ж) автор ССІ был квалифицированным переводчиком, возможно, выходцем из крымской тюрко- или ираноязычной среды. Мнение о том, что в ССІ имеется масса ошибок, вызванных плохой информацией, низкой квалификацией автора и небрежной перепиской, преувеличено. Оно объясняется невниманием к процессам интерференции и конвергенции в этнически смешанной многоязычной среде крымских городов XIV в.

ЛИТЕРАТУРА

1. *Drüll D.* Der Codex Cumanicus. Entstehung und Bedeutung. Stuttgart, 1980.
2. *Ligeti L.* Prolegomena to the Codex Cumanicus.— Acta Orientalia Hung., 1981, t. 35, fasc. 1.
3. *Kuun G.* Codex Cumanicus Bibliothecae ad Templum Divi Marci Venetiarum. Budapestini, 1880 (repr. 1981).
4. *Gabain A. von.* Die Sprache des Codex Cumanicus.— In: Philologiae Turcicae fundamenta. T. 1. Aquis Mattiacis, 1959.
5. *Drimba V.* Sur la datation de la première partie du Codex Cumanicus.— Oriens, 1981, v. 27—28.
6. *Györffy Gy.* Autour du Codex Cumanicus.— In: Analecta Orientalia memoriae A. Csoma de Kőrös dicata. Budapest, 1942.
7. *Grzegorzewski J.* Dzetatyzm perski «Kodeksu kumańskiego».— RO, 1914—1915, t. 1, cz. 1.
8. *Расовский Д. А.* К вопросу о происхождении Codex Cumanicus.— Сборник статей по археологии и византиноведению. Т. 3. Прага, 1929.
9. *Pritsak O.*— Journal of Turkish studies, 1980, v. 4.— Rec.: *Drüll D.* Der Codex Cumanicus. Stuttgart, 1980.
10. *Drimba V.* Miscellanea Cumanica I, II.— Revue roumaine de linguistique, 1970, t. 15, No 5.
11. *Gabain A. von.* Komanische Literatur.— In: Philologiae Turcicae fundamenta. T. 2. Aquis Mattiacis, 1964.
12. *Самойлович А. Н.* К истории и критике Codex Cumanicus.— Доклады Российской Академии наук. Серия В. Л., 1924, № 4—6.
13. *Баскаков Н. А.* Об унификации названий древних и средневековых письменных тюркских языков — Тюркологический сборник. 1977. М., 1981.
14. *Bang W.* Über die Herkunft des Codex Cumanicus.— Sitzungsberichte der Preussischen Akademie der Wissenschaften. Philosophisch-historische Klasse, 1913, Bd. 9.
15. *Golubovich G.* Biblioteca bio-bibliographica della Terra Santa e dell' Oriente francescano. V. 2. Quaracchi, 1913; V. 3. 1919.
16. *Pelliot P.* Notes sur l'histoire de la Horde d'Or suivies de quelques noms turcs d'hommes et de peuples finissant en «ar». Paris, 1949.
17. *Monchi Zadeh D.* Das Persische im Codex Cumanicus. Uppsala, 1969.
18. *Balard M.* Gênes et l'Outre-Mer. 1. Les actes de Caffa du notaire Lamberto di Sambuceto 1289—1290. Paris — La Haye, 1973.
19. Ahmedis Arabsiadae Vitae et rerum gestarum Timuri, qui vulgo Tamerlanes dicitur, historia. Ed. Manger S. H. T. 1. Leovardiae, 1767.
20. *Schütz E.* Armeno-Kiptschakisch und der Krim.— In: Hungaro-Turcica. Studies in honour of J. Németh. Budapest, 1976.

21. *Haussig H.-W.* Geleitwort.— In: *Drüll D.* Der Codex Cumanicus. Stuttgart, 1980.
22. *Drimba V.* Quelques mots comans précisés par leur gloses allemandes.— In: Harvard Studies. Cambridge (Mass.) 1979—1980, v. 3—4, p. 1.
23. *Fisher A.* The Ottoman Crimea in the mid-seventeenth century: some problems and preliminary considerations.— In: Harvard Studies. Cambridge (Mass.), 1979—1980, v. 3—4, p. 1.
24. *Roesler R.* Über das Kumanische.— In: *Roesler R.* Romänische Studien. Untersuchungen zur älteren Geschichte Romäniens. Leipzig, 1871.
25. *Baratier É.* L'activité des Occidentaux en Orient au Moyen Âge.— In: Sociétés et compagnies de commerce en Orient et dans l'Océan Indien. Paris, 1970.
26. *Richard J.* Les navigations des Occidentaux sur l'Océan Indien et la Mer Caspienne.— In: Sociétés et compagnies de commerce en Orient et dans l'Océan Indien. Paris, 1970.
27. *Doerfer G.* Türkische und mongolische Elemente im Neupersischen unter besonderer Berücksichtigung älterer neupersischer Geschichtsquellen vor allem der Mongolen- und Timuridenzeit. Bd. 1—3. Wiesbaden, 1963—1967.
28. *Bautier R.-H.* Les relations économiques des Occidentaux avec les pays d'Orient au Moyen Âge.— In: Sociétés et compagnies de commerce en Orient et dans l'Océan Indien. Paris, 1970.
29. *Balducci Pegolotti F.* La pratica della mercatura. Ed. by Evans A. Cambridge (Mass.), 1936.
30. *Altaner B.* Sprachkenntnisse und Dolmetscherwesen im missionarischen und diplomatischen Verkehr zwischen Abendland (Päpstliche Kurie) und Orient im 13. und 14. Jh.— Zeitschrift für Kirchengeschichte, 1936, Bd. 55.
31. *Roncaglia M.* I Fratti Minori e lo studio delle lingue orientali nei secolo XIII.— Studi Francescani, 1953, ser. 3, v. 25.
32. *Richard J.* La Papauté et les missions d'Orient au Moyen Âge (XIIIe — XVe siècles). Rome, 1977.
33. *Spuler B.* Die Goldene Horde. Die Mongolen in Russland 1223—1502. 2-te erw. Aufl. Wiesbaden, 1965.
34. *Mas Latrie L. de.* Privilèges commerciaux accordés à la République de Venise par les princes de Crimée et les empereurs mongols du Kiptchak.— In: Bibliothèque de l'École des Chartes. V. 29. Paris, 1868.
35. *Григорьев А. П.* Официальный язык Золотой Орды XIII—XIV вв.— Тюркологический сборник. 1977. М., 1981.
36. *Дашкевич Я. Р.* Армяно-кыпчакский язык XV—XVII вв. в освещении современников.— ВЯ, 1981, № 5.
37. *Дашкевич Я. Р.* Армяно-кыпчакский язык: этапы истории.— ВЯ, 1983, № 1.
38. *Dachkévytch Ya. R.* Who are Armeno-Kipchaks? (On the ethnical substrat of the Armenian colonies in the Ukraine).— Revue des études arméniennes. N. S., 1982, t. 16.
39. *Brătianu G. I.* Actes des notaires génois de Péra et de Caffa de la fin du treizième siècle (1281—1290). Bucarest, 1927.
40. *Рубрук Г. де.* Путешествие в восточные страны.— В кн.: *Плано Карпини Дж. дель.* История монгалов. Рубрук Г. де. Путешествие в восточные страны. М., 1957.
41. *Verlinden Ch.* Le commerce en Mer Noire des débuts de l'époque byzantine au lendemain de la conquête de l'Égypte par les Ottomans (1517).— В кн.: XIII Международный конгресс исторических наук. М., 1970: Доклады. Т. 1. Ч. 4. М., 1973.
42. *Balbi G., Raiteri S.* Notai genovesi in Oltremare. Atti rogati a Caffa e Licostomo nel secolo XIV. Genova, 1973.
43. *Bratianu G. I.* Recherches sur le commerce génois dans la Mer Noire au XIIIe siècle. Paris, 1929.
44. *Drimba V.* Syntaxe comane. Bucarest — Leiden, 1973.
45. *Bodrogligeti A.* The Persian vocabulary of the Codex Cumanicus. Budapest, 1971.
46. *Saleman C.* Zur Kritik des Codex Cumanicus.— Изв. имп. Академии наук, сер. 6, 1910, № 12.
47. *Verlinden Ch.* Esclavage et ethnographie sur les bords de la Mer Noire (XIIIe et XIVe siècles).— In: Miscellanea historica in honorem L. van der Eisen. V. 1. Brussel — Parijs, 1947.
48. *Verlinden Ch.* Esclaves alains en Italie et dans les colonies italiennes au XIVe siècle.— Revue belge de philologie et d'histoire, 1958, t. 36, № 2.
49. *Verlinden Ch.* L'esclavage dans l'Europe medievale. T. 2. Gent, 1977.

ВОПРОСЫ ЯЗЫКОЗНАНИЯ

№ 4 1985

ПАНФИЛОВ В. С.

ВЬЕТНАМСКАЯ МОРФЕМИКА

I. Морфемика vs грамматическая теория слова[1]

Морфемика — это раздел грамматической теории, задача которого состоит в определении морфемы, разработке приемов морфемного анализа и установлении инвентаря морфем исследуемого языка.

Морфема есть минимальная единица языка, наделенная значением. С позиций собственно морфемики тождество морфемы является тождеством и формальным, и семантическим. Чисто формальное тождество не дает оснований для морфемного анализа: слово *апостол* не имеет смысловой общности со словом *стол*, а последнее — со словом *сто*, которое, в свою очередь. не дает семантических оснований для выделения морфем *с*, *то*, *о*. Не дает оснований для морфемного анализа и близость чисто семантическая: *врач — лечить*; *топор — рубить*.

Морфемам как единицам, обладающим двусторонней (формально-семантической) выделимостью, противостоят единицы, выделимые только формально (субморфы), и единицы, выделимые только семантически (семантемы). Единицы с односторонней выделимостью — это побочный результат морфемного анализа, своего рода морфемный шлак.

Примером субморфа может служить слог *tu'o'c*^{6} во вьетнамском слове *vu' o'n*^{2} *tu' o'c*^{6} «сады»: формально он легко выделим остаточно, поскольку *vu' o'n*^{2} «сад» есть свободная морфема. Вместе с тем *tu' o'c*^{6} встречается только в составе слова *vu' o' n*^{2} *tu' o' c*^{6} «сады», и эта уникальная сочетаемость не позволяет дать рассматриваемому сегменту убедительную семантическую характеристику (подробнее см. ниже).

К числу семантем относятся прежде всего те нерегулярные значения, которые сопутствуют соединению морфем при образовании слова. Например, вьетнамские синонимы *công*^{6} *tac*^{5} «сотрудничать» («совместно» + «работать») и *ho' p*^{6} *tac*^{5} «сотрудничать» («соединяться» + «работать») различаются тем, что в первом случае имеется в виду ведущая роль одной из сторон, тогда как во втором случае подразумевается равноправие сотрудничающих [1]. Эти компоненты смысла не находят никакого внешнего выражения.

Единицы морфемики — морфемы как таковые, конечный результат сегментации текста, проводимой с опорой на смысл. Обращение непосредственно к тексту означает, что морфема определяется безотносительно к понятию слова. Таким образом, ни структура слова, ни словообразовательная модель при морфемном анализе не учитывается, так что выделение морфем именно в составе слова должно рассматриваться как более или менее условное упрощение процедуры анализа.

Главное в морфемном анализе — можно ли приписать выделенному отрезку некоторое значение, причем следует иметь в виду так называемый ассоциативный характер значения морфемы. Если, к примеру, установлена морфема *hoc*^{6} «учиться», то в дальнейшем она выделяется автоматически во всех отрезках, значение которых может так или иначе ассоциироваться с учебой, образованием, знаниями: *hoc*^{6} *sinh*^{1} «ученик», *hoc*^{6} *bông*^{4} «стипендия», *vât*^{6} *ly*^{5} *hoc*^{6} «физика» и т. д. Омонимия, если пользоваться

[1] В статье принята следующая нумерация вьетнамских тонов: 1 — верхний ровный; 2 — верхний нисходящий (\); 3 — нисходяще-восходящий прерывистый (~); 4 — вопросительный (?); 5 — восходящий напряженный (/); 6 — тяжелый (.).

этим термином применительно к морфемике, есть наличие различных значений в одном означающем, например: *năm*[1] 1) «пять» ; 2) «год».

В морфемике можно оценивать морфемы по отношению к единице более высокого уровня — слову, подразделяя их на свободные и связанные. Свободная морфема может исчерпывать собой слово, связанная может быть только частью слова. Само же слово в грамматическом понимании есть значимая сущность более высокого по сравнению с морфемой порядка, результат определенной аранжировки морфем. Оно составляет предмет исследования грамматической теории слова, в задачу которой входит выявление структуры слова и оценка его составляющих под функциональным углом зрения, т. е. по их роли в организации слова.

Функциональные единицы, устанавливаемые в грамматической теории слова,— корень, словоизменительные и словообразовательные форманты. Хотя эти термины и представляются более предпочтительными для обозначения функциональных единиц, тем не менее приходится считаться с узаконенными традицией корневыми и некорневыми морфемами — терминами, которые своей внутренней формой наталкивают на понимание соответствующих реалий как принадлежащих скорее собственно морфемике; во всяком случае, создается впечатление, что быть корневой или некорневой есть постоянный признак морфемы. Между тем функциональные единицы, которыми оперирует грамматическая теория слова, в какой-то мере аналогичны функциональным единицам синтаксиса: подобно тому, как одно и то же слово может выступать в различных синтаксических функциях, одна и та же морфема может иметь различный функциональный статус в составе слова. Именно этот различный функциональный статус одной и той же морфемы можно было бы, если в этом есть необходимость, обозначить термином «функциональная омонимия» при его корректном употреблении в грамматической теории слова. Например, морфема *hoc*[6] «учиться, учение, знание, наука...» является корневой в слове *hoc*[6] *sinh*[1] «ученик» и словообразовательной в словах *xa*[3] *hôi*[6] *hoc*[6] «социология» (*xa*[3] *hôi*[6] «общество»), *điêu*[2] *khiên*[4] *hoc*[6] «кибернетика» (*điêu*[2] *khiên*[4] «управлять»), *nhân*[1] *chung*[4] *hoc*[6] «этнография» (*nhân*[1] *chung*[4] «раса»).

Продолжая аналогию с частями речи и их синтаксическими функциями, можно подразделить морфемы на знаменательные и служебные по их внутрисловным функциям. Для знаменательных морфем наиболее типична функция корня, хотя некорневые функции для них тоже возможны. Иначе говоря, знаменательные морфемы обладают полным набором внутрисловных функций, тогда как морфемы служебные могут выступать только в некорневых функциях. Что же касается субморфов, то уже в силу своей асемантичности они не могут выступать в функции корня. В силу этой же причины субморфом не может манифестироваться деривационный формант, если исходить из того, что последний в значительной мере определяет семантику словообразовательной модели. Однако другие некорневые функции для субморфов вполне возможны. Так, слог-редупликатор, присоединяемый к исходному слогу во вьетнамских неполных повторах (*nho*[4] «маленький» → *nho*[4] *nhăt*[6] «карликовый»), с функциональной точки зрения должен быть охарактеризован как словообразовательный субморф. В Южном диалекте субморф *ca*[2] выступает как «эквивалент» словоизменительного удвоения: *gât*[6] «кивать» → *gât*[6] *gât*[6] «кивать-кивать» = *ca*[2] *gât*[6] (Южн. диал., перевод тот же) [2].

Составной частью грамматической теории слова является синхронное словообразование, задача которого — выявление действующих в языке словообразовательных моделей, что предполагает анализ связей между словами, в частности — между словами производными и связанными с ними отношением формально-семантической мотивации производящими. Сопоставление с производящим, мотивирующим словом является основанием для деления производного слова на непосредственно составляющие. Понятно, что при этом могут оказаться учтенными не все морфемы в слове. Например, в слове *утешительный* выделяется морфема *-тель* и при морфемном, и при словообразовательном (по сопоставлению с *утешитель*) анализе, а в слове *употребительный* — только при анализе морфемном [3].

Итак, выделение минимальных значимых единиц языка, характеристика компонентов слова по их функции в составе слова, установление действующих словообразовательных моделей — таково разграничение сфер влияния морфемики, грамматической теории слова, синхронного словообразования. При таком разграничении снимается критикуемое Н. Д. Арутюновой противоречие, когда целостность элементарной значимой единицы определяется нечленимостью ее означающего, а отождествление единиц производится в функциональном плане, независимо от различий означающих, т. е. «в одном случае пользуются критерием плана выражения, а в другом случае признают приоритет плана содержания, причем соотношение столь разных принципов специально не обосновывается» [4].

В соответствии с положениями данной статьи в примере *добежать до леса* имеется одна и та же свободная морфема *до* как в составе глагола, так и в предлоге. Таков ее статус в морфемике. Однако при функциональном подходе мы имеем дело с корневой морфемой *до*, образующей самостоятельное слово — предлог, и с некорневой (словообразовательной) морфемой *до* в составе глагола [ср. 5]. Возможно и противоположное, когда функционально идентичные элементы манифестируются различными морфемами, как например, словообразовательные суффиксы *-тель* (*учитель*) и *-щик* (*гардеробщик*). Функциональная единица вовсе не обязательно должна быть представлена одной морфемой, она может быть выражена и несколькими единицами морфемного уровня; вот пример сложного аффикса: (*не-до*)*работать* [6]. Функциональный элемент может манифестироваться субморфом: таковы русские соединительные гласные — элементы, лишенные значения, но обладающие определенной словообразовательной функцией. Последнюю иногда предлагают включать в определение морфемы наряду с семантическим признаком [7, 8]. С учетом принятых в данной статье положений такой подход представляется нежелательным, так как означает привнесение функциональных критериев теории слова в собственно морфемику, открывая тем самым возможность для дальнейших осложнений морфемной семантики различными признаками несемантического характера. Неосторожный шаг на таком пути чреват низвержением в слогоморфемный омут — лингвистическую черную дыру, откуда уже нет спасения и нет возврата (см. ниже, разд. IV).

В связи с изложенным представляется нецелесообразным подчинять морфемный анализ словообразовательному, как это иногда предлагают [см., например, 9]. При критике такого подхода справедливо подчеркивается, что по сути дела он означает возврат к былому неразграничению словообразования и морфемики [10]. Тем более недопустимо смешение морфемики с теорией частей речи. По частям речи распределяются не морфемы, а слова, так что вместо термина «части речи» иногда даже употребляют более корректный с точки зрения современной лингвистики термин «классы слов», как это сделано, в частности, в «Грамматике вьетнамского языка» [11, с. 81]. Из этого, однако, следует, что подразделение морфем на знаменательные и служебные, осуществляемое в терминах частей речи [11, с. 9—10], есть в действительности подразделение с л о в и как классификация, затрагивающая иной языковой уровень, не имеет отношения к собственно морфемике.

II. Морфемный анализ

Первый вопрос, который возникает в связи с процедурой морфемного анализа, состоит в следующем: если несколько последовательностей (в частности, слов) имеют нечто общее в своей семантике и к тому же содержат общий формальный сегмент, то всегда ли можно считать, что данный сегмент и является носителем общей семантики? Н. А. Янко-Триницкая пишет, что при положительном ответе на этот вопрос пришлось бы приписать значение «домашнее животное» отрезку *ко-* в словах *корова*, *коза*, *конь*, *кобыла*, *кот* (12). Подобные курьезные решения известны и на вьетнамском материале. Так, к примеру, Хо Ле критикует анализ

Л. Томпсона, который на основании сопоставления слов *đâu*[1] где, *đây*[1] здесь, *đây*[5] там выделяет морфему *đ* со значением места. Хо Ле замечает, что при таком подходе толкования значений становятся совершенно произвольными и ничто не мешает приписать согласному *đ* значение физического воздействия (*đâp*[6] ударять, *đanh*[5] бить, *đâm*[5] бить кулаком, *đâm*[1] протыкать) или значение действия ногами (*đi*[1] идти, *đu'ng*[5] стоять, *đap*[6] топтать, *đa*[5] бить ногой) [13, с. 13].

Подход авторов «Грамматики вьетнамского языка» к морфемному анализу отличается от позиции Л. Томпсона только тем, что для морфемного анализа не привлекаются однослоги. В остальном авторы «Грамматики...» действуют «по Л. Томпсону»: сравнивая, например, последовательности *giao*[5] *viên*[1] «учитель», *giao*[5] *su'*[1] «профессор», *giao*[5] *sinh*[1] «студент педвуза», *giao*[5] *duc*[6] «просвещение», они выделяют морфему *giao*[5] «обучать» [11, с. 3, 4] [2]. Авторы уточняют, что для выделения морфем из двусложных сочетаний достаточно сравнения трех сочетаний, содержащих один общий слог и объединенных некоторой общностью значения [11 с. 4]. В таком случае ничто не мешает, сравнивая последовательности *đai*[6] *ta*[5] «полковник», *đai*[6] *tu'o' ng*[5] «генерал», *đai*[6] *suy*[5] «главнокомандующий», приписать слогу *đai*[6] «большой» значение «военный». На основании сопоставления *tiêu*[4] *chu*[5] «примечание», *tiêu*[4] *tu'*[6] «предисловие», *tiêu*[4] *đân*[3] «введение», можно приписать слогу *tiêu*[4] «маленький» значение «письменная заметка». Если снизить до двух в общем-то вполне произвольное требование сравнения трех сочетаний, то сопоставив последовательности *măt*[6] *trăng*[1] «луна» и *măt*[6] *tro'i*[2] «солнце», можно приписать слогу *măt*[6] «лицо, поверхность» значение «небесное тело». Ясно, что процедура морфемного анализа должна быть более строгой, исключающей возможность необоснованных решений.

Для членения вьетнамского текста на морфемы целесообразно воспользоваться понятием фразового слова. Стоящий за этим понятием технический прием позволяет привести текст к виду, удобному для морфемного анализа. Фразовое слово — это отрезок текста, способный употребляться как самостоятельное высказывание (законченное или неполное) и не делимый без остатка на другие отрезки, обладающие таким же свойством [14, с. 14]. Рассмотрим пример: *Tro'i*[2] *vân*[3] *cu'*[5] *mu'a*[1]. *U'o't*[5]. *Đoi*[5]. *Moi*[4]. *Buôn*[2] *ngu*[4]. (*Nguyên*[3] *Huy*[1] *Tu' o' ng*[4]) «А дождь все льет и льет. Сыро. Голодно. Тяжко. В сон клонит». В первом предложении можно выделить следующие фразовые слова: *tro'i*[2] «небо», *mu'a*[1] «дождь», *cu'*[5] *mu'a*[1] «все идет дождь». Отрезки *tro'i*[2] *mu'a*[1] «идет дождь», *vân*[3] *mu'a*[1] «по-прежнему идет дождь» фразовыми словами не являются, так как каждый из них делится без остатка на два фразовых слова. Каждое из остальных высказываний в нашем примере представлено одним фразовым словом.

Применительно к вьетнамскому языку как языку слоговому можно сформулировать положение: всякий однослог, способный быть фразовым словом, есть морфема, например: *tro'i*[2] «небо», *mu'a*[1] «дождь», *vân*[3] «по-прежнему», *u'o't*[5] «сыро». Таким способом может быть выделено подавляющее большинство свободных морфем, которые в дальнейшем выделяются уже автоматически, чем обеспечивается морфемный анализ слов и устойчивых сочетаний, составленных из свободных морфем, даже при идиоматичности значения целого: *chăn*[1] *nuôi*[1] «животноводство» («заботиться» + + «растить») *to*[1] *gan*[1] «храбрый» («большой» + «печень»), *săt*[5] *đa*[5] «прочный» («железо» + «камень»). Вообще же класс свободных морфем будет у нас несколько шире по сравнению с традиционным подходом, поскольку в него, в соответствии с изложенным выше определением свободной морфемы, войдут и те морфемы, для которых статус свободных является в настоящее время скорее тенденцией, чем в полной мере реализовавшимся фактом: *thâm*[1] «зловредный», *bac*[6] «неблагодарный», *khinh*[1] «презирать» [15]. Перечисленные свободные морфемы, видимо, возникли в результате сокращения слов *thâm*[1] *đôc*[6] «зловредный», *bac*[6] *nghia*[3] «неблагодарный», *khinh*[1] *bi*[4] «презирать», и такое положение вещей облегчает морфемный

[2] Авторы употребляют термин «слогоморфема». Сейчас этот терминологический нюанс для нас несуществен. Термин «слогоморфема» и связанная с ним концепция будут подробно рассмотрены ниже (см. разд. IV).

анализ соответствующих двуслогов: зная точно значение одного из слогов, можно попытаться вычесть это значение из значения целого и получить в результате значение другого слога. Это подводит нас к важному вопросу морфемного анализа — о возможностях и границах семантического вычитания.

Допустим, нам необходимо провести морфемный анализ вьетнамского слова *cai*^{4} *cach*^{5} «реформа», причем известно, что первый слог имеет значение «изменять». Если из значения «реформа» вычесть значение «изменять», то искомое значение второго слога можно было бы представить как «существующее положение вещей», однако такое толкование не подтверждается другими вхождениями слога *cach*^{5}, где оно оказывается не в состоянии обеспечить убедительный морфемный анализ. Это вполне понятно, потому что значение слова, особенно терминологическое, может очень далеко отходить от его внутренней формы. Таким образом, семантическое вычитание применимо только к последовательностям, лишенным идиоматичности, а полученное с помощью этой процедуры значение только тогда может претендовать на достоверность, когда оно подтверждается проверкой соответствующей морфемы в ряде других окружений. Например, зная значение морфемы *ac*^{5} «злой, жестокий, скверный...», можно произвести семантическое вычитание в словах *ac*^{5} *nhân*^{1} «жестокий человек» и *ac*^{5} *mông*^{6} «дурной сон, кошмар», в результате чего выделяются связанные морфемы *nhân*^{1} «человек» и *mông*^{6} «сон». Первая из них подтверждается такими вхождениями, как *nhân*^{1} *loai*^{6} «человечество», *nhân*^{1} *chung*^{4} «раса», *nhân*^{1} *dân*^{1} «народ» и т. д., вторая — вхождениями *mông*^{6} *mi*^{6} «сновидение», *mông*^{6} *triêu*^{6} «грезы», *mông*^{6} *ao*^{4} «иллюзия» и т. д.

Итак, членимость последовательности в значительной мере зависит от того, можно ли выделить в ней такую часть, которая с тем же самым значением повторялась бы в других окружениях [16]. Из этого следует, что семантическое вычитание в принципе неприменимо к так называемым уникальным сегментам [17], уникальность которых в том и состоит, что они встречаются в единственном окружении, в сочетании с единственной морфемой. Показательно, что некоторые авторы, допускающие семантическое вычитание применительно к уникальным сегментам, сопровождают свой подход такими оговорками об условности этой процедуры, из которых явствует, что полученное таким способом значение фактически не соответствует никакой языковой реальности [см., например, 18]. Уникальные сегменты обладают формальной выделимостью только на фоне стопроцентных морфем, но формальная выделимость неравнозначна выделимости формально-семантической, и бесполезно пытаться с помощью какой бы то ни было процедуры приписать уникальным сегментам заведомо отсутствующее значение [19]. Ниже мы еще вернемся к этому вопросу в связи с анализом некоторых вьетнамских примеров (см. разд. IV).

Средством морфемного анализа многосложных фразовых слов является формально-семантический квадрат (квадрат Гринберга), который схематически можно представить в виде:

AC BC
AD BD

Квадрат ясно демонстрирует формальную выделимость отрезков, имеющих на схеме буквенное обозначение, так что для утверждения морфемного статуса этих отрезков остается только проследить, чтобы членимость формальная сопровождалась членимостью семантической. Это означает, что семантический переход от верхней к нижней строке в левом столбце должен быть идентичен переходу в правом столбце:

рук-а *ног-а*
рук-е *ног-е*

vô^1 *ly*^{5}	«бессмысленный»	*vô*^{1} *y*^{5}	«непреднамеренный»
cô^5 *ly*^{5}	«осмысленный»	*cô*^{5} *y*^{5}	«преднамеренный»
hinh^2 *thanh*^{2}	«формироваться»	*biên*^{5} *thanh*^{2}	«видоизменяться»
hinh^2 *thai*^{5}	«форма»	*biên*^{5} *thai*^{5}	«видоизменение»

В квадрате может быть представлен и нулевой сегмент:

han^6	«засуха»	*lut*^{6}	«наводнение»
đai^6 *han*^{6}	«большая засуха»	*đai*^{6} *lut*^{6}	«большое наводнение»

При нарушении одного из требований к квадрату мы получаем либо чисто семантический, либо чисто формальный квадрат, ни один из которых не обеспечивает морфемного анализа сравниваемых отрезков. Пример чисто семантического квадрата:

chua^2	«пагода»	*vu'o'n*^{2}	«сад»
chua^2 *chiên*^{2}	«пагоды»	*vu'o'n*^{2} *tu'o'c*^{6}	«сады»

С. Е. Яхонтов приводит следующий пример чисто формального квадрата:

при-ход	вос-ход
при-ток	вос-ток

В современном значении слова *восток* нельзя усмотреть семантической связи с остальными тремя словами и в настоящее время основа этого слова морфологически нечленима [14, с. 15]. Чисто формальным следует признать и такой квадрат:

nông^1 *nghiêp*^{6}	«сельское хозяйство»	*thu'c*^{6} *nghiêp*^{6}	«хозяйство»
nông phâm^4	«сельскохозяйственный продукт»	*thu'c*^{6} *phâm*^{4}	«продукт питания»

Этот квадрат был бы правильным, если бы слово *thu'c*^{6} *nghiêp*^{6} имело значение «пищевая промышленность», что можно истолковать как «хозяйство (по производству) пищи». Как видим, при составлении квадрата иногда приходится давать толкования некоторым понятиям. Например, приводимый ниже квадрат можно признать правильным только при условии, что понятие «автономия» может быть истолковано как «суверенное правление»:

dân^1 *chu*^{4}	«демократия»	*tu'*^{6} *chu*^{4}	«суверенитет»
dân^1 *tri*^{6}	«демократическое правление»	*tu'*^{6} *tri*^{6}	«автономия»

Метод квадрата целесообразно использовать в наиболее трудных случаях, когда выделение морфем не очевидно, например, при анализе слов и устойчивых сочетаний, состоящих из связанных морфем.

III. Асиллабические морфемы

Существуют ли во вьетнамском языке асиллабические морфемы, т. е. морфемы с означающим меньше слога? Для ответа на этот вопрос следует прежде всего принять во внимание объективную членимость вьетнамского слога на две составляющих: инициаль (начальнослоговой согласный) и остальную часть — финаль. Объективность этого членения подтверждается участием вьетнамских слогов в образовании рифмы: если *đinh*^{2} рифмуется с *minh*^{2}, *hinh*^{2} и т. д., значит инициали при этом в расчет не принимаются. В рифме участвует только финаль, которая по этой причине имеет традиционное вьетнамское наименование *vân*^{2} «рифма». Между инициалью и финалью может в некоторых типах слогов находиться медиаль — промежуточный гласный /*u*/, участие которого в образовании рифмы неопределенное: иногда он отходит к инициали, иногда — к финали.

Другое явление, подтверждающее объективную членимость слога на инициаль и финаль,— мена внутрислоговых компонентов двусложного сочетания, часто используемая для создания разного рода каламбуров. Вот основные разновидности этого приема [3]:

1) сохраняются инициали, но переставляются финали вместе с их тонами: *cuc*^{6} *đât*^{5} «ком земли» → *cât*^{5} *đuc*^{6} «убрать долото»;

2) сохраняются инициали и тоны, но переставляются финали: *con*^{1} *ngu'a*^{6} «лошадь» → *cu'a*^{1} *ngon*^{6} «пилить вершину»;

3) переставляются только инициали: *côi*^{5} *đa*^{5} «каменная ступка» → → *đôi*^{5} *ca*^{5} «пара рыб».

---

[3] Приводимые ниже модели и примеры — из [20].

Рассмотрим теперь с позиций морфемики некоторые разновидности инициальных повторов, т. е. таких повторов, когда к исходному слогу добавляется другой, сохраняющий ту же инициаль, но с иной финалью, например: *sach*^{5} «книга» → *sach*^{5} *siêc*^{5} «книжонки»; *mô*^{1} «бугорок» → *mâp*^{5} *mô*^{1} «бугристый»; *ngay*^{1} «честный» → *ngay*^{1} *ngăn*^{5} «безупречно честный».

Неполные повторы с финалью *iêc*^{5} (*iêc*^{6}) хорошо известны и описываются во многих исследованиях по вьетнамскому языку. Они регулярны и распространяются на самые разные классы слов; существительные при этом приобретают значение уничижительной множественности, для предикативов значение уничижительности является как будто единственным семантическим осложнением, создаваемым данным типом повтора: *Ô*^{1} *tô*^{1} *ô*^{1} *tiêc*^{5} *lam*^{2} *gi*^{2} *cho*^{1} *rây*^{2} *ra*^{2}! (*Ngyên*^{3} *Công*^{1} *Hoan*^{1}) «И на кой они нужны, всякие автомобилишки!»; *Con*^{2} *Bân*^{1}, *hăn*^{5} *không*^{1} *nghe*^{1} *hat*^{5} *hiêc*^{5} *gi*^{2} *ca*^{4} (*Thach*^{6} *Lam*^{1}) «Бэн, он-то не слушал никаких распеваний»; *Măt*^{6} *thây*^{2} *mo*^{1} *sao*^{1} *ma*^{2} *go'm*^{5} *ghiêc*^{5} *đên*^{5} *thê*^{5}? (*Hoang*^{2} *Binh*^{2} *Trong*^{6}) «Отчего же физиономия колдуна такая страшенная?»

Если попытаться построить применительно к рассматриваемым повторам формально-семантический квадрат, то он мог бы иметь следующий вид:

sach^5	«книга»	*cho*^{5}	«собака»
sach^5 *siêc*^{5}	«книжонки»	*cho*^{5} *chiêc*^{5}	«собачонки»

Семантически такой квадрат безупречен, формально же дефектен: если в нижней строке провести границу после первого слога, то сегмент *siêc*^{5} не тождествен сегменту *chiêc*^{5}; если провести границу перед финалью *iêc*^{5}, то сегменты *sach*^{5} и *cho*^{5} утрачивают каждый свое тождество при переходе от верхней строки к нижней. Можно, однако, принять второй подход, учитывая, что в данном случае нарушение тождества сегмента предсказуемо и подчиняется вполне определенному правилу. Тогда дефектный квадрат можно определить как такой квадрат, в котором имеет место предсказуемое и регулярное формальное осложнение одного из сегментов, что схематически можно представить следующим образом:

AC BC
A'D B'D

Членимость, обеспечиваемую таким квадратом, можно условиться называть дефектной; так дефектной членимостью обладает двусложное слово *sach*^{5} *siêc*^{5} «книжонки», в котором выделяется корень *sach*^{5} *s*... и афф. *-iêc*^{5}.

Помимо регулярных повторов с финалью *iêc*^{5} (*iêc*^{6}) существуют многочисленные неполные повторы с другими финалями, не отличающиеся регулярностью и фиксируемые по этой причине в словарях. Повторы в таких случаях, как правило, разъясняются с помощью бесперспективных отсылок к исходным словам, что оставляет открытым вопрос о различии между исходным словом и повтором, создавая почти непреодолимые трудности для обучающихся вьетнамскому языку. В последнее время были предприняты успешные попытки семантического анализа некоторых разновидностей инициальных повторов. Их интерпретация как дефектно членимых дает основания для выделения соответствующих асиллабических морфем. Таковы, в частности, морфемы *âp*^{5} (*âp*^{6}) и *ăn*^{5} (*ăn*^{6}).

В неполных повторах с финалью *âp*^{5} (*âp*^{6}) слог-повтор помещается перед исходным: *mo'*^{2} «тускнеть» → *mâp*^{6} *mo'*^{2} «смутный». Основываясь на анализе семидесяти примеров из словаря Ван Тэна, Нгуен Дык Зыонг дает следующую семантическую формулу рассматриваемых повторов: «× многократно то появляется, то исчезает», например, *mâp*^{5} *mo'*^{2} «тускнеет — проясняется — опять тускнеет — опять проясняется...» [21, с. 32]. Еще примеры: *bung*^{2} «подниматься» (*lu'a*^{4} *bung*^{2} *lên*^{1} «огонь поднимается») → *bâp*^{6} *bung*^{2} «то поднимается, то падает...»; *lo*^{5} «показаться» (*măt*^{6}, *trăng*^{1} *lo*^{5} *ra*^{1} *khoi*^{4} *đam*^{5} *mây*^{1} «луна показалась из-за туч») → *lâp*^{5} *lo*^{5} «то показывается, то скрывается...»; *mô*^{1} «бугорок» → *mâp*^{5} *mô*^{1} «то бугорок, то ровное место, то снова бугорок...» (*con*^{1} *đu'o'ng*^{2} *mâp*^{5} *mô*^{1} *kho*^{5} *đi*^{1} «бугристая, трудная для ходьбы дорога»).

Дальнейшее исследование рассматриваемых повторов содержится в статье Фи Тует Хиня [22], где, в частности, оговариваются случаи, не относящиеся к данному явлению. Таковы повторы, в которых исходным является первый слог (*vâp*^{5} *vap*^{5} «запинаться», *gâp*^{5} *gap*^{5} «срочный», *mâp*^{6} *map*^{6} «тучный»), слова, в которых оба слога значимы (*âp*^{5} *u*^{4} «лелеять», *nâp*^{5} *nau*^{5} «прятать», *lâp*^{5} *lu*^{5} «забывать») и некоторые сомнительные случаи, когда слово в целом подходит под семантическую формулу неполных повторов с *âp*^{5} (*âp*^{6}), но вторые слоги при этом лишены значения: *thâp*^{5} *thom*^{4} «пребывать в беспокойстве»; *châp*^{5} *cho'i*^{5} «светлеть и тускнеть» [22, с. 48].

Неполные повторы с финалью *ăn*^{5} (*ăn*^{6}) имеют, согласно Нуен Дык Зыонгу, значение субъективной оценки: «безупречно такой-то». Например: *ngay*^{1} «честный» → *ngay*^{1} *ngăn*^{5} «безупречно честный»; *thăng*^{4} «прямой» → → *thăng*^{4} *thăn*^{5} «безупречно прямой»; *tron*^{2} «круглый» → *tron*^{2} *trăn*^{6} «идеально круглый» [21, с. 33].

Не исключено, что дальнейшее исследование неполных повторов поведет к расширению списка асиллабических морфем.

IV. Слогоморфема

Авторы «Грамматики вьетнамского языка» придерживаются мнения, что во вьетнамском языке каждый слог есть морфема; термин «слогоморфема» как раз и призван обозначить это регулярное, не знающее исключений совпадение слога и морфемы. Казалось бы, при таком подходе единственной процедурой морфемного анализа должно быть установление слоговых границ, поскольку «процесс разделения потока речи на слоги автоматически приводит и к разделению на морфемы» [11, с. 11]. Однако выдержать эту установку в практике морфемного анализа авторам не удается. Как уже отмечалось выше, для выявления слогоморфем «Грамматика вьетнамского языка» прибегает к сравнению ряда сочетаний, содержащих общий элемент. При этом оговаривается, что «чем сложнее структура сочетания, тем больше ступеней анализа необходимо для выделения слогоморфем» [11, с. 4]. Назначение «ступеней анализа», очевидно, в том, чтобы установить семантическое тождество слога, общего для сравниваемых сочетаний. Выходит, таким образом, что само по себе разбиение текста на слоги приводит к выделению таких сущностей, морфемный статус которых еще подлежит дальнейшему исследованию.

Если парадоксальный тезис о регулярном совпадении слога и морфемы оказывается несостоятельным практически, то как вообще он мог возникнуть и оправдано ли его существование с чисто теоретических позиций? Авторы «Грамматики...» исходят из того, что вьетнамские слоги могут быть значимыми и незначимыми, причем последние «ведут себя как единицы, обладающие значением,— могут участвовать в тех же конструкциях, что и значимые слоги». Это свойство вьетнамского слога авторы называют «структурным значением» [11, с. 3]. Поскольку по структурному значению незначимые слоги идентичны значимым, семантическая неполноценность уже не рассматривается как препятствие для их идентификации в качестве морфем. Не подлежит, однако, сомнению, что способность участвовать в таком-то типе конструкций есть ф о р м а л ь н ы й признак. Назвав его «структурным значением» и употребляя этот термин при определении морфемы в одной плоскости с термином «лексическое значение», авторы придали тем самым термину «значение» нежелательный синкретизм, сам по себе вполне достаточный для парадоксальных заключений.

Синкретизм термина «значение» — серьезный недостаток слогоморфемной концепции, который уже был объектом критики в специальной литературе [см. например, 13, с. 12, 15; 23], но это не единственный недостаток. Другой — нетождественность термина самому себе в процессе рассуждения. Гипноз слова «значение», даже с определением «структурное», даже с подкрепленным примерами разъяснением, что речь идет фактически о формальном признаке, столь велик, что двумя разновидностями «структурного значения» оказываются значение «отрицательное» и значение «по-

тенциальное» — сущности, по определению авторов, чисто семантические [11, с. 4, 5]. Их наличие в концепции, ориентирующейся на определение морфемы, в котором семантические признаки перекрываются формальными и делаются ненужными, выглядит достаточно противоречиво, однако понятия отрицательного и потенциального значения небезупречны сами по себе, безотносительно к общему контексту слогоморфемной концепции. Рассмотрим их подробнее.

Судя по примерам, понятие отрицательного значения авторы склонны прилагать к уникальным сегментам неполных повторов. Так, от слова *dê*^{3} «легкий» может быть образован неполный инициальный повтор *dê*^{3} *dang*^{2} с тем же или с близким к исходному значением. Составляющая *dang*^{2} есть сегмент с уникальной сочетаемостью, и авторы «Грамматики...» совершенно правы, утверждая, что эта составляющая «участвует в создании нового лексического значения, не являясь в то же время сама по себе значимой» [11, с. 4]. Тем не менее заведомо отсутствующее значение этой составляющей авторы рекомендуют получить с помощью процедуры семантического вычитания. На практике это оказалось опять-таки неосуществимым, и дело здесь вовсе не в трудноуловимости семантических различий между исходным словом и его неполным повтором, как полагают авторы. Вьетнамский лингвист Дао Тхан описывает значение слова *dê*^{3} *dang*^{2} как «легкий в отношении условий, обстановки» [24], однако соответствует ли языковой реальности приписывание слогу *dang*^{2} значения «условия, обстановка»? Еще пример Дао Тхана — ряд неполных повторов слова *nhỏ*^{4} «маленький»: *nhỏ*^{4} *nhăn*^{5} «маленький ростом»; *nhỏ*^{4} *nhăt*^{6} «карликовый»; *nhỏ*^{4} *nhen*^{1} «мелочный» [24]. Пользуясь процедурой семантического вычитания, вторым (уникальным) сегментам этих слов следовало бы приписать соответственно значения: «рост», «слишком + некрасивый», «душевные качества». Безотносительно к тому, соглашаться или не соглашаться с семантическими толкованиями Дао Тхана, возражение всегда будет вызывать приписывание какого бы то ни было значения тем компонентам, которые «сами по себе» его лишены.

Понятием «потенциальное значение» авторы «Грамматики...» пользуются при анализе многосложных транскрипций типа *ra*^{1}-*đi*^{1}-*ô*^{1} «радио», *pê*^{1}-*ni*^{1}-*xi*^{1}-*lin*^{1} «пенициллин». Входящие в их состав слоги не только незначимы, но даже лишены того минимума формальных признаков («структурного значения»), который объединял бы их со слогами значимыми [11, с. 5]. Тем не менее и такие слоги объявляются морфемами. Здесь слогоморфемная концепция в дополнение к первоначальному определению слогоморфемы, в котором семантические признаки были перекрыты формальными, выдвигает новый подход, на сей раз перекрывая формальные признаки «потенциальной» семантикой. Дело в том, что в истории вьетнамского языка засвидетельствованы случаи, когда многосложные транскрипции сокращались до одного слога, который и становился носителем значения первоначального сочетания: *Anh*^{1}-*cat*^{5}-*lo'i*^{6} → *Anh*^{1} «Англия». Вот эту способность незначимого слога становиться значимым авторы «Грамматики...» и называют потенциальным значением. Ясно, что это совсем не та потенциальность, которая часто фигурирует в грамматических исследованиях и предполагает возможность экспериментальной проверки: даже если принять совершенно фантастическое допущение, что со временем все без исключения многосложные транскрипции сократятся до одного слога, все равно невозможно заранее предсказать, до какого именно однослога каждая из них будет сокращаться. Иными словами, потенциальное значение — это значение, которого нет, но которое может возникнуть, если произойдет сокращение транскрипции. Основанная на этом понятии позиция авторов «Грамматики...» по сути дела состоит в том, что незначимые слоги транскрипций объявляются морфемами на том основании, что в будущем они, возможно, таковыми станут.

Последний вопрос — действительно ли незначимые слоги «регулярно допускают те же изменения, что и сочетания, каждый из элементов которых имеет лексическое значение» [11, с. 4]? Мы только что видели, что, по мнению самих авторов «Грамматики...», слоги многосложных транскрипций

выбиваются из этой регулярности. По-видимому, дело не ограничивается многосложными транскрипциями. Ведь незначимые слоги существуют только в составе слов, а «способность вьетнамских слов к изменению структуры не носит закономерного характера, присуща лишь определенным структурным типам и охватывает незначительную часть слов» [11, с. 24], поэтому, хотя незначимые слоги и могут иногда оказаться в таком же формальном окружении, что и значимые, ни о какой регулярности здесь говорить не приходится. Авторы сопоставляют видоизменения слов *ca*^{2}-*phê*^{1} «кофе» (оба слога незначимые) и *anh*^{1} *em*^{1} «братья» (*anh*^{1} старший брат»; *em*^{1} «младший брат»): *ca*^{2}-*ca*^{2}-*phê*^{1}-*phe*^{1} *gi*^{2}! «Тоже мне кофе!»; *anh*^{1} *anh*^{1} *em*^{1} *em*^{1} *gi*^{2}! «Какие там братья!» [11, с. 4). Но последовательность *anh*^{1} *em*^{1} «братья» может участвовать в конструкциях: *anh*^{1} *va*^{2} *em*^{1} «старший брат и младший»; *anh*^{1} *vo' i*^{5} *em*^{1} «старший брат с младшим»; *ca*^{4} *anh*^{1} *ca*^{4} *em*^{1} «и старший брат, и младший»; *anh*^{1}, *nhu'ng*^{1} *không*^{1} *phai*^{4} *em*^{1} «старший брат, но не младший» и т. д. Ни одна из этих конструкций, конечно, невозможна для последовательности *ca*^{2}-*phê*^{1} «кофе». Аналогично будет обстоять дело и в другом примере авторов — при сопоставлении последовательностей *đung*^{4} *đinh*^{4} «качаться» (оба слога незначимые) и *cu'o'i*^{2} *đua*^{2} «шутить и смеяться» (*cu'o'i*^{2} «смеяться»; *đua*^{2} «шутить»). Таким образом, даже в чисто формальном плане ставить знак равенства между значимыми и незначимыми слогами, подводя их под общий знаменатель «структурного значения»,— слишком явное насилие над языковым материалом.

Как видим, слогоморфемная концепция по многим пунктам весьма уязвима для критики. К сказанному выше можно было бы добавить, что если рассматривать не термины как таковые но их фактический, независимый от субъективных устремлений авторов, смысл, то в этом плане слогоморфемная концепция свелась к переименованию некоторых явлений: термину «слог» в ней соответствует термин «слогоморфема», «морфема» именуется «значимой слогоморфемой», тогда как «незначимая слогоморфема» оказалась единицей с неопределенным морфемным статусом (под это понятие подводятся и чуждые морфемике слоги транскрипций, и субморфы — элементы незначимые, но формально выделимые и занимающие свое место в морфемном анализе). Не говоря о теоретической стороне дела, такое переименование неудобно практически, давая повод к странным формулировкам типа того, что все слоги вьетнамского языка можно считать значимыми, в том числе и незначимые [11, с. 5]. С учетом вышеизложенного самым благоразумным было бы, конечно, от рассмотренной концепции отказаться. Это позволило бы заодно вернуть на круги своя старые, добрые термины, изрядно помятые в слогоморфемном чистилище, и продолжать называть вещи привычными именами.

ЛИТЕРАТУРА

1. *Hoang*^{2} *Phê*^{1}, *Hoang*^{2} *Văn*^{1} *Hanh*^{2}, *Đao*^{2} *Than*^{4}. Sô^4 tay^1 dung^2 tu'^{2}. Ha^2 Nôi^6, 1980, tr. 44.
2. *Hai*^{4} *Dân*^{1}. Yêu^5 tô^5 «ca^2» trong^1 phu'o'ng^1 ngu'^{3} Nam^1 Bô^6.— Ngôn^1 ngu'^{3} phu^6 tru'o'ng^1, 1982, № 1, tr. 17—18.
3. *Милославский И. Г.* Сложение семантических элементов различных типов в структуре русского слова.— ВЯ, 1979, № 6, с. 80.
4. *Арутюнова Н. Д.* О значимых единицах языка.— В кн.: Исследования по общей теории грамматики. М., 1968, с. 64.
5. *Кубрякова Е. С.* Об относительно связанных (относительно свободных) морфемах языка.— ВЯ, 1964, № 1, с. 96.
6. *Пастушенков Г. А.* Так называемые «сложные» суффиксы в современном русском языке.— ФН, 1974, № 1, с. 56.
7. *Маслов Ю. С.* О некоторых расхождениях в понимании термина «морфема».— Уч. зап. ЛГУ, 1961, № 301, сер. филол., вып. 60, с. 142.
8. *Маслов Ю. С.* Основные направления структурализма.— В кн.: Вопросы общего языкознания. Л., 1967, с. 65.
9. *Лопатин В. В.* Русская словообразовательная морфемика. М., 1977, с. 25—27.
10. *Герд А. С.* О сегментации текста на морфологическом уровне.— В кн.: Теория языка, методы его исследования и преподавания. Л., 1981, с. 68.
11. *Быстров И. С., Нгуен Тхай Кан, Станкевич Н. В.* Грамматика вьетнамского языка. Л., 1975.
12. *Янко-Триницкая Н. А.* Наложение морфем в основе русского слова.— ИАН СЛЯ, 1970, № 6, с. 484.

13. *Hồ*^{2} *Lê*^{1}. Vân^{5} đề^{2} câu^{5} tao^{6} tu'^{2} cua^{4} tiêng^{5} Viêt^{6} hiên^{6} đai^{6}. Ha^{2} Nôi^{6}, 1976.
14. *Яхонотов С. Е.* Метод исследования и определение исходных понятий.— В кн.: Квантитативная типология языков Азии и Африки. Л., 1982.
15. *Nguyên*^{4} *Thiên*^{6} *Giap*^{5}. Tu'^{2} vu'ng^{6} tiêng^{5} Viêt^{6}. Ha^{2}Nôi^{6}, 1978, tr. 64.
16. *Кубрякова Е. С.* О типах морфологической членимости слов, квази-морфах и маркерах.— ВЯ, 1970, № 2, с. 80.
17. *Максимов В. И.* О соотношении морфологического анализа в современном и этимологическом плане.— ИАН СЛЯ, 1972, № 5, с. 427.
18. *Улуханов И. С.* Компоненты значения членимых слов.— ВЯ, 1974, № 2, с. 72, 76.
19. *Тихонов А. Н.* Морфема как значимая часть слова.— ФН, 1971, № 6, с. 50—51.
20. *Lu'*^{3} *Huy*^{1} *Nguyên*^{1}. Noi^{5} lai^{5} trong^{1} tiêng^{5} Viêt^{6}.— Ngôn^{1} ngu'^{3}, 1971, № 3, tr. 34—40.
21. *Nguyên*^{3} *Du'c*^{5} *Du'o'ng*^{1}. Vê^{2} cac^{5} tô^{4} ho'p^{6} song^{1} tiêt^{5} tiêng^{5} Viêt^{6}.— Ngôn^{1} ngu'^{3}, 1974, № 2.
22. *Phi*^{1} *Tuyêt*^{5} *Hinh*^{1}. Thu'^{4} tim^{2} hiêu^{4} tu'^{2} lay^{5} song^{1} tiêt^{5} đang^{6} X «âp» + XV.— Ngôn^{1} ngu'^{3}, 1977, № 4.
23. *Lu'u*^{1} *Van*^{1} *Lăng*^{1}. Cân^{2} phân^{1} biêt^{6} hinh^{2} (trong^{1} tu'^{2} vu'ng^{6}) vo'i^{5} tiêng^{5} (trong^{1} ngu'^{3} phap^{5}).— Ngôn^{1} ngu'^{3}, 1980, № 4, tr. 30.
24. *Đao*^{2} *Than*^{4}. Nhu'ng^{3} đăc^{6} điêm^{4} cua^{4} tu'^{2} lay^{5} tiêng^{5} Viêt^{6}.— Ngôn^{1} ngu'^{3}, 1970, № 1, tr. 63.

ВОПРОСЫ ЯЗЫКОЗНАНИЯ

№ 4 1985

МАТЕРИАЛЫ И СООБЩЕНИЯ

ОТКУПЩИКОВ Ю. В.

ОБ ИНДОЕВРОПЕЙСКОМ ПРОИСХОЖДЕНИИ ЛАТ. *VĪNUM*, ДР.-ГРЕЧ. (F)οἶνος «ВИНО»

Вопрос о происхождении названных в заглавии слов не является частным этимологическим вопросом. Он неразрывно связан с более общими вопросами языковой принадлежности догреческого субстрата, этногенеза греков, прародины индоевропейцев, а также, как мы увидим ниже, с общими принципами и методикой этимологического анализа.

Существуют две основные точки зрения относительно происхождения рассматриваемых слов. Еще в XIX в. была выдвинута этимология, согласно которой лат. *vīnum* и др.-греч. (F)οἶνος являются производными и.-е. корня **u̯ei-* «вить(ся), извивать(ся), плести». Этот корень мы находим в целом ряде и.-е. языков: ст.-слав. *вити*, литов. *výti*, лат. *viēre* «вить», др.-инд. *váyati* «плетет, ткет» и др. Отглагольные прилагательные и причастия от этих глаголов представляют собой производные с суф. *-t-*: ст.-слав. *витъ*, русск. *витой*, литов. *výtas*, др.-инд. *vītáḥ* «витой». Лат. *vīnum* и др.-греч. (F)οἶνος отличаются от этих образований только суффиксальным *-n-* (на месте *-t-*). В качестве словообразовательно близких к ним форм обычно приводились ст.-слав. *вѣньць*, литов. *vainìkas* < < **u̯oin-*, ср. др.-греч. (F)οἶν-ος[1] и некоторые другие и.-е. соответствия. В самом латинском и древнегреческом языке как образования от того же корня **u̯ei-* приводились лат. *vītis* «виноградная лоза» и др.-греч. (F)ἰτέα «ива». Семантически все эти слова объяснялись как «вьющееся растение» (виноград) или «растение, используемое при плетении» (ива). Что же касается лат. *vīnum* и др.-греч. (F)οἶνος, то здесь предполагалось семантическое развитие: «вьющееся растение» (виноград) → «плоды этого растения» (виноград) → «продукт, изготовляемый из винограда» (вино).

По существу перед нами — одна из наиболее убедительных и детально обоснованных и.-е. этимологий. Ее придерживались Р. фон Планта [1, т. I, с. 279], К. Бругман [2, т. I, с. 186] и многие специалисты по италийским, древнегреческому и другим и.-е. языкам. Однако А. Мейе [3, с. 301 и сл.; 4, с. 163], А. Неринг [5, т. II, с. 644] и ряд других ученых высказались против этой этимологии. Приводимые ими аргументы были, в основном, экстралингвистического характера, традиционная этимология в работах указанных ученых не опровергалась, а просто отбрасывалась.

Аргументы противников изложенной этимологии вкратце таковы. Индоиранский не знает названия вина, общего с лат. *vīnum* и др.-греч. (F)οἶνος. Кельтские, германские, славянские и балтийские слова (ирл. *fin*, др.-в.-нем. *wīn*, ст.-слав, *вино*, литов. *výnas* и др.) так или иначе в конечном счете восходят к лат. *vīnum*. Следовательно, значительная часть и.-е. языков не имеет исконных слов, которые полностью соответствовали бы (в том числе — и по своему значению) лат. *vīnum* и др.-греч. (F)οἶνος. Иначе говоря, эти слова не являются наследием и.-е. языка-основы.

Кроме того, греки и италийцы явились пришельцами в области Средиземноморья. Значительная часть названий средиземноморских растений

[1] Ср. также *вѣнъ* «венок» в русских народных песнях — слово, в фонетическом и словообразовательном отношениях полностью соответствующее др.-греч. (F)οἶνος. Русские примеры с корнем *вѣн-* здесь и далее даны в старой орфографии, т. к. *ѣ* в этих примерах отражает древний дифтонг *oi*.

в древнегреческом языке относится к догреческому субстрату. Все этимологически неясные названия растений в латинском и древнегреческом языках А. Мейе относил к древнему средиземноморскому неиндоевропейскому субстрату. Сюда же он отнес лат. *vīnum*, др.-греч. (F)οἶνος, хет. *wiyana-*, арм. *gini*. Из этого же общего неиндоевропейского источника, согласно А. Мейе, были заимствованы западносемитские названия вина (араб.-эфиоп. *wain*, др.-евр. *jajin*) и груз. *γvino*.

Хотя аргументация А. Мейе не поколебала ни фонетических, ни словообразовательных, ни семантических основ традиционной индоевропейской этимологии лат. *vīnum*, др.-греч. (F)οἶνος, его общие соображения плюс исключительный авторитет этого ученого привели к тому, что постепенно старая этимология стала уступать место новой гипотезе о неиндоевропейском происхождении рассматриваемых слов. Характерно, например, что во втором издании «Этимологического словаря латинского языка» А. Вальде [6] была принята и.-е. этимология лат. *vīnum*, а в третьем (под ред. Й. Гофмана) — «средиземноморская» [7]. В «Сравнительном словаре индогерманских языков» А. Вальде — Ю. Покорного [8, т. I, с. 226] мы находим традиционное объяснение и.-е. названия вина, а в более позднем «Индогерманском этимологическом словаре» Ю. Покорного читаем: «kaum idg., eher vorderasiatisch» [9, с. 1121].

Против общей теории А. Мейе о средиземноморском субстрате и в защиту традиционной этимологии лат. *vīnum* и др.-греч. (F)οἶνος неоднократно выступал В. И. Георгиев [10, с. 17, 62—63, 265, 267; 11, с. 375 и сл.; 12, с. 337 и сл.]. Среди его аргументов можно выделить: 1) очень интересный и убедительный фактический материал, подкрепляющий и.-е. этимологию анализируемых слов, и 2) спорные или, во всяком случае, недоказанные общие положения. Поскольку сторонники средиземноморской гипотезы в основном опираются на общие положения, слабость аргументации В. И. Георгиева во втором пункте делает его позицию в значительной мере уязвимой. Вместо концепции, согласно которой прародина индоевропейцев находилась в северной Европе (здесь виноградарство не было известно), В. И. Георгиев развивает и обосновывает идею об индоевропейской прародине, которая включает бассейн среднего и нижнего Дуная, где виноград культивировался с древнейших времен. Однако любая гипотеза, касающаяся спорного вопроса о прародине индоевропейцев,— это, как известно, отнюдь не аксиома, и одной точке зрения здесь всегда можно противопоставить другую. Наконец, В. И. Георгиев категорически отрицает наличие какого бы то ни было догреческого неиндоевропейского субстрата на Балканах. Эта несколько странная позиция также не усиливает аргументации болгарского ученого. И все же несмотря на спорность изложенных общих соображений конкретные аргументы В. И. Георгиева представляют несомненный интерес, и некоторые из приводимых им примеров будут использованы в настоящей статье при дальнейшем рассмотрении вопроса.

Две взаимоисключающие точки зрения по поводу происхождения лат. *vīnum* и др.-греч. (F)οἶνος нашли свое отражение и в последних этимологических словарях различных и.-е. языков. Так, например, в этимологических словарях латинского языка А. Эрну — А. Мейе [13] и А. Вальде — Й. Гофмана [7] принимается средиземноморская гипотеза, Я. Фриск в своем «Этимологическом словаре греческого языка» склонен принять и.-е. гипотезу [14], а М. Фасмер пишет: «Обычно считается древним средиземноморским термином», но затем добавляет: «Формально существует возможность и и.-е. этимологии» [15, т. I, с. 316]. Следовательно, вопрос о происхождении лат. *vīnum*, др.-греч. (F)οἶνος и других и.-е. слов, означающих «вино», фактически до сих пор остается открытым. Более того, в последнее время все чаще высказываются идеи о неиндоевропейском источнике этих слов (см., например [16]).

При сравнении двух изложенных точек зрения обращает на себя внимание тот факт, что средиземноморская гипотеза, в отличие от гипотезы индоевропейской, опирается в основном на негативные аргументы, вообще не давая при этом никакой этимологии. Наличие слов со значением «вино» сосходным или даже идентичным звучанием в ряде родственных и неродствен-

ных языков совсем не означает, что все они были заимствованы (параллельно или последовательно) из одного общего средиземноморского источника — языка доиндоевропейского субстрата. Подобную точку зрения можно высказать, но ее невозможно доказать, ибо мы ничего не знаем об этом гипотетическом языке, а поэтому вообще не можем дать средиземноморской этимологии анализируемых слов. Между тем нужно считаться с возможностью не внешних, а внутренних заимствований в том ареале, где распространены индоевропейские и неиндоевропейские названия вина. Решающим при определении путей и направленности заимствований должен быть вопрос о наличии или отсутствии э т и м о л о г и и у соответствующего слова в том или ином языке. И этимологию эту нужно устанавливать не на основании каких-то изолированных сопоставлений, а на базе комплексного, многопланового исследования, учитывающего все основные аспекты этимологического анализа слова. Настоящая статья имеет своей целью обосновать индоевропейское происхождение лат. *vīnum* и др.-греч. (F)οἶνος, исходя именно из такого объективного и, по возможности, всестороннего анализа относящегося к данному вопросу конкретного языкового материала. В процессе последующего изложения будут отдельно рассмотрены ареальные, фонетические, словообразовательные и семантические аргументы, что и послужит основанием для сформулированных в конце работы выводов.

Ареальные данные. Если исходить из предположения об и.-е. этимологии лат. *vīnum*, др.-греч. (F)οἶνος, то отсутствие соответствующего этим словам названия вина в индоиранском и, возможно, заимствованный характер кельтских, германских, славянских и балтийских его названий заставляют отказаться от возведения исследуемых слов к индоевропейской эпохе [2]. Не касаясь вопроса о возможности более ранних внутрииндоевропейских заимствований (например, из армянского или одного из балканских и.-е. языков в хеттский), отметим, что лат. *vīnum* и др.-греч. (F)οἶνος появились после распада индоевропейской языковой общности — независимо от решения вопроса об исконном или заимствованном характере этих слов.

Для проверки потенциальных соответствий в родственных и.-е. языках наиболее важное значение имеет сопоставление др.-греч. (F)οἶνος с литов. *vainìkas*, ст.-слав. *вѣньць* и русск. диалектн. *вѣнъ* = *вѣнокъ* (см. выше). На первый взгляд может показаться, что семантические различия делают сопоставление этих слов затруднительным, несмотря на то, что в фонетическом и словообразовательном плане они абсолютно идентичны. Но при сопоставлении родственных и.-е. слов следует различать лексические изоглоссы, о б ъ е д и н я ю щ и е сравниваемые языки, и изоглоссы, которые можно было бы назвать «р а з ъ е д и н я ю щ и м и» и которые, строго говоря, изоглоссами не являются. Так, ст.-слав. *мѧсо*, др.-прус. *mensā*, гот. *mimz*, др.-инд. *māṁsám* «мясо» и др. — это пример объединяющей изоглоссы, свидетельствующий о том, что все приведенные слова являются наследием и.-е. языкового состояния. Иное дело, если мы сопоставим ст.-слав. *врѣмѧ* и др.-инд. *vártman* «колея, рытвина». Оба слова восходят к одинаковой форме **u̯ert-mn̥*, образованной от и.-е. корня **u̯ert-* «вращать». Но это сопоставление представляет собой «разъединяющую» изоглоссу, свидетельствующую о том, что оба слова возникли независимо в славянском и индоиранском ареалах [3]. Примеры последнего типа менее ценны при выявлении лексических изоглосс, они имеют сравнительно второстепенное значение при реконструкции и.-е. языкового

---

[2] В этом излагаемая ниже точка зрения расходится с точкой зрения В. И. Георгиева. В то же время локализация индоевропейской прародины на Балканах представляется мне наиболее убедительной из всех предложенных гипотез. Отчасти поэтому у меня нет полной уверенности, например, в том, что славянские слова, обозначающие вино,— непременно являются заимствованными. Ср. такие примеры, как серб.-хорв. *виндбер* «сбор винограда», *винов* «виноградный» и др., отражающие более древнее значение «виноград», а не более позднее — «вино».

[3] Теоретически возможно еще предположить древнюю полисемию с утратой одного из значений слова в старославянском и другого — в древнеиндийском. Но в общем такая возможность маловероятна и в данном случае не может быть доказана.

состояния. Но у них нередко бывает одно важное преимущество перед примерами первого типа: и ст.-слав. *врѣмѧ*, и др.-инд. *vártman* «колея, рытвина» этимологически прозрачны, а их исконное и.-е. происхождение ни у кого не вызывает сомнений. В то же время ст.-слав. *мѧсо* и его соответствия, хотя и возводятся без особого труда к и.-е. языку-основе, в принципе могут оказаться очень древним заимствованием индоевропейской эпохи [4].

Что касается основы **u̯oi-n-* с ее столь различными в семантическом плане производными, как др.-греч. (F)οἶνος «вино», русск. диалектн. *вѣнъ* и литов. *vain -ìkas* «венок», др.-инд. *vēṇuḥ, veṇúḥ* «тростник (особенно бамбуковый)» [5] и *veṇī, veṇi* «заплетенные в одну косу волосы женщины» (<**u̯oi -nu-* с *-u-* основой и **u̯oi-ni-* с *-i-* основой), то многозначность этой основы легко объясняется исходным значением и.-е. корня **u̯ei-/*u̯oi-* «вить(ся), плести». В плане реалий различие между др.-греч. (F)οἶνος «вино», (F)οἴνη «виноградная лоза» и русск. *вѣн(ок)ъ*, разумеется, столь же существенно, как, например, между русск. *вѣникъ* и др.-инд. *veṇikaḥ* «сплетенная лента». Но этимологически все эти слова легко объединяются в общую группу.

Большая часть рассмотренных здесь и.-е. соответствий уже приводилась в работах, затрагивавших вопрос об этимологии лат. *vīnum* и др.-греч. (F)οἶνος. Они делают предположение об исконном, а не заимствованном происхождении латинского и древнегреческого названия вина весьма правдоподобным, но не исключают полностью и возможности случайного совпадения: заимствованное из средиземноморских языков слово могло удачно «вписаться» в лексику латинского и древнегреческого языков, совпасть по форме с семантически близкими производными других и.-е. языков, которые, бесспорно, были образованы от и.-е. корня **u̯ei-* «вить(ся)». Хотя вероятность такого случайного совпадения — ничтожно мала, она тем не менее не исключается полностью приведенными выше сопоставлениями.

Фонетические данные. Когда два и.-е. языка (или более) заимствуют одно и то же слово из третьего общего источника (при любой последовательности заимствования), то при сравнении этих слов мы, как правило, замечаем, что они не отражают обычных фонетических соответствий, типичных для исконной лексики этих языков. Примеры такого рода весьма многочисленны: ст.-слав. *сьребро* ~ литов. *sidābras* ~ гот. *silubr*; др.-греч. Φοίνικος (род. п. ед. ч.) ~ лат. *Pūnicus* «финикийский, пунийский». В последнем случае, в частности, греческому φ- в исконных и.-е. словах будет соответствовать латинское *f-*, а латинскому *p-* — греческое π-. В словах заимствованных эта закономерность нарушается, что наглядно проявилось в балто-славяно-германском названии серебра и в греческо-латинском имени финикийцев.

В случае с латинским и древнегреческим названием вина мы наблюдаем картину, типичную для слов, исконное и.-е. происхождение которых не вызывает ни малейших сомнений:

Латинский язык		Древнегреческий язык
vīnum	—	(F)οἶνος
vīdī	—	(F)οἶδα
vīcus	—	(F)οἶκος

Здесь важно не только фонетически безупречное сопоставление с абсолютно надежными латинско-древнегреческими примерами и.-е. происхождения. Важнее другое: латинское и древнегреческое названия вина отражают обычное и.-е. чередование **e̯/*o* [6], которое едва ли могло возникнуть случайно — при независимом или последовательном заимствовании из третьего источника. Можно, конечно, предположить, что будучи заимствованы из каких-то разных средиземноморских языков или диа-

---

[4] Для доказательства исконного и.-е. происхождения ст.-слав. *мясо* и других родственных слов необходимо найти для них убедительную и.-е. этимологию, чего до сих пор пока сделано не было.

[5] Широко используется как материал для разного рода плетеных изделий.

[6] Ср. за пределами латинско-древнегреческого ареала фонетически близкие ст.-слав. *вина* (< **u̯einā*) и литов. *vainà* (< **u̯oinā*).

лектов, латинское и древнегреческое слова — опять-таки случайно! — отразили обычное и.-е. чередование. Но с каждым новым вмешательством подобного рода «случайностей» средиземноморская гипотеза начинает выглядеть все менее правдоподобной.

Словообразовательные данные. И.-е. этимология **u̯ei-no-m* > лат. *vīnum*, **u̯oi-no-s* > др.-греч. (F)οἶνος предполагает, что перед нами — обычные отглагольные прилагательные с суффиксальным **-no-* типа др.-греч. δεινός, στεγνός или лат. *plēnus*, *dignus* (<**deknos* — к *decet*). Однако суф. **-no-* не был единым суффиксом и.-е. отглагольных прилагательных. В частности, при формировании системы причастий в отдельных и.-е. языках основным «конкурентом» суф. **-no-* явился суф. **-to-*[7]. В славянском, германском, индоиранском в систему причастий вошли оба суффикса (ср. русск. *сдела-н*, но *убит-т*), отглагольные прилагательные на -νος и -τος известны в древнегреческом языке. Латинский язык в качестве единого суффикса причастий претерита всюду проводит суф. **-to-*, а образования с суф. **-no-* здесь сохранились лишь в незначительном количестве [18, с. 17].

Следовательно, если и.-е. этимология анализируемых слов правильна, мы должны ожидать в древнегреческом, латинском и других и.-е. языках близких по значению образований с основой **u̯eit-* или **u̯oit-*. И, действительно, такие образования мы здесь находим. В первую очередь это лат. *vītis* «виноградная лоза, дикий виноград» и (метонимически) «вино». Отношение между суффиксами в словах *vī-n-um* и *vī-t-is* принципиально ничем не отличается от *plē-n-us* — *com-plē-t-us* или *sig-n-um* (<**sek-no-m*) «знак» (буквально: «засечка, зарубка») — *sec-t-iō* «рассечение» и т. п. Ср. также ст.-слав. *nъ-н-иѥ* — *nъ-т-иѥ*, нем. диалектн. *ge-wob-en* — *ge-web-t*, др.-инд. *bhinnáḥ* — *bhittáḥ* и мн. др. Но особенно, пожалуй, важным является подобное же распределение суффиксальных **-n-* и **-t-* в древнеиндийских словах, обозначающих тростник (преимущественно бамбуковый): *veṇúḥ* (<**u̯oi-nu-s*) и *vetasáḥ* (<**u̯oi-to-so-s*)[8]. Здесь, как и в лат. *vī-n-um*/*vī-t-is*, одно и то же растение имеет два названия, различающихся между собой первичными суффиксами **-n-* и **-t-* (и это — у производных того же самого и.-е. глагольного корня **u̯ei-*, что и в случае лат. *vī-n-um*/*vī-t-is*).

В литовском языке полным соответствием латинскому *vītis* будет слово *vytìs* «гибкий (ивовый) прут, лоза». Сложное слово (с кратким *i*) *žilvìtis* буквально означает «седая ива» (литов. *žìlas* «седой, серый»), а по ботанической классификации это — Salix viminalis или Salix alba. В ряде других и.-е. языков слова с основой **u̯ei-t*/**u̯ī-t-* также имеют значение «ива»: др.-в.-нем. *wīda* (совр. нем. *Weide*), авест. *vaē'ti-*, польск. *witwa*, др.-прусск. *witwan*. Здесь опять латинский язык, как и в случае с *vīnum*, расходится в плане семантики с балтийскими, славянскими и некоторыми другими и.-е. языками. Но на сей раз он расходится и с древнегреческим: ἰτέα, οἰσύα «ива», οἶσος, οἰσός, οἶσαξ, -ακος «род ивы»[9]. Таким образом, сопоставление латинских слов *vī-n-um* и *vī-t-is* с родственными и.-е. соответствиями показывает, что и здесь перед нами выступают специфические именно для и.-е. языков словообразовательные особенности.

В и.-е. языках весьма широкое распространение имело чередование суффиксов **-n-*/**-men-* [ср. 22, с. 101—102; 18, гл. II]:

др.-инд.	*áś-n-aḥ*	— *áś-man*	«камень»
литов.	*srau-n-à*	— *srau-meñ-s*	(род. п. ед. ч.) «поток»
ст.-слав.	*mu-н-a*	— *mu-мен-иѥ*	«грязь, тина»
др.-греч.	τέκ-ν-ον	— др.-инд. *tâk-man*	«отпрыск, дитя»
литов.	*pìe-n-as* «молоко»	— авест. *paē-man*	«женское молоко» и мн. др.

[7] «In vielen Beziehungen, formal und semantisch, gehen mit den *to*-Stämmen die *no*-Stämme parallel» [2, т. II, с. 394—396], см. также [17].

[8] В. И. Георгиев [10, с. 266] приводит, видимо, ошибочную форму *vetaḥ* (мне обнаружить ее в словарях не удалось).

[9] Др.-греч. ἰτέα <* Feιτ-εα, ср. название аттического дема Εἰτεα [19, с. 271]; οἰσύα < < **u̯oi-tu-a*, οἶσος < **u̯oi-tu-os* [20, с. 103; 21, с. 472, 506; 14, т. II, с. 368]. Об изменении υ > ου в древнегреческом см. [21, с. 272]. Ср. также ст.-слав. *evъtvь* < **u̯oi-tu-is* [14, т. II, с. 368].

Оба суффикса отглагольных прилагательных позднее вошли в систему причастий ряда и.-е. языков. Латинский язык не знает причастий ни с одним из этих суффиксов. Более того, количество древнейших реликтовых образований с суффиксальным *-*n*- (если брать примеры с относительно надежной этимологией) составит в латинском языке едва ли более 10—15 примеров [10]. И тем не менее в латинском языке мы также сталкиваемся с чередованием *-*n*-/*-*men* (*tum*):

lū-n-a	«луна»	—	*lu-men*	«свет (к *lūc re* «светить»)»
plē-n-us	«полный»	—	*com-plē-mentum*	«дополнение» [к (*com*)-*plere* «наполнять»]
sig-n-um	«знак»	—	*seg-men* (*tum*)	«отрезок» (к *secāre* «сечь, разрезать»)
tig-n-um	«балка»	—	*teg-men* (*tum*)	«покрывало, покров» (к *tegere* «покрывать» [18, с. 23—24])
fre-n-us (*culī*)	«язвочки»	—	*fre-mentum*	«струп» (к *frendere* «растирать зубами» [24])
lig-n-a (мн. ч.) «дрова», букв. «собранный (хворост)» [11]		—	*ab-leg-min-a*	«куски жертвенного мяса, приносимые богам» (к *legere* «собирать» [13, т, I, с. 3]).

В этот же самый словообразовательный ряд (достаточно древний по своему происхождению) естественно вписываются латинские слова: *vī-n-um* «виноград, вино»— *vī-men* «гибкий (ивовый) прут, лоза, ива», *vī-mentum* «плетение, плетеный щит» (к корню *u̯ei-, ср. лат. *viēre* «вить, плести»).

Здесь мы вновь сталкиваемся с обозначением с помощью одного корня (*u̯ei-/*u̯ī-), близкой словообразовательной модели (суффиксы *-*n*- и *-*men*-) и одной и той же семантической мотивации (связь со значением «вить») названий винограда и ивы (ср. лат. *vītis* «виноград» и литов. *vytis* «ива», а также другие приведенные выше примеры). Оба слова (*vīnum* и *vīmen*) имеют немало общего также в образовании производных: *vīneus* и *vīmineus*, *vīnārius* и *vīminārius*, но особенно *vīnētum* «виноградные кусты, виноградник» и *vīminētum* «ивовые кусты, ивняк».

Таким образом, лат. *vīnum*, как и др.-греч. (F)οἶνος, занимает свое естественное место в сложной системе словообразовательных отношений— как в самом латинском языке, так и за его пределами. Словообразовательные данные, так же как ареальные и фонетические, позволяют уверенно говорить об исконном и.-е. происхождении лат. *vīnum* и др.-греч. (F)οἶνος.

Семантические данные. Прежде всего следует отметить, что название винограда как «вьющегося растения»— это своего рода семантический «штамп». Типологические примеры типа и.-е. *u̯er-«вить(ся)» → др.-в.-нем. *rëba* (совр. нем. *Rebe*) «виноградная лоза», ср. также русск. *верба* — весьма многочисленны. Утверждение о том, что лат. *vīnum*, как и др.-греч. (F)οἶνος, имело название алкогольного напитка, а не растения (это всячески подчеркивает, например, Дж. Бонфонте [16, с. 86—87]), представляется совершенно несостоятельным. Развитие значений «алкогольный напиток»→ «виноград» неправдоподобно. Во всяком случае, Дж. Бонфанте таких примеров не приводит. В то же время древнегреческий топоним Οἰνοῦσσαι (название ряда островов) и догреческий Οἰνόανδα (Писидия) определенно отражают не название вина, а название винограда.

У с о т е н древнегреческих (resp. догреческих) топонимов и антропонимов в основе их номинации лежат названия растений (например, топонимы Ἄκανθος = ἄκανθος «акант», Ἄφινθος «полынь», Κυπάρισσος «кипарис», Αἴγειρος «черный тополь» и мн. др.). Целый ряд топонимов в Македонии, на Самосе, на Крите и в других местах носит название Ἄμπελος «виноградная лоза, виноград». Город в Сицилии Ἐλινοί представляет собой форму мн. ч. от др.-греч. ἐλινος «виноградная лоза». В семантическом отношении и.-е. *u̯ei- «вить(ся)» → (F)οἶνος точно так же, как и.-е. *u̯el- «вить(ся)» → (F)ἑλινός, ср. εἴλομαι «извиваться» (<*u̯elio̯mai) [12].

[10] Несколько больше (25) насчитывает их В. П. Казанскене [23, с. 15].

[11] Этимология Варрона, принятая в современных этимологических словарях (А. Эрну — А. Мейе, Ю. Покорный).

[12] В. И. Георгиев [10, с. 265] ссылается на другое производное того же корня: др.-греч. εἴλεος «вид виноградной лозы». Этимологическое сопоставление последнего слова с др.-греч. εἴλεω «вращать, катить» дает Я. Фриск [14, т. I, с. 456].

Город на Кипре Ἀμαμασσός < *Ἀμαμακ-ι̯-ός, ср. ἀμάμυξ «виноградная лоза» (засвидетельствована также основа ἀμαμακ-). Причем это — не единичная реконструкция ad hoc, а широко представленная в догреческой топонимике словообразовательно-семантическая модель [25, с. 62—66]. Приведенные факты убедительно говорят о том, что и Οἰνόανδα и Οἰνοῦδσαι были образованы не от названия «алкогольного напитка», а от названия р а с т е н и я. Помимо приведенных аргументов, в пользу этого, с одной стороны (применительно к топониму Οἰνόανδα), свидетельствуют такие географические названия, как Θρύανδα (Ликия, ср. θρύον «тростник, камыш») или Καρύανδα и Καρυασσός (Кария, ср. καρύα «орешник»). С другой стороны, многочисленные древнегреческие топонимы типа Κισσοῦσα (Беотия, ср. κισσός «плющ»), Μαράθουσα (Крит и др., ср. μαραθον «укроп»), Σιδοῦσσα (Лидия, ср. σίδη «гранатовое дерево») и т. п. [26, с. 274—277] говорят в пользу того, что и топоним Οἰνουσσαι был образован от названия растения. Тем более, что в древнегреческом языке засвидетельствовано слово с нужным значением: οἴνη (<*u̯oinā) «виноградная лоза».

Важно отметить, что даже сторонники средиземноморского происхождения лат. *vīnum* и др.-греч. (F)οἶνος вынуждены признать, что лат. *vītis* «виноградная лоза»— производное корня *u̯ei- и связано этимологически с глаголом *viēre* «вить, плести». Если придерживаться средиземноморской гипотезы, то придется считать, что лат. *vīnum* — это заимствование из какого-то неиндоевропейского языка, которое совпало фонетически с обычными соответствиями между латинским и древнегреческим языками, случайно отразило и.-е. чередование *e/*o, вошло в сложный комплекс и.-е. суффиксальных чередований, стало означать то же самое растение, что и исконное слово *vītis*, причем одинаковая семантическая мотивация (с точки зрения индоевропейской или латинской) оказалась у двух случайно совпавших корней различного происхождения. Разумеется, после таких допущений вероятность средиземноморского происхождения лат. *vīnum* и др.-греч. (F)οἶνος практически становится равной нулю. Во всяком случае, если не выходить за рамки языковых фактов, такое допущение выглядит не менее странным, чем, например, выглядело бы предположение о доиндоевропейском субстратном происхождении ст.-слав. *nь-n-uѥ* при одновременном признании и.-е. этимологии слова *nь-m-uѥ* [ср. 11, с. 375—377; 27, с. 5].

Наконец, мне хотелось бы обратить внимание на сравнение лат. *vīnea* «виноградная лоза, виноградник» и *vīnea* «осадный навес». Должны ли мы видеть здесь еще одно «случайное» совпадение? По-видимому, нет. С другой стороны, совершенно очевидно, что мы не можем вывести названия винограда или вина из названия осадного навеса (или наоборот). Древние винеи сплетались, насколько нам известно, не из виноградной лозы, а из ивовых прутьев (contextae viminibus vineae — Caes., Commentarii belli civilis, II, 2, 1). Тем самым исключается возможность образования лат. *vīnea* «осадный навес» на основе заимствованного слова *vīnum*. Единственной разумной основой для сближения слов *vīnea* «виноградная лоза» и *vīnea* «осадный навес» является возведение их производящей основы *vīn-* к и.-е. глагольному корню *u̯ei- «вить(ся), плести». Эта семантическая реконструкция надежно подкрепляется в данном случае наличием отмеченного выше суффиксального чередования *-n-/*-men-: *vī-n-ea* ≈ *vī-min-ea* «сплетенная из ивовых прутьев». Наконец, отношение между *vīnea* «виноградная лоза» и *vīnea* «осадный навес» полностью совпадает с отношением между теми же двумя значениями лат. *vītis*. Поскольку лат. *vīnea* в значении «виноградник» представляет собой субстантивацию прилагательного в сочетании типа *plantātiō vīnea* «виноградное насаждение», обращает на себя внимание также полное совпадение прилагательного *vīnea* (в составе этой реконструкции) с прилагательным *vītea* «виноградная».

Таким образом, опять средиземноморская гипотеза должна опираться на предположение о случайном совпадении, а и.-е. этимология лат. *vīnum* и др.-греч. (F)οἶνος позволяет дать весьма правдоподобное семантическое объяснение древней полисемии: лат. *vīnea* «виноградная лоза»— *vīnea* «осадный навес».

Семантическое распределение производных и.-е. корня *u̯ei- «вить (ся), плести» с наиболее распространенными суф. *-n-*, *-t-* и *-men-* в латинском и древнегреческом языках можно суммировать в следующей небольшой таблице (В —«вино», ВЛ —«виноградная лоза», И —«ива», ИЛ —«ивовая лоза», Щ — «щит, навес»; примеры были даны выше):

Суффиксы	Латинский язык	Древнегреческий язык
-n-	ВЛ В Щ	ВЛ В
-t-	ВЛ В Щ	И Щ
-men-	ИЛ И Щ	—

Таким образом, в древнегреческом языке довольно четко противопоставлены в словообразовательном плане: а) вьющееся растение (виноград) и его продукт, б) растение, используемое для плетения (ива) и плетеный щит (ἰτέα). В латинском языке — картина более сложная. Названия виноградной лозы и вина распределены здесь между суф. *-n-* и *-t-* (с преимущественным обозначением в первом случае вина, а во втором — растения). Ива и ивовая лоза обозначаются производными с суф. *-men-* (**-mn̥-*), а названия плетеного навеса образуются с помощью всех трех суффиксов

Выводы. Лат. *vīnum* и др.-греч. (F)οἶνος не представляют собой заимствований из неиндоевропейского средиземноморского субстрата, а являются словами и.-е. происхождения, возникшими в части и.-е. ареала после распада общеиндоевропейского языка-основы. Что касается древнегреческого языка, то здесь слово (F)οἶνος могло явиться заимствованием из догреческого, но индоевропейского субстрата. О такой возможности свидетельствует, быть может, догреческий топоним и.-е. типа Οἰνόανδα (юго-западная Малая Азия).

Существенный интерес представляет приводимое В. И. Георгиевым крито-микенское слово *we-je-we*, которое он трактует как FειηFες — мн. ч. от Fειεύς «виноградная лоза». В пользу этого толкования В. И. Георгиев приводит глоссу Гезихия οἰήν, ἄμπελον, интерпретируемую им как Fιήν (аркадо-кипрская форма вин. п. [10, с. 62 и 265]). Если это так, то перед нами, во-первых, еще одно производное и.-е. корня **u̯ei-* «вить(ся), плести» со значением «виноградная лоза», а во-вторых — аргумент в пользу возможного заимствования греками названия винограда у догреческого индоевропейского населения (образования на -εύς обычно считаются догреческими, но индоевропейскими).

Не исключена также возможность, что лат. *visūla* (ī или ĭ?) «род виноградной лозы» (Colum. III, 2, 21) также представляет собой деминутив от основы **u̯ei-s-* или **u̯i-s-*. Но все это — уже детали.

Вопрос о самостоятельном или заимствованном характере [13] арм. *gini*, хетт. *wiyana*, а, возможно, и ст.-слав. *вино* требует особого исследования. Неиндоевропейские названия вина (финский, грузинский, семитские и др.)[14] были заимствованы у индоевропейских народов. Но каждый отдельный случай здесь требует особого рассмотрения. В целом пример с происхождением лат. *vinum* и др.-греч. (F)οἶνος наглядно показывает, сколь ошибочны бывают этимологии, базирующиеся на общих концепциях, а не на анализе конкретного языкового материала.

ЛИТЕРАТУРА

1. *Planta R. von.* Grammatik der oskisch-umbrischen Dialekte. Bd. I—II. Straßburg, 1892—1897.
2. *Brugmann K., Delbrück B.* Grundriß der vergleichenden Grammatik der indogermanischen Sprachen. 2. Aufl. Straßburg, 1897—1916.
3. *Meillet A.* Linguistique historique et linguistique générale. Paris, 1921.

[13] Речь в данном случае идет о внутрииндоевропейских заимствованиях.

[14] О том, что груз. *γvino* «вино» — заимствование из индоевропейского, см. [28, с. 203—204].

4. *Meillet A.* De quelques emprunts probables en grec et en latin.— MSLP, 1908—1909, t. 15, p. 161—164.
5. *Schrader O., Nehring A.* Reallexikon der indogermanischen Altertumskunde. 2. Aufl. Bd. I—II. Berlin, 1917—1929.
6. *Walde A.* Lateinisches etymologisches Wörterbuch. 2. Aufl. Heidelberg, 1910.
7. *Walde A.* Lateinisches etymologisches Wörterbuch. 3. Aufl. Bearb. von Hofmann J. B. Bd. I—II. Heidelberg, 1938—1954.
8. *Walde A.* Vergleichendes Wörterbuch der indogermanischen Sprachen. Bd. I—III. Hrsg. von Pokorny J. Berlin — Leipzig, 1926—1932.
9. *Pokorny J.* Indogermanisches etymologisches Wörterbuch. Bern, 1959.
10. *Георгиев В.* Исследования по сравнительно-историческому языкознанию. М., 1958.
11. *Georgiev Vl. I.* Introduzione alla storia delle lingue indeuropee. Roma, 1966.
12. *Georgiev V. I.* Introduction to the history of the Indo-European languages. Sofia, 1981.
13. *Ernout A., Meillet A.* Dictionnaire étymologique de la langue latine. T. I—II. 4-ième éd. Paris, 1959—1960.
14. *Frisk Hj.* Griechisches etymologisches Wörterbuch. Heidelberg, 1954—1969.
15. *Фасмер М.* Этимологический словарь русского языка. Т. I—IV. М., 1964—1973.
16. *Bonfante G.* Das Problem des Weines und die linguistische Paläontologie.— In: Antiquitates indogermanicae. Gedenkschrift für H. Güntert. Innsbruck, 1974.
17. *Stati S.* Participiul latin în *-to-*.— Studii şi cercetări lingvistice, 1959, t. X.
18. *Откупщиков Ю. В.* Из истории индоевропейского словообразования. Л., 1967.
19. *Fick A.* Altgriechische Ortsnamen. I.— Beiträge zur Kunde der indogermanischen Sprachen, 1896, Bd. 21.
20. *Chantraine P.* La formation des noms en grec ancien. Paris, 1933.
21. *Schwyzer E.* Griechische Grammatik. Bd. I. München, 1939.
22. *Schmidt J.* Kritik der Sonantentheorie. Weimar, 1895.
23. *Казанскене В. П.* Древние греческие и латинские образования с суффиксальными **-m-*, **-men*, **-n-*: Автореф. дис. на соискание уч. ст. канд. филол. наук. М., 1980.
24. *Otkupščikov Ju.* The etymology of late Latin *frementum*.— Annali dell' Istituto Universitario Orientale di Napoli, sezione linguistica, 1965, v. VI.
25. *Откупщиков Ю. В.* Догреческие *-ss-* топонимы и антропонимы (словообразовательный и этимологический анализ).— В кн.: Славянское и балканское языкознание. Проблемы языковых контактов. М., 1984.
26. *Откупщиков Ю. В.* О происхождении древнегреческих топонимов на -(ὁ)εσσα/ /οῦσσα.— В кн.: Проблемы античной культуры. Тбилиси, 1975.
27. *Georgiev V. I.* Le Sud-Est européen et la Méditerranée. Interrelations linguistiques.— In: IIIe Congrès international d'études du Sud-Est européen. Bucureşti, 1974.
28. *Климов Г. А.* Этимологический словарь картвельских языков. М., 1964.

ВОПРОСЫ ЯЗЫКОЗНАНИЯ

№ 4 1985

КОЖЕВНИКОВА Н. А.

О СООТНОШЕНИИ ТИПОВ ПОВЕСТВОВАНИЯ В ХУДОЖЕСТВЕННЫХ ТЕКСТАХ

Типы повествования — при всем многообразии их реального осуществления — представляют собой композиционные единства, организованные определенной точкой зрения (автора, повествователя, персонажа), имеющие свое содержание и функции и характеризующиеся относительно закрепленным набором конструктивных признаков и речевых средств (интонация, соотношение видо-временных форм, порядок слов, общий характер лексики и синтаксиса).

Типы повествования в художественном произведении организованы обозначенным или необозначенным субъектом речи и облечены в соответствующие речевые формы. Зависимость между субъектом речи и типом повествования носит, однако, непрямой характер. В повествовании от третьего лица выражает себя или всезнающий автор или анонимный рассказчик. Первое лицо может принадлежать и непосредственно писателю, и конкретному рассказчику, и необозначенному повествователю, в каждом из этих случаев отличаясь разной мерой определенности.

Мера определенности повествователя колеблется даже в рамках одного произведения. Единое «я» может объединять и точку зрения, близкую авторской, и точку зрения, ей противоположную. Совмещение противоположных точек зрения характеризует, например, гоголевскую «Повесть о том, как поссорился Иван Иванович с Иваном Никифоровичем» [1, с. 219—224] или «Современную идиллию» Салтыкова-Щедрина [2, с. 193—194].

Однако и в тех случаях, когда повествование сохраняет свое единство, связь между ним и соответствующим типом повествования может отсутствовать. Так, само по себе наличие рассказчика еще не предопределяет форм речи. Об этом свидетельствует одновременное существование сказа и книжного повествования от первого лица — форм, равным образом связанных с рассказчиком, но резко отличающихся друг от друга речевым обликом. По фразе типа *Вот что он рассказал*, а иногда и по прямому обращению к слушателю еще нельзя предугадать тип повествования, который при всей, казалось бы, его заданности, обнаруживается только в конкретном речевом выражении. И напротив, определенные формы речи вызывают представление о рассказчике, если даже он не обозначен. Это относится прежде всего к анонимному сказу, в котором формы речи не заданы, образ и социальный тип рассказчика создается речью, угадывается по ней. В этом отношении показателен рассказ Л. Н. Толстого «Записки маркера», состоящий из двух частей, каждая из которых выдержана в своем стилистическом ключе, так что неназванные повествователи угадываются по характеру речевых средств.

Формообразующая роль речи обнаруживается и в том, что речь не только создает определенный образ повествователя, но одновременно может разрушать или размывать заданный его образ. Так происходит с хроникерами Достоевского, с пушкинским Белкиным, образ которого «сближается с образом „издателя“, с образом изощренного, гениального художника» [3].

Все это свидетельствует о том, что между субъектом речи и типом повествования существует двусторонняя связь. Не только субъект речи определяет речевое воплощение повествования, но и сами по себе формы речи вызывают с известной определенностью представление о субъекте, строят его образ.

Соотношение и взаимодействие разных типов повествования внутри произведения и создает в конце концов «образ автора» как некий организующий центр, «концентрированное воплощение сути произведения, объединяющее всю систему речевых структур персонажей в их соотношении с повествователем рассказчиком или рассказчиками и через них являющееся идейно-стилистическим средоточием, фокусом целого» [2, с. 118]. Соотношение разных повествовательных типов исторически изменчиво, так же как и сам их набор.

Для сентиментализма и романтизма «характерно до самозабвения экспрессивное прямое авторское слово, не охлаждающее себя никаким преломлением сквозь чужую словесную среду» [4]. Развиваются и культивируются разные способы субъективного авторского повествования, с наибольшей полнотой воплощенного в прозе Н. М. Карамзина. Формы выражения субъективного авторского начала разнообразны и по-разному участвуют в организации таких конструктивных элементов произведения, как рассуждение и собственно повествование. Средством выражения авторских оценок и эмоций становятся лирические отступления, прямые характеристики персонажей, риторические вопросы и восклицания, сентенции и т. п. Особо следует выделить обращения к неодушевленному предмету или понятию, с одной стороны, и обращения к герою, с другой.

Собственно повествование в свою очередь испытывает на себе воздействие субъективного авторского начала. Это выражается прежде всего в обращениях к читателю, которые образуют своего рода композиционные швы, отмечая переходы от одного предмета речи к другому, введение определенных тем и героев и т. п. В более сложных случаях повествование строится в форме обращения к читателю, который как бы включается в изображаемое и становится участником действия.

Приемы выражения субъективного авторского начала необычайно устойчивы (некоторые из них дошли до современной прозы), но роль их в литературе допушкинского периода и реалистической литературе XIX—XX вв. резко не совпадает.

Одна из характерных особенностей реалистической литературы состоит в том, что в ней последовательно применяется «принцип широкого использования социально-речевых стилей изображаемой общественной среды, в качестве ее собственного речевого самоопределения, связанного с ее бытом, ее культурой и ее историей, и принцип воспроизведения социальных характеров с помощью их собственных „голосов“ как в формах диалога, так и в формах „чужой“ или непрямой речи в структуре повествования» [5]. Этот общий принцип воплощен в разных типах повествования, организованных неавторской точкой зрения. Точка зрения рассказчика организует книжное повествование от первого лица и сказ, представляющий собой «художественную имитацию монологической речи, которая, воплощая в себе повествовательную фабулу, как будто строится в порядке ее непосредственного говорения» [6].

Роль персонажа в произведении специфична. Персонаж выражает себя не только в диалоге, но и в самом повествовании. Автор как бы устраняется из повествования, передоверяя организующую роль персонажу, на точку зрения которого ориентированы отдельные фрагменты текста. Точка зрения персонажа может присутствовать в повествовании в двух качествах — как точка зрения наблюдателя, очерчивающая поле зрения персонажа и зависящая от его положения в пространстве, и как точка зрения данного конкретного персонажа, обусловленная его возрастными, социальными, культурными, психологическими и т. п. особенностями.

Точка зрения персонажа может организовывать собственно повествование и описание, с одной стороны, и изображение сознания и речи персонажа, с другой, по-разному преломляясь в каждой из этих сфер. Разным художественным задачам соответствуют и разные типы повествования. Типы повествования, организованные точкой зрения персонажа, при сходстве функций отличаются друг от друга и сферой распространения внутри произведения, и способами передачи точки зрения персонажа. Разным формам проявления точки зрения персонажа соответствуют и раз-

ные речевые средства, часть которых находится в пределах авторской речи, часть — связана со словоупотреблением персонажа.

Часть разновидностей повествования связана с воспроизведением ситуации речи — произнесенной или внутренней (косвенная, несобственно-прямая, прямая, которая передает не только диалог, но и внутренние монологи).

Точка зрения и словоупотребление персонажа не замкнуты теми типами повествования, которые воспроизводят ситуацию речи. Они проникают и в повествование в узком смысле этого слова, но выражаются в нем по-иному. Отдельные фрагменты повествования, иногда очень развернутые, могут быть организованы пространственной точкой зрения персонажа. Этот тип повествования не связан с формами речи персонажа и располагает очень ограниченным набором средств (это неопределенные местоимения и наречия, указательные частицы, модальные слова со значением предположения, заключения и т. п.). Независимость средств, организующих этот тип повествования, от словоупотребления персонажа делает его универсальным, подходящим для передачи точки зрения любого персонажа — вне зависимости от его социального положения, возраста, речи и т. п. А это в свою очередь объясняет активность и устойчивость повествования с пространственной точки зрения персонажа, которое применяется в русской литературе на протяжении полутора веков и как самостоятельный тип повествования, и в сочетании с другими его типами, передающими точку зрения персонажа.

Кроме того, в литературе XIX—XX вв. развивается несобственно-авторское повествование, в котором точка зрения персонажа передана в повествовании и описании в формах словоупотребления персонажа, не связанных с ситуацией речи. Если повествование, организованное пространственной точкой зрения персонажа, устойчиво и независимо от личности персонажа и его речи, несобственно-авторское повествование, напротив, очень подвижно и связано с типом персонажа, его характером и т. п. Несобственно-прямая речь воспроизводит ситуацию речи, передавая точку зрения определенного персонажа, но может быть оторвана от его словоупотребления, несобственно-авторское повествование, оторванное от ситуации речи, связано со словоупотреблением и оценками персонажа. Эти два типа повествования в зависимости от их стилистического воплощения могут сближаться друг с другом так, что их трудно разграничить, но могут и противостоять друг другу.

Средства, создающие план персонажа, неоднородны и неравноценны и образуют своего рода иерархию, на нижней ступени которой находятся средства, передающие точку зрения персонажа-наблюдателя, не осложненную никакими дополнительными художественными задачами. От набора типов повествования, передающих точку зрения персонажа, и их сочетания друг с другом и с авторским повествованием зависит степень субъективизации повествования.

История повествования в литературе XIX в. связана с ограничением роли субъективного авторского начала и развитием повествования, передающего точку зрения персонажа и изображаемой среды. Однако план персонажа, сколь бы подробно он ни был разработан, не вытесняет полностью авторское субъективное повествование из большинства художественных систем, своеобразие которых определено не только тем, какими средствами передан в них план персонажа, но и тем, какие приемы авторского субъективного повествования в них присутствуют.

Произведение может быть одноплановым, вмещаясь в рамки одного повествовательного типа (например, рассказ от первого лица), и может выходить далеко за рамки определенного типа, представляя собой многослойное иерархическое построение. Разные типы повествования отличаются друг от друга степенью своей самостоятельности и конструктивной значимости в произведении: одни из них, сколь бы малое место они ни занимали, организуют текст в целом (объективное повествование), другие закрепляются за определенными его фрагментами (несобственно-прямая речь). Таким образом, разные повествовательные типы оказываются явле-

ниями разных уровней, стоящими на разных ступенях внутренней иерархии художественного произведения.

Типы повествования в больших эпических построениях вступают в разнообразные сочетания друг с другом, создавая сложную неоднородную структуру текста. При сходстве отдельных приемов, при однотипности их художественной роли в произведении системы повествования, в которые они включаются, могут быть разнотипными, и это создает богатство индивидуальных вариантов организации повествования. Связи и соотношения между разными типами повествования внутри произведения относительно закреплены, поскольку они заданы повествователем и представляют собой некую норму организации повествования. Та или иная позиция повествователя предполагает (или допускает) использование одних типов повествования и исключает (или ограничивает) возможности использования других.

Так, повествование от лица объективного всезнающего автора предполагает свободное выражение точки зрения персонажа или персонажей, в какой бы форме она ни проявлялась,— т. е. организацию повествования пространственной точкой зрения персонажа, и все способы передачи чужой речи — произнесенной или внутренней. Позиция всезнающего автора проявляется в двух формах — объективной и субъективной. Передавая отношение к персонажам, к изображаемой действительности, к форме повествования, к читателю, субъективные формы авторского повествования тесно связаны с объективным повествованием, как бы надстраиваясь над ним. Поэтому все способы передачи чужой точки зрения и чужой речи возможны и при этой форме организации повествования.

В зависимости от того, в какую форму, объективную или субъективную, облекается авторское повествование, в зависимости от конкретных форм выражения субъективного начала, которые могут встречаться и самостоятельно (например, обращения к читателю), и в комплексе, и, наконец, в зависимости от того, какие именно способы выражения чужой точки зрения и речи используются в произведении, складываются разные типы произведений. В этих типах произведений, необычайно свободных и широких по своим возможностям, ограничения касаются лишь некоторых проявлений авторского «я» — например, автор не может становиться героем собственного произведения.

Поскольку первое лицо неоднозначно, разные его проявления обладают и разными возможностями совмещения с разными типами повествования. Чем более конкретно «я» повествователя-наблюдателя или «я» рассказчика, тем больше ограничений с ним связано. Эти ограничения касаются типов повествования, передающих точку зрения и внутреннюю речь персонажа. Если всезнающий автор обладает подвижной точкой зрения, которая в одних типах повествования проявляется как внешняя, в других как внутренняя [7, с. 72], то и наблюдатель, и рассказчик обладают лишь внешней точкой зрения. Поэтому их выходы за пределы возможного знания об окружающем специально мотивируются. Однако такие соотношения между разными типами повествования, которые в современной прозе приобретают почти обязательный характер, сложились далеко не сразу.

Способы объединения разных типов повествования не только закреплены, но и относительно свободны. При этом одни способы имеют более, другие менее условный характер. Условный характер отношений между субъектом повествования и формами его выражения проявляется в осложнении связей между разными типами повествования внутри произведения, в частности, в объединении разных, как бы взаимоисключающих типов повествования.

Русская классическая литература знает множество примеров осложнения иерархических отношений между разными типами повествования. Эти способы осложнения структуры произведения, в большей или меньшей степени характерные для разных писателей XIX в., устойчивы и типизированы.

Как уже говорилось, разные повествователи отличаются друг от друга разной мерой знания того, о чем они повествуют. На одном полюсе «от-

влеченно-всеобъемлющий автор», как писал Г. А. Гуковский [см. 1, с. 47], на другом — конкретный рассказчик, который не может быть всезнающим. Если объективное повествование строится так, что вопрос об источнике знаний повествователя просто не возникает, то конкретный повествователь находит нужным указывать на то, откуда почерпнуты его знания о персонажах и изображаемых событиях. Указания такого рода содержатся, например, в некоторых рассказах из «Записок охотника» Тургенева: «Всех мальчиков было пять: Федя, Павлуша, Илюша, Костя и Ваня. (Из их разговоров я узнал их имена и намерен теперь же познакомить с ними читателя)» (Бежин луг).

Осложнение структуры повествования связано с тем, что эти противопоставленные позиции могут в той или иной мере совмещаться. В некоторых произведениях всезнающий автор не всегда пользуется своим всеведением. В субъективном повествовании автор, не обладающий чертами конкретности, может указывать на ограниченность своего знания о внутреннем мире персонажей, об их прошлом. К этому приему прибегает, например, Тургенев, заканчивая роман «Дворянское гнездо» серией вопросов, комментирующих сцену в монастыре: «Что подумали, что почувствовали оба? Кто узнает? Кто скажет? Есть такие мгновения в жизни, такие чувства... На них можно только указать — и пройти мимо». Такие и подобные им указания на фоне преобладающего повествования от лица всезнающего автора — одно из важных проявлений субъективного начала в прозе XIX в.

И, напротив, права конкретного рассказчика расширяются, и он приближается к всезнающему автору. В литературе XIX в. повествование от первого лица в этом отношении свободнее, чем в XX в., грань между возможным и невозможным для конкретного рассказчика постоянно переступается. Это прежде всего выражается в том, что повествователь, ограниченный в своих возможностях, знает неизмеримо больше, нежели позволяет его позиция, но эта его осведомленность никак специально не мотивируется. В «Пропавшей грамоте» Гоголя рассказчик не был ни свидетелем, ни участником событий, он передает рассказ с чужих слов. В «Вечере накануне Ивана Купала» не были ни участниками, ни свидетелями некоторых событий и те, с чьих слов повествует рассказчик. Опосредованность рассказа не мешает, однако, ни в том, ни в другом случае изображать события, удаленные от рассказчика во времени и преломленные через несколько субъектных призм, как непосредственно происходящие.

В некоторых рассказах Лескова рассказчик, представленный как участник и свидетель событий, ограниченный в своих знаниях о внутренней жизни персонажа, рассказывает о том, чему не мог быть свидетелем, передавая диалоги, слышать которые он заведомо не мог, без каких бы то ни было мотивировок и указаний на источник знания (например, в рассказах «Тупейный художник», «Железная воля»). Значительная часть повести Лескова «Островитяне» организована точкой зрения конкретного рассказчика — участника и свидетеля описываемых событий. Двадцать первая глава повести начинается словами «Переносимся на короткое время далеко в Германию...», вслед за которыми идет повествование о событиях, протекавших вне поля зрения рассказчика. Повествователь не только знает то, чему он не был свидетелем, но и комментирует события.

Кроме того, повествование от первого лица, исключающее повествование с точки зрения персонажа, тем не менее может включать его в себя. Соответственно в сказе и книжном повествовании от первого лица появляется план персонажа, организованный повествованием с пространственной точки зрения персонажа и несобственно-прямой речью. В повести Гоголя «Вечер накануне Ивана Купала», оформленной как сказ, принадлежащий конкретному рассказчику, «дьячку ***ской церкви» Фоме Григорьевичу, в повествование проникает точка зрения персонажа, Петра. Некоторые фрагменты отражают его непосредственное восприятие: «Я думаю, куры так не дожидаются той поры, когда баба вынесет им хлебных зерен, как дожидался Петрусь вечера. То и дела, что смотрел, не становится ли тень от дерева длиннее, не румянится ли понизившееся солнышко,

и что далее, тем нетерпеливей. Экая долгота! видно, день божий потерял где-нибудь конец свой. Вот уже и солнца нет. Небо только краснеет на одной стороне... Примеркает, примеркает и — смерклось. Насилу!»; «Оглянулся: Басаврюк! у! какая образина! Волосы — щетина, очи — как у вола!».

Довольно большой отрезок текста, таким образом, выпадает из общей манеры повествования. Отдельные части этого обширного повествовательно-описательного фрагмента затем возникают в сознании Петра, который все забыл: «Смотрит: два мешка с золотом. Тут только, будто сквозь сон, вспомнил он, что искал какого-то клада, что было ему одному страшно в лесу... Но за какую цену, как достался он, этого никаким образом не мог понять»; «Иной раз, когда долго сидит на одном месте, чудится ему, что вот-вот все сызнова приходит на ум... и опять все ушло. Кажется: сидит в шинке; несут ему водку; жжет его водка; противна ему водка. Кто-то подходит, бьет по плечу его... но далее все как будто туманом укрывается перед ним». Возвращается и сцена убийства. Одно и то же описывается дважды и оба раза с точки зрения персонажа, сначала как непосредственно происходящее, затем — как воспоминание, в форме внутренней речи.

В «Заколдованном месте» временная дистанция, которая подчеркивается в начале рассказа, исчезает — все, что происходит с дедом, изображается, во-первых, как непосредственно происходящее, во-вторых, с точки зрения деда. В «Пропавшей грамоте» изображение деда и его поступков чередуется с отрезками текста, отражающими его впечатления и мысли. В организации плана персонажа принимают участие более разнообразные средства, нежели в «Вечере накануне Ивана Купала». Здесь и указательные местоимения, фиксирующие смену его впечатлений: «Вот и обожженное дерево и кусты терновника! Так, все так, как было ему говорено; нет, не обманул шинкарь»; «Вот и мостик!»; неопределенные местоимения, указывающие на ограниченность знания персонажа: «Вот и чудится ему, что из-за соседнего воза что-то серое выказывает роги»; «Хоть бы один кивнул головой; сидят да молчат, да что-то сыплют в огонь»; оценки, принадлежащие деду: «...проклятая дремота все туманила перед ним»; «...еще отроду не видывал он, чтобы проклятые шипы и сучья так больно царапались»; «...дрянь такая лезет, что дед и руки опустил». Повествователь передает и мысли деда.

В «Пропавшей грамоте» и «Заколдованном месте» план персонажа выдвинут в центр, в других произведениях Гоголя, например, в «Повести о том, как поссорился Иван Иванович с Иваном Никифоровичем», в «Старосветских помещиках», он свернут, точка зрения персонажа используется как побочный способ изображения. Благодаря отклонениям от возможностей конкретного рассказчика повествователь в значительной мере утрачивает свою определенность. Повествование колеблется между противопоставленными манерами, которые то приобретают известную самостоятельность, то совмещаются друг с другом. План персонажа в более или менее развернутом виде присутствует и в некоторых рассказах Лескова и Чехова, оформленных как повествование конкретного рассказчика [8]. Как последовательный принцип повествования переход на точку зрения персонажа применен, например, в рассказе Чехова «Шуточка» [9].

Тяготение повествователя к тождеству то со всезнающим автором, то с заданным рассказчиком с предельной свободой и отчетливостью проявлено в художественной системе Достоевского, который больше чем кто бы то ни было из русских писателей смещал устойчивые формы и нарушал устойчивые связи. Известный пример объединения взаимоисключающих форм повествования — романы Достоевского «Бесы» и «Братья Карамазовы». Повествователь-хроникер, в «Бесах» он же и действующее лицо, то указывает на источник своего знания о событиях и людях, передавая разнообразные сплетни, слухи и тем самым расширяя круг точек зрения, с которых освещается персонаж или событие, то берет на себя функции всезнающего автора, рассказывая о том, чему свидетелем он не был и быть не мог, и, в частности, изображая внутреннюю скрытую жизнь пер-

сонажей, их мысли, прибегая к организации повествования их точкой зрения (например, в «Бесах» некоторые главы организованы пространственной точкой зрения Ставрогина, в «Братьях Карамазовых» — точкой зрения Алеши) [7, с. 142, 128—131]. Хроникальное изложение внешних фактов сопровождается и прерывается внутренними комментариями персонажа — например, в сцене допроса Дмитрия Карамазова: «Николай Парфенович что-то долго не возвращался, „истязательно долго", „за щенка меня почитает", скрежетал зубами Митя. „Эта дрянь прокурор тоже ушел, верно из презрения, гадко стало смотреть на голого"... Он мрачно замолчал и стал спеша одеваться. Заметил только, надевая платье, что оно богаче его старого платья и что он бы не хотел „пользоваться". Кроме того, „унизительно узко. Шута, что ли, я горохового должен в нем разыгрывать... к вашему наслаждению!"».

Последовательная смена повествователей в романах Достоевского свидетельствует о том, что он не только не стремился преодолеть условность объединения разных позиций повествователя и привести в соответствие друг с другом разные типы повествования, но, напротив, последовательно углублял возможные диссонансы и противоречия. С этой точки зрения интересно сравнить повествователя в «Идиоте» и в «Бесах». Если в «Идиоте» только что отмеченные особенности позиции повествователя (прежде всего изображение с точки зрения персонажа) принадлежат некоему достаточно отвлеченному «я» («мы»), то в «Бесах» повествователь вполне и подчеркнуто конкретен, т. е. нарочито ограничен в своих возможностях и знании о персонажах.

Конкретный повествователь привносит в романы Достоевского ту хроникальность и документальность, на которой писатель так настаивает, в то время как обезличенное «я» создает известную дистанцию между повествователем и событием, придавая повествованию большую эпичность.

Путь Достоевского можно схематично представить как движение от повествования от 1-го лица (рассказа-исповеди) к повествованию всезнающего автора, пронизанному точкой зрения персонажа («Преступление и наказание», которое первоначально мыслилось как повествование от первого лица), а затем — к сложному синтезу противостоящих форм при изменении роли рассказчика, который говорит не о себе, использующему возможности каждой из них и одновременно преодолевающему их ограниченность («Бесы», «Братья Карамазовы»).

Благодаря смещениям перспективы изображения единство субъектного плана разрушается, а в произведении сочетаются типы повествования, заданные субъектом повествования, и типы, которые указывают на другой субъект повествования и формируют новый субъект повествования, отличный от заданного. На месте заданной введением рассказчика иерархии типов повествования возникает другая, более сложная иерархия, в которой рассказчик становится одной из подчиненных величин. Таким образом, возможности конкретного рассказчика оказываются расширенными до возможностей всезнающего автора.

Всезнающий автор со своей стороны ограничен в своих возможностях: он не должен быть лицом конкретным, участником и свидетелем изображаемых событий. Однако и это ограничение нарушается.

В повести Карамзина «Бедная Лиза» история героини изложена с позиции всезнающего автора. Обрамлена же она повествованием, рисующим образ конкретного рассказчика, который находит нужным указать на свое знакомство с одним из персонажей повести и вместе с тем на источник своих знаний о героях: «Эраст был до конца жизни своей несчастлив. Узнав о судьбе Лизиной, он не мог утешиться и почитал себя убийцею. Я познакомился с ним за год до его смерти. Он сам рассказал мне сию историю и привел меня к Лизиной могиле».

Повествователь «Мертвых душ» Гоголя обладает правами всезнающего автора. Одно из проявлений повествователя противоречит этому облику — он ведет себя как конкретное лицо, находящееся рядом с персонажем. Разговор с воображаемыми читателями прерывается следующим замечанием: «Но мы стали говорить довольно громко, позабыв, что герой наш,

спавший во все время рассказа его повести, уже проснулся и легко может услышать так часто повторяемую свою фамилию. Он же человек обидчивый и недоволен, если о нем изъясняются неуважительно».

А. Белый, внимательно изучавший Гоголя, использует некоторые его приемы, в том числе и этот. Всезнающий повествователь «Петербурга», как будто свободный от реальности, лежащей за пределами романа, и перекраивающий эту реальность в соответствии со своими задачами, одновременно и участвует в ней: «Петербург, Петербург! Осаждаясь туманом, и меня ты преследовал праздною мозговою игрой: ты — мучитель жестокосердый: но ты — непокойный призрак: ты, бывало, года на меня нападал; бегал и я на твоих ужасных проспектах, чтоб с разбега влететь вот на этот блистающий мост... О, большой, электричеством блещущий мост! О, зеленые, кишащие бациллами воды! Помню я одно роковое мгновенье; чрез твои сырые перила сентябрьскою ночью я перегнулся; и миг: тело мое пролетело б в туманы». Вмешательство конкретного лица характерно и для других мест романа. Течение повествования прерывается таким, например, замечанием: «Учреждение — есть. В нем есть Аполлон Аполлонович: верней „был“, потому что он умер...— Я недавно был на могиле...».

В романе широко используются традиционные формулы, отмечающие переход от одной темы к другой, типа *мы оставили...*, *вернемся к...* . В некоторых главах эти формулы переосмысливаются — происходит неожиданное преображение повествователя в действующее лицо: «Мы оставили Николая Аполлоновича у магазинной витрины; но мы его бросили; меж сенаторским сыном и нами закапали частые капельки...».

Всезнающий автор может переходить не только на точку зрения конкретного повествователя, но и на точку зрения повествователя, обладающего биографическими чертами писателя. Такое проявление авторского «я» использовано в повести Л. Толстого «Поликушка»: «Я недавно видел, как лорд Пальмерстон сидел, накрывшись шляпой, в то время, как член оппозиции громил министерство, и, вдруг встав, трехчасовою речью отвечал на все пункты противника; я видел это и не удивлялся, потому что нечто подобное я тысячу раз видел между Егором Михайловичем и его барыней».

В только что рассмотренных случаях единство заданной формы в конечном итоге сохраняется. Форма, противоречащая основной, включена в нее. Возможно и иное соотношение разных обликов повествователя, а именно переход от одного образа повествователя к другому. Движение при этом идет в разных направлениях. Исходная точка — повествователь, обладающий чертами конкретности, конечная точка — всезнающий автор. Разные позиции повествователя могут быть четко отделены друг от друга. В повести Л. Толстого «Хаджи-Мурат» повествование от авторского «я», организующее пролог к повести, сменяется объективным повествованием всезнающего автора: «И мне вспомнилась одна давнишняя кавказская история, часть которой я видел, часть слышал от очевидцев, а часть вообразил себе». В других случаях переход от одной позиции к другой происходит незаметно и специально не мотивируется. Такая смена позиций характерна для повести Лескова «Леди Макбет Мценского уезда». При иной исходной точке повествование, принадлежащее всезнающему автору, переходит в повествование от лица конкретного рассказчика (например, в «Импровизаторе» В. Ф. Одоевского).

Всезнающий автор, которому открыт внутренний мир персонажа, и автор как конкретная личность сосуществуют в произведении и в современной прозе. Иногда такой конкретный повествователь только предваряет повествование (Ф. Абрамов, Пряслины), иногда принимает непосредственное участие в событиях и становится героем собственного произведения, в котором все события освещаются с точки зрения персонажа. В неразвернутом виде такие отношения между разными авторскими позициями существуют в повести Ю. Трифонова «Обмен».

Совмещение и в разной мере выраженное столкновение двух разных способов организации повествования, по-видимому, вызваны не только определенными художественными задачами, но и в какой-то мере отражают

разные этапы движения литературы от автора-рассказчика к безличному повествователю, которому «все дозволено».

Еще один тип осложнения иерархических связей внутри произведения касается способов выражения времени повествования и также связан с использованием типов повествования, передающих точку зрения персонажа.

Если описываемые события относятся к далекому прошлому, в произведении могут присутствовать две временные плоскости: время повествования и время событий; точка зрения автора-историка и точка зрения персонажа-участника. Временная перспектива при этом может колебаться, и события изображаются то как удаленные во времени, то как непосредственно происходящие.

В «Тарасе Бульбе» Гоголя совмещается повествование с двух временных позиций: с точки зрения современности и с точки зрения, синхронной изображаемым событиям. Неоднократно подчеркивается дистанция между временем повествования и временем изображаемых событий: «Это был один из тех характеров, которые могли возникнуть только в тяжелый XV век на полукочующем углу Европы...»; «Эта странная республика была именно потребностию того века»; «В самом деле, она была жалка, как всякая женщина того удалого века» и т. д. С другой стороны, временная дистанция то и дело преодолевается, и в повествование включаются конструкции, типичные при передаче непосредственных восприятий персонажа или персонажей: «Из травы подымалась мерными взмахами чайка и роскошно купалась в синих волнах воздуха. Вот она пропала в вышине и только мелькает одною черною точкою. Вот она перевернулась крылами и блеснула перед солнцем»; «В воздухе вдруг захолодело; они почувствовали близость Днепра. Вот он сверкает вдали и темною полосою отделился от горизонта».

Кроме того, в повествование включены фрагменты несобственно-прямой речи персонажей: «Уходя к своему полку, Тарас думал и не мог придумать, куда девался Андрий: полонили ли его вместе с другими и связали сонного? Только нет, не таков Андрий, чтобы отдался живым в плен».

И наконец, в повести встречаются обращения автора к персонажу, предполагающие присутствие и сопереживание автора: «Козаки, козаки! не выдавайте лучшего цвета вашего войска!»; «Разлетелась медная шапка, зашатался и грянулся лях, а Шило принялся рубить и крестить оглушенного. Не добивай, козак, врага, а лучше поворотись назад! Не поворотился козак назад, и тут же один из слуг убитого хватил его ножом в шею».

Временное раздвоение, позволяющее осмыслить события и с точки зрения их непосредственных участников, и в далекой временной перспективе, характеризует роман Ю. Тынянова «Смерть Вазир-Мухтара», пролог к которому написан с точки зрения автора, удаленного от событий столетием и видящего их в исторической перспективе, а основная часть романа передает то точку зрения Грибоедова, то — хотя и реже — точки зрения других действующих лиц, т. е. вся собственно историческая часть изображается как непосредственно происходящее. Структура этой части осложняется тем, что в нее включаются замечания автора, комментирующего и оценивающего изображаемое с точки зрения человека XX века: «Генералы знали: война выиграна бездарно.... Генералов в двадцатом веке назвали бы пораженцами»; «Иван Григорьевич Бурцов был либерал. Умеренность была его религией. Не всегда либералы бывали мягкотелы, не всегда щеки их отвисали и животы их были дряблы,— как то обыкновенно изображали позднейшие карикатуристы».

Как неоднократно отмечалось, две временные точки зрения присутствуют в романах Достоевского, где не только хроникер забегает вперед, совмещая взгляд из будущего с изображением по горячим следам, это делает и сам всезнающий автор [10]. Изображение непосредственное, прикованное к восприятию персонажа в определенный момент времени и ограниченное им, включает в себя указания на то, что изображается и не непосредственное происходящее, и не воспоминание персонажа, прикрепленное к определенному моменту времени, а давно прошедшее, притом временная точка не определена конкретно. Так строится «Преступление и наказание»,

в котором способ описания с точки зрения персонажа, передающий его непосредственные впечатления, связанные с конкретным моментом, выдерживается очень последовательно. Как писал сам Достоевский: «Рассказ от имени автора, как бы невидимого, но всеведущего существа, но не оставляя его ни на минуту...» (речь идет о Раскольникове) [11]. Повествование ориентировано не только на пространственную точку зрения Раскольникова, но и включает фрагменты его внутренней речи, которые иногда присоединяются непосредственно к авторскому информативному повествованию: «Он уже сошел три лестницы, как вдруг послышался сильный шум ниже,— куда деваться! Никуда-то нельзя было спрятаться... В полном отчаянии пошел он им прямо навстречу: будь что будет! Остановят, все пропало, пропустят, тоже все пропало: запомнят. Они уже сходились; между ними оставалась всего одна только лестница — и вдруг спасение! В нескольких ступеньках от него, направо, пустая и настежь отпертая квартира, та самая квартира второго этажа, в которой красили рабочие, а теперь, как нарочно, ушли. Они-то, верно, и выбежали сейчас с таким криком. Полы только что окрашены, среди комнаты стоят кадочка и черепок с краской и с мазилкой. В одно мгновение прошмыгнул он в отворенную дверь и притаился за стеной, и было время: они уже стояли на самой площадке».

Тем не менее роман развивается в двух временных планах — непосредственно разворачивающиеся события освещаются взглядом из будущего, который появляется в нескольких ответственных сценах романа. Эти выходы за пределы конкретного времени связаны с Соней (сцена признания Раскольникова Соне), Лебезятниковым (сцена с деньгами), но прежде всего с Раскольниковым, в повествование о котором часто врывается память о будущем (подслушанный разговор между Лизаветой и мещанином, из которого Раскольников узнает, когда старухи не будет дома, появление Миколки в конторе Порфирия): «Впоследствии Раскольникову случилось как-то узнать, зачем именно мещанин и баба приглашали к себе Лизавету. Дело было самое обыкновенное и не заключало в себе ничего такого особенного... Но Раскольников в последнее время стал суеверен. Следы суеверия оставались в нем еще долго спустя, почти неизгладимо. И во всем этом деле он всегда потом наклонен был видеть некоторую как бы странность, таинственность, как будто присутствие каких-то особых влияний и совпадений».

Взгляд из будущего нарушает прикрепленность действия к моменту происшествия и временную замкнутость всей композиции, придавая всем событиям характер предопределенности. Неопределенность временной точки зрения побуждает искать ее в эпилоге, который не заканчивает роман, а заставляет вернуться к его началу, и воспринять роман сразу в двух планах — не только как непосредственно развивающееся действие, но и как заново переживаемое, как внутренний путь к воскресению Раскольникова.

Временное раздвоение используется не только как последовательный принцип организации текста, но и как эпизодический прием на фоне повествования, передающего непосредственное восприятие персонажа: «Кити посмотрела на его лицо, которое было на таком близком от нее расстоянии, и долго потом, через несколько лет, этот взгляд, полный любви, которым она тогда взглянула на него и на который он не ответил ей, мучительным стыдом резал ее сердце» (Л. Толстой, Анна Каренина)»; «Теперь Егорушка все принимал за чистую монету и верил каждому слову, впоследствии же ему казалось странным, что человек, изъездивший на своем веку всю Россию, видевший и знавший многое, человек, у которого сгорели жена и дети, обесценивал свою богатую жизнь до того, что всякий раз, сидя у костра, или молчал, или же говорил о том, чего не было» (А. Чехов, Степь).

События прошедшего изображаются как непосредственно происходящие и тогда, когда передаются воспоминания персонажа. В «Вешних водах» Тургенева план настоящего и план прошлого четко разграничены («Вот что он вспомнил»), но авторское повествование о прошлом содержит в

себе множество сигналов, указывающих на непосредственное восприятие и переживание персонажа, в том числе и таких, которые и в современной прозе, в гораздо большей степени соотнесенной с субъектным планом персонажа, чем проза Тургенева, встречаются не часто: «Санин услышал за собою легкие шаги, легкий шум женской одежды... Он обернулся: она!»; «...он услышал, что его зовут... Он тотчас бросился к окну... Джемма!». Сохраняется и хронологическая последовательность событий. Если в романах Достоевского постоянно присутствует взгляд из будущего, то здесь будущее как бы намеренно игнорируется, воспоминание превращается в переживание заново.

Опыт русской литературы XIX—XX вв., а в особенности опыт классической литературы, убеждает в том, что чистота типов повествования и логическая мотивированность их объединения нарушаются довольно свободно.

Осложнение иерархии типов повествования идет в определенных направлениях и приобретает устойчивый характер, отвечая потребностям литературы выйти за пределы имеющихся форм повествования, преодолеть их ограниченность.

На основе объединения элементов разных, в чистом своем виде противоположных и противопоставленных систем возникают более сложные системы, в которых сосуществуют взаимоисключающие элементы, примиренные по «принципу дополнительности» [12].

ЛИТЕРАТУРА

1. *Гуковский Г. А.* Реализм Гоголя. М.—Л., 1959.
2. *Виноградов В. В.* О теории художественной речи. М., 1971.
3. *Виноградов В. В.* Стиль Пушкина. М., 1941, с. 563.
4. *Бахтин М. М.* Проблемы поэтики Достоевского. М., 1972, с. 343.
5. *Виноградов В. В.* О языке художественной литературы. М., 1959, с. 475—476.
6. *Виноградов В. В.* Проблема сказа в стилистике.— В кн.: Поэтика. I. Л., 1926, с. 33.
7. *Успенский Б. А.* Поэтика композиции. М., 1970.
8. *Чудаков А. П.* Поэтика Чехова. М., 1971, с. 129.
9. *Магомедова Д. М.* Парадоксы повествования от первого лица в рассказе А. П. Чехова «Шуточка».— В кн.: Жанр и проблемы диалога. Махачкала, 1982, с. 76—83.
10. *Лихачев Д. С.* Поэтика древнерусской литературы. Л., 1967, с. 323—332.
11. *Достоевский Ф. М.* Полн. собр. соч.: В 30-ти т. Л., 1973, т. 7, с. 146.
12. *Чудаков А. П.* Проблема целостного анализа художественной системы (О двух моделях мира писателя).— В кн.: Славянские литературы. VII Международный съезд славистов. Варшава, август 1973: Доклады советской делегации. М., 1973, с. 97.

ВОПРОСЫ ЯЗЫКОЗНАНИЯ

№ 4 1985

ШВЕД В. И.

СЛОВООБРАЗОВАНИЕ И ТЕКСТООБРАЗОВАНИЕ

(На материале современного немецкого языка)

Становление и развитие теории словообразования в германистике проходило в основном под знаком описательного, таксономического подхода к исследованию явлений словообразования. Главным, а порой и единственным объектом этой лингвистической дисциплины признавалась система словообразовательных средств, способов и моделей, релевантных на синхронном уровне анализа. В результате такого подхода получены ценные данные относительно принципов структурно-семантической организации, основных единиц словообразования и закономерностей словопроизводства, осуществлено моделирование словообразовательных систем [1—3]. Накоплен значительный фактический материал, достигнут такой уровень описания, который дает возможность перейти к качественно новому этапу словообразовательного анализа — изучению закономерностей и особенностей использования системы словообразовательных средств и моделей в тексте. В настоящее время объектом исследования становятся процессы функционирования, реализации в речи выделенных и классифицированных единиц словообразования, что предполагает соотнесение словообразовательного анализа с текстообразовательным. Именно текст отражает процессы отбора, сочетания, употребления языковых, в том числе и словообразовательных, средств, сложившихся в определенных исторических и общественных условиях. Текст является основным языковым элементом коммуникации в отличие от других единиц языка — слов, предложений и т. д., т. е. элементов системы языка [4].

Цель настоящей статьи состоит в том, чтобы показать место и роль словообразования в осуществлении речевой коммуникации и особенности его функционирования в текстах.

Среди многих определений текста наиболее удачным для целей данного исследования представляется определение Э. Агриколы, согласно которому текст — это языковой комплекс, образованный по правилам грамматики, создающий содержательно законченную, протяженную, конечную, интегрированную и упорядоченную последовательность предложений, которые обеспечивают линейное развертывание темы [5]. Во-первых, данное определение дает возможность исследовать текст в динамике его порождения, проникнуть в механизм процессов построения текста, во-вторых, оно ставит на повестку дня вопрос о языковых средствах и способах развертывания текста; в-третьих, тезис о смысловом опорном пункте текста подкрепляется данными психолингвистических исследований и экспериментов [6—8], и, наконец, оно максимально ориентировано на структуру речемыслительных (коммуникативных) процессов языкового общения, носит динамический характер в противовес статическому пониманию текста как застывшего продукта речевой деятельности. Представляется возможным дополнить данное определение лишь одним, на наш взгляд, существенным положением о связности: как бы ни различались между собой отдельные подходы к изучению проблем текста, по одному вопросу в них наблюдается абсолютное единство взглядов — текст не мыслим вне связности [9].

Исходя из изложенного выше понимания текста при анализе фактического материала мы различаем три основных функции словообразовательных средств, способов и моделей, реализующихся в процессах коммуника-

ции: а) функцию тематической организации высказывания/текста; б) функцию обеспечения связности (когезии) речи; в) стилистико-композиционную функцию (способность употребляться в качестве стилистического или композиционного приема построения речевого высказывания).

Тематическое развертывание текста заключается в раскрытии содержания, детализации, конкретизации, объяснении понятий, образующих основное содержание высказывания [10]. Отвлеченный комплексный характер значения словообразовательных единиц, семантико-функциональная корреляция большинства производных слов с синтаксическими структурами [11, 12] обусловливают возможность употребления вторичных (производных) наименований в качестве названий «микротем» речевого высказывания. В таких случаях значение «микротемы» раскрывается содержанием последующего речевого отрезка (фразы, логического единства, абзаца), а иногда и всего текста (тогда словообразовательная единица служит обозначением «гипертемы» [13] текста). При этом следует различать две основные разновидности употребления производных слов в функции обозначения микротем или гипертем текста.

1) Производное слово находится в препозиции к последующему отрезку высказывания, предваряет его содержание, «задает» основное направление дальнейшего изложения. Значение производного слова служит исходным пунктом при дальнейшем развитии мысли и одновременно является планом (проспектом) изложения, реализующимся в ходе построения, развертывания текста, ср.: «Mit diesen Gedanken macht sie (Anna) sich auf *den Spritzenweg. Den nennt sie so, weil sie jeden Tag ein paar Leute im Dorf mit Injektionen versorgen* muß...» [«Neue Deutsche Literatur» (далее — NDL), 1979, 7]. Все последующее содержание абзаца раскрывает, уточняет микротему, выраженную сложным словом *der Spritzenweg*. «*Ein Selbständiger steht selbst da.* Jeder steht selbst da, wenn er stehen gelernt hat. Aber *der Selbständige steht besser, steht sicherer, steht schöner, auffälliger und unerschütterlicher da als nur ein gewöhnlicher, nicht selbständiger, sondern nur* selbstehender Mann» (NDL, 1978, 9). Производное слово *der Selbständige*, возникшее в результате субстантивации наречия *selbständig*, является микротемой приведенного выше логического единства, все содержание которого направлено на объяснение, описание значения понятия *der Selbständige*.

Часто встречаются случаи, когда производное слово употребляется для обозначения гипертемы высказывания (темы всего литературного произведения, текстовых единств высшего порядка: параграфов, разделов, глав). В таких случаях содержание параграфа, главы, художественного произведения как бы иллюстрирует значение производного слова, представляет собой линейное развертывание сложной смысловой структуры данного слова, исчерпывающее изложение его смысла, т. е. значения, вытекающего из данной конкретной ситуации, из контекста данного художественного произведения. Таковы, например, названия писем, адресованных писателем из ГДР Рихардом Кристом своей дочери и опубликованных в виде новелл в журн. NDL, 1979, 3: *Regenbrief aus Havanna*, *Mondbrief aus Havanna*, *Sonnenbrief aus Havanna*, *Karnevalsbrief aus Havanna*. Окказиональные сложные слова *Regenbrief*, *Mondbrief*, *Sonnenbrief*, *Karnevalsbrief* осмысляются, наполняются конкретным содержанием на фоне всего соответствующего текста, адекватное декодирование их значения возможно лишь с опорой на общий семантический фон высказывания. В качестве аналогичных примеров можно привести названия романов «Die Vorstadtkindheit» К. Г. Рерихта, «Klappersteine» Ю. Борхерта, «Die Krallenwurzel» П. Якубайта и др., стихотворений «Inselherbst» А. Раймана, «Unschlaf» Э. Арендта и др.

2) Производное слово употребляется в постпозиции по отношению к тому фрагменту высказывания, содержание которого оно заключает в себе. В таких случаях словообразовательная единица суммирует, резюмирует смысл предыдущего речевого отрезка, подводит итог изложению микротемы. Чаще всего для обозначения микротем, гипертем текстов или текстовых единств употребляются окказиональные производные слова со

сложной смысловой структурой, отчетливо выраженными смысловыми отношениями элементов внутри слова, с отдаленными значениями сочетающихся компонентов, что обусловливает сложность их однозначного толкования, синсемантию подобных лексических единиц. Их возникновение продиктовано в большинстве случаев потребностями коммуникации: замыслом автора, ситуацией общения, особенностями адресата, предметом сообщения, структурой языка. Подчеркнем, однако, что в данном случае выбор из ряда сходных по значению выразительных возможностей, имеющихся внутри языка, происходит не на уровне «готовых» лексических единиц, а на уровне моделей, правил, закономерностей порождения этих единиц, сложившихся в языковом сознании отправителя информации, т. е. носит не селективный, а операциональный характер. Необычное, нестандартное по форме обозначение микротемы или темы всего речевого высказывания способствует ее выделению, запоминанию, заостряет на ней внимание адресата. Тем самым реализуется принцип построения речевой коммуникации, сформулированный М. Риффатером: «поскольку предсказуемость приводит к эллиптическому декодированию, важнейшие элементы должны быть непредсказуемыми» [14]. Словообразовательная единица в таких случаях превращается из слова-наименования в «слово-знак ситуации», благодаря диффузности и отвлеченности своего значения она «вбирает» в себя содержание целого фрагмента речевого высказывания (фразы, логического единства, абзаца, текста), выступая в качестве смыслового ядра этого высказывания, его темы. Причем чаще всего производное слово является не просто знаком, лексическим субститутом определенной ситуации, но и отображает ее в образной форме, вызывает в памяти адресата высказывания образ ситуации путем обозначения ее наиболее ярких, запоминающихся, существенных элементов или признаков. В таких случаях возможно дистантное расположение темы, выраженной производным словом, и речевого отрезка, который используется для ее развертывания. Словообразовательная единица наряду с функцией тематической организации текста выполняет связующую функцию и служит речевым сигналом замещаемой ситуации, ср.: «...Und weitere nie erlöschende Erinnerungszeichen sind das Apfelmus und der Apfelkuchen. Immer stand mittags vor Vaters und nur vor Vaters Platz ein Tellerchen mit Apfelmus und immer mußte abends ein Apfelkuchen für ihn bereitstehen... Diesen Apfelkuchen haben in einer früheren Epoche Gretes hungrige Kinderaugen sehr neidvoll betrachtet und in ihrer Erinnerung lebt Vater als ein harter und egoistischer Mann» (NDL, 1979, 6). В ходе дальнейшего изложения романа автор неоднократно употребляет окказиональные сложные слова *meine Apfelerinnerung*, *die Apfelkuchen-Gefühle*, которые соотносятся с соответствующей ситуацией. Тем самым находят свое подтверждение выводы А. А. Смирнова о том, что восприятие и членение текста осуществляется на основе его смыслового содержания, текст членится по темам, тематическим кускам, которые можно представить в виде своеобразной «смысловой точки», «смыслового пункта» [15]. На этой закономерности базируется употребление производных слов в качестве темы различных фрагментов содержания текста.

Более сложные отношения наблюдаются в тех случаях, когда словообразовательные единицы используются в целях структурно-семантической организации текста в целом. В качестве примера можно привести фельетон, опубликованный в журнале «Eulenspiegel» (1981, 50) под названием «Ein ganz besonderer Wasser-Fall», в котором речь идет о проблемах строительства фонтанов в городах ГДР. Ключевое понятие данного текста выражено лексемой *der Brunnen*. Данное понятие уточняется, конкретизируется рядом сложных определительных слов: *der Springbrunnen*, *der Tropfbrunnen*, *der Coudray-Brunnen*, *der Kurzzeitbrunnen*, *der Spiel- und Sprungbrunnen*, *der Mehrzweckbrunnen*, *der Jungbrunnen*, *der Mendebrunnen*, *der Trockenbrunnen*, *der Trinkbrunnen*, *der Schockbrunnen*, *der Gedächtnisbrunnen*, *der Spritzbrunnen*, *der Sitzbrunnen*. Приведенные сложные слова образуют единую семантическую цепочку, объединяющую текст, обеспечивающую его связность, и в то же время предстают в качестве мик-

ротем тех смысловых групп, логических единств, на которые членится весь текст.

Второй важнейшей коммуникативной функцией производных слов является осуществление ими связности содержания высказывания. Можно выделить два основных типа связности, конструируемой словообразовательными средствами. К первому относится связность радиального типа, когда производные слова связывают не непосредственно прилегающие части текста / высказывания, а смысловые единства в составе этого текста. В таких случаях, выступая тематическим центром логических единств текста, они соотносятся с темой текста, раскрывают, уточняют, конкретизируют ее в ходе изложения, образуя при этом относительно замкнутые тематические цепочки. Примером связности такого типа может послужить текст из газеты «Bauern-Echo» (1981, 80), в котором речь идет о «тестовых играх» (Testspiele) для пионеров. Весь текст расчленен на отдельные разделы, название каждого из которых выражено сложными словами, конкретизирующими гипертему текста «Testspiele»: *Orientierungstest*, *Reaktionstest*, *Tempotest*, *Sortiertest*, *Gleichgewichtstest*, *Morsetest*, *Konditionstest*, *Krafttest*, *Zieltest*, *Kopplungstest*, *Muttest*. Содержание разделов текста представляет собой речевое развертывание микротем, обозначенных приведенным выше рядом сложных слов. Аналогичный тип связности встречается, например, в эссе И. Эрпенбека о проблемах художественного творчества. Ключевым понятием одной из глав эссе является термин «Wertung». В процессе анализа данного понятия автор расчленяет его, выделяет разновидности данного понятия, обладающие известными специфическими свойствами, причем результат этого расчленения предстает в тексте в виде ряда определительных сложных слов со вторым компонентом- *wertung*: *die Eigenwertung*, *die Selbstwertung*, *die Formwertung*, *die Vorlagewertung*, *die Darstellungswertung*. Каждое из этих сложных слов выступает в качестве микротемы соответствующего логического единства, изложение главы представляет собой последовательное развертывание данных понятий, соотносящихся с темой всей главы.

Значительно чаще словообразовательные единицы употребляются в качестве средства межфразовой связи, реализуя связность линейного типа. В таких случаях непосредственно прилегающие части текста связываются друг с другом с помощью различных словообразовательных средств. Наиболее распространен анафорический тип линейной связи, когда словообразовательные единицы отчасти повторяют содержание предыдущей фразы, отсылают внимание адресата к смыслу предшествующего сегмента высказывания, ср.: «Zu jeder Kunst gehören zwei: *einer*, *der sie macht*, und *einer*, *der sie braucht*. *Dieses Gebrauchtwerden* und *unser Wirkenwollen* gehören untrennbar zusammen...» (Neue Zeit, 1981, № 121); «*Ehrlich sein* müßte sie (die Schulkameradin.— *Ш. В.*) sowieso. *Ehrlichsein* ist das Wichtigste» (Temperamente, 1979, 2). Часто встречается также катафорический тип линейной связи, при котором производные слова предваряют изложение последующего отрезка высказывания, ср.: «Die Jungen (Schnepfenvögel) sind *Nestflüchter*. *Bereits wenige Stunden nach dem Schlüpfen verlassen sie das Nest und wachsen in der Umgebung heran*» (Neue Berliner Illustrierte, 1980, 37, Jg. 21). Отметим возможность осуществления дистантной связи между компонентами речевого высказывания при помощи словообразовательных средств, которая представляет собой разновидность линейной связи, т. к. замыкается рамками логического единства или абзаца, ср.: «Sie (die Neger.— *Ш. В.*) *bewegten sich zum Takt der Musik zwei Schritte nach rechts*, *zwei nach links*, *immer abwechselnd*. Dabei kamen sie nur langsam vorwärts. Ihnen folgten vier mit an Stangen hängenden, bestickten Bannern. Wieder dahinter kam ein langer Zug, immer vier junge Männer nebeneinander, die machten außer *ihren Rechts-Links-Schritten* heftige Bewegungen mit dem Oberkörper und den Armen...» (NDL, 1978, 10).

Элементы словообразовательной системы языка могут использоваться в процессах коммуникации в качестве стилистико-композиционных приемов построения текста. Здесь также имеет место прежде всего употребле-

ние окказиональных производных слов или таких вторичных наименований, которые осознаются в качестве членимых или конструируемых лексических единиц. При этом нередко наблюдается возникновение слов непосредственно в речи как результат актуализации сформировавшегося в языковом сознании динамического стереотипа, который сложился вследствие большого числа прошедших через память носителя языка слов, созданных по той или иной языковой модели. Окказиональное слово обладает семантическим эффектом новизны, заставляет почувствовать, ощутить внутреннюю форму лексической единицы, осмыслить способ ее образования, создает эффект присутствия адресата при построении лексической единицы. Употребление подобных производных слов приводит к активизации языкового восприятия. Диапазон функционирования окказиональных производных слов чрезвычайно широк, в одних случаях они служат исключительно выразительным (экспрессивным) целям, в других — создают сложный эстетический образ, способствуют достижению художественного замысла автора, в третьих — обслуживают установку на выражение чувств, настроений героя или автора произведения, т. е. реализуют «импрессивную» функцию. Языковая форма в таких случаях становится объектом целенаправленного творческого поиска: целенаправленность отбора в свою очередь предполагает специальное отношение к средствам словообразования, обусловливает установку на языковую форму, на определенный способ передачи информации.

Одним из распространенных стилистических приемов, используемых авторами художественных и публицистических текстов, является «псевдомотивация» внутренней формы, поэтическая этимология, индивидуальное авторское прочтение смысловой структуры словообразовательной единицы. В таких случаях, как правило, используется мнимое или же угасшее в языковом сознании сходство сопоставляемых в тексте слов по корню [16, 17]. Ср.: «Nächte, in denen man mit müden Füßen läuft, sind überall die gleichen. Zumal wenn der Himmel *verhangen ist* und aus *diesem Verhängnis* Wasser niederschlägt» (Temperamente 1978, 2). В этом примере автор намеренно актуализирует в сознании адресата прямое (не существующее в языковой норме) значение производного слова *das Verhängnis* посредством указания на глагол *verhängen*, в результате чего создается двусмысленность, возможность двойного истолкования значения лексемы *das Verhängnis*. Возможно также авторское истолкование значения того или иного слова, авторское прочтение его смысла, иногда подкрепленное графическими средствами.

Довольно часто авторами текстов используется стилистический прием усиления звучания языковой внутренней формы производного слова, подчеркивания смысла, заключенного в нем. Данный эффект достигается либо противопоставлением одномодельных производных слов, часть из которых является в значительной степени лексикализованными единицами, а другая часть предстает в виде отчетливо членимых слов, либо графическими средствами, ср.: «Hier spricht nicht *ein „Besser-Wisser“* sondern *ein „Mehr-Wisser“* . . .» (NDL, 1979, 9).

Метафорическое словообразование также осуществляется в основном в процессах коммуникации. В основу мотивировки производного слова в таких случаях кладутся не логические взаимоотношения между его составными частями, а целостный авторский образ, ср.: «Das hätte ich nie vermutet... Da sieht man, wie irrig man einen Menschen einschätzt, habe dich immer für einen zu braven Bürger gehalten, *Krawattenbürger*». (NDL, 1978, 3); «Die beiden (Dr. Kalinowski und Dr. Slawinski.— *Ш. В.*) sind *Vollblutwissenschaftler* und *Vollblutpraktiker*...» (Freie Welt, 1981, № 7).

Анафорическое словообразование имеет место в тех случаях, когда в соответствии со структурно-семантической моделью, существующей в языке, вместе со стоящими рядом в речевом высказывании производными словами употребляется авторский неологизм (окказиональное производное слово). Ср.: «Es gilt sie (die Überzeugung.— *Ш. В.*) nicht nur *vorzutragen*, sondern auch *vorzuleben*...» (Neues Deutschland, 1981, N 58);

«Aber wenn man will, kann man *sich* an solch einem Stapel auch lange *festhalten*, *festgucken*, *festlesen*» (NDL, 1978, 9).

Особый интерес представляют случаи каламбурного словообразования, когда словообразовательные средства выполняют функцию выражения сугубо индивидуальной мысли, т. е. аффективного и эстетического содержания, реализуют стилистический прием комики и гротеска.

На основе анализа приведенных выше примеров можно сделать следующий вывод: окказиональные слова, авторские неологизмы, потенциальные производные слова с отчетливо членимой внутренней формой не возникают и не употребляются в тексте в результате языковой игры, как проба языкотворческих сил индивидуума, как искусство словесного творчества ради искусства, не являются результатом механической реализации словообразовательных закономерностей, правил, норм. Они образуются и функционируют в рамках связного целого, вытекают из него, обусловлены этим целым. Являясь неотъемлемой стилевой чертой, стилистическим элементом текста, они несут на себе печать экспрессивности, необычности, приостанавливают автоматизм восприятия речи и нацелены на самовыражение или на личностное выражение [18]. Их употребление всегда имеет своей целью достижение частных коммуникативных задач автора высказывания по ходу развертывания основного тезиса, темы текста. Тем самым подтверждается вывод С. Ульмана о больших стилистических возможностях морфологической и семантической мотивации слов [19].

Отдельного рассмотрения заслуживает вопрос о роли и месте словообразовательных средств в композиционном развертывании текста.

Подводя итог изложенному выше, отметим следующее.

1. Общим для всех трех выделенных коммуникативных функций словообразовательных средств и моделей является то, что они основываются на объективных свойствах производных слов как особого типа языковых знаков. К числу этих свойств относятся членимость, воспроизводимость, реляционный характер значения, семантические корреляции с языковыми единицами других уровней, вхождение в различные структурно-семантические ряды противопоставлений [«корневое слово (производящая основа) — производное слово»; «производное слово — однокорневые производные слова», «производное слово — одномодельные производные слова»], абстрагирующий, обобщающий характер словообразовательной семантики, способность производных слов к семантическому развертыванию.

2. При «выходе» словообразовательного анализа в текст происходит своеобразная «переоценка ценностей»: главным объектом исследования становятся не лексикализованные или канонизированные производные слова, а потенциальные и окказиональные образования, авторские неологизмы или же такие словообразовательные единицы, которые, хотя и вошли в языковое употребление, воспринимаются как членимые, конструируемые.

3. Производные слова рассматриваются не в качестве готовых, данных в системе языка элементарных воспроизводимых «сгустков» содержания, а в качестве единиц, возникающих в процессе конструирования языкового содержания, осуществляющегося в ходе речевой деятельности для достижения частных коммуникативных целей.

4. Сказанное выше не только не исключает возможности использования старой формы с новым осмыслением, противопоставления лексикализованного и окказионального, а наоборот, предполагает эту возможность.

5. Словообразование в речевой деятельности следует рассматривать как одну из разновидностей коммуникативной номинации в целях осуществления речевой деятельности, в основе которой лежат динамические стереотипы словопроизводства, существующие в сознании носителей языка и отражающие сложившиеся в той или иной языковой системе структурно-семантические модели образования новых слов.

ЛИТЕРАТУРА

1. *Степанова М. Д.* Методы синхронного анализа лексики. М., 1968.
2. *Мешков О. Д.* Словообразование современного английского языка. М., 1976.
3. *Marchand H.* The categories and types of present-day English word-formation. München, 1969.
4. *Колшанский Г. В.* Текст как единица коммуникации.— В кн.: Проблемы общего и германского языкознания. М., 1978.
5. *Agricola E.* Vom Text zum Thema.— In: Studia grammatica. XI. Berlin, 1976, S. 13.
6. *Смирнов А. А.* Проблемы психологии памяти. М., 1966.
7. *Выготский Л. С.* Мышление и речь. М.— Л., 1934.
8. *Лурия А. Р.* Язык и сознание. М., 1979.
9. *Кожевникова Кв.* Об аспектах связности в тексте как целом.— В кн.: Синтаксис текста. М., 1979.
10. *Daneš F.* Functional sentence perspective and the organization of the text.— In: Papers on functional sentence perspective. Praha, 1974.
11. *Степанова М. Д.* К вопросу о семантических корреляциях синтаксических и словообразовательных структур.— В кн.: Проблемы синтаксической семантики: Материалы научной конференции. М., 1976.
12. *Сахарный Л. В.* Словообразование в речевой деятельности (Образование и функционирование производного слова в русском языке): Автореф. дис. на соискание уч. ст. докт. филол. наук. Л., 1980.
13. *Daneš F.* Zur semantischen and thematischen Struktur des Kommunikats.— In: Studia grammatica. XI. Berlin, 1976.
14. *Риффатер М.* Критерии стилистического анализа.— В кн.: Новое в зарубежной лингвистике. Вып. IX. М., 1980, с. 73.
15. *Смирнов А. А.* Проблемы психологии памяти. М., 1966, с. 175.
16. *Schippan Th.* Einführung in die Semasiologie. Leipzig, 1975, S. 60—61.
17. *Ullmann St.* Grundzüge der Semantik. Die Bedeutung in sprachwissenschaftlicher Sicht. Berlin, 1967, S. 166 ff.
18. *Ханпира Эр.* Окказиональные элементы в современной речи.— В кн.: Стилистические исследования (На материале современного русского языка). М., 1972, с. 305.
19. *Ullmann St.* Stylistics and semantics.— In: Literary style: A symposium. Ed. by Chatman S. London — New York, 1980.

ВОПРОСЫ ЯЗЫКОЗНАНИЯ

№ 4 1985

ТУРАЕВА З. Я., БИРЕНБАУМ Я. Г.

НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ КАТЕГОРИИ КОЛИЧЕСТВА

(На материале английского языка)

Количественная определенность характеризует все виды и формы материи. Как отражение количественной определенности бытия и логическая, и языковая категории количества предстают как наиболее универсальные категории [1]. Многоплановость количественных характеристик реальности обусловливает многообразие представления количества в различных языках. В настоящей статье рассматривается категория количества на материале английского языка. Целью анализа является выделение наиболее существенных содержательных подразделений в рамках этой категории.

Первую особенность количества мы называем онтологической триадой, т. к. она касается основных категорий, выделяемых в сложной структуре бытия,— предметов, процессов и признаков. Члены этой тернарной оппозиции называются соответственно предметоколичеством, процессоколичеством и признакоколичеством. Содержание предметоколичества составляет счет предметов (дискретных пространственных единиц) или их частей и мера недискретных материалов. Содержанием процессоколичества является либо счет отдельных разобщенных процессов или частей одного процесса (кратность), либо протяженность непрерывного процесса во времени. Признакоколичество — это мера интенсивности предметного или процессного качества. Онтологические виды количества получают преимущественное выражение в языке посредством категориальных значений частей речи, присущих им словообразовательных и формообразовательных средств и характеризующей их сочетаемости. Предметоколичество выражается существительными (шире — именами), процессоколичество — глаголами, признакоколичество — прилагательными и наречиями. Итак, четыре кардинальных части речи вовлечены в выражение категории количества и, в свою очередь, сами конституируются как части речи в соответствии с тем, как в них отражается и проявляется категория количества. Числительные являются специальной частью речи для выражения предметоколичества непосредственно, а через посредство адвербиальных сочетаний — и процессо- или признакоколичества (*to meet three times*, *three times heavier*). Наречия меры и степени типа *very*, *too*, *extremely* и др. служат специально для передачи признакоколичества. Наречия времени, а также некоторые наречия образа действия (*constantly*, *intermittently*) обслуживают сферу процессоколичества. При образовании статива (категории состояния) из имен, предложно-именных сочетаний, прилагательных или наречий одним из основных внутренних сдвигов в новой части речи является появление способности выражать процессоколичество в предикативной функции: *He was always aglow with the satisfaction of a season's work.*

Элементарным средством передачи количества является повтор. Он способен выявить основные количественные семы своего онтологического вида: повтор непредикативного имени — множественность, повтор глагола — продолженность или кратность, повтор прилагательного или наречия — интенсивность: *There were rows and rows of houses*; John still coughed and coughed; He would *have been very*, *very good* [ср. 2].

Регулярными средствами выражения предметоколичества служат числительные и счетные имена (*dozen*, *couple*), категория числа имени, коли-

чественные местоимения (*many*, *little*, *all*), собирательные существительные, сложные и производные существительные с корнями, связанными с числом (*duplicate* «дубликат», *ninepins* «кегли»), а также ряд однородных членов. Для того чтобы включить предметы в одно число, они должны быть объединены как однородные. Именно это достигается синтаксически, когда разные слова сводятся в однородный ряд [3]. В общем случае к предметоколичеству относятся не только однородные имена, но и однородные глаголы, прилагательные и наречия, поскольку их перечисление организует отдельные сущности в расчлененную на единицы количественную общность. Далее предметоколичество передается формами числового согласования глагола, прилагательного и других частей речи: *The boy is reading — The boys are reading*; в русском примере *Солдаты спрыгнули в окоп* предметоколичество выражено дважды (в окончании существительного и в окончании глагола). Если употребить глагол несовершенного вида (*Солдаты попрыгали в окоп*), то в нем будет выражено несколько действий и появится также признак процессоколичества.

В английском языке длящийся процесс, составляющий смысловую сущность длительного вида, передается такими лексическими индикаторами, как *these days*, *for a long time*, *during three hours*, *all Saturday night* и др.; глагольными основами, имеющими лексическое содержание длительности: *linger*, *last*, *wait*, *watch* и др.; стативом: *afraid*, *aflame*, *aware* и др.; сочетанием инфинитива и герундия с фазовыми глаголами начала, продолжения и завершения; сочетанием глагола с послелогом (наречием) *on* и другими средствами. Повторное, многократное действие выражается сочетанием инфинитива с *would*, *will*, *used* (*to*) и их эквивалентами *be in the habit* (*of*), *it is customary*; лексическими средствами обозначения повторяющегося действия (это могут быть как средства цикличной, так и неопределенной повторяемости: *twice*, *three times*, *over and over again*, *more than once*, *often*, *sometimes*, *repeatedly*, *rhythmically*, *intermittently* и др.); глаголами с основами одноактного содержания: *drop*, *jump*, *jerk* и др., употребленными в контексте со значением длительности (*He patted her hand*); глаголами с фреквентативным суффиксом *-le/-er*: *cackle* «кудахтать», *stutter* / «заикаться»; некоторыми сложными глаголами с первым элементом, имеющим числовое значение: *double-lock* «запереть, повернув ключ в замке два раза»; *double-dyed* «дважды окрашенный», *twice-told* «рассказанный дважды, известный» и некоторыми другими средствами. Повторение процесса выражается глаголами с префиксом *re-*: *recheck* «вновь проверить», *retry* «вновь попытаться»; темпоративами *again*, *for the fifth time* и др. Есть много способов передачи порядка процессов. Например, в сложноподчиненном предложении с темпоральными союзами *whenever* и его эквивалентами — *every time*, *each time* сопоставляются два процесса по кратности, с *while*, *as*, *as long as* — по длительности. Количественное сопоставление процессов может производиться в рамках сравнительных сложноподчиненных предложений, например: *I've worked half again as many hours as I should, and sometimes twice as many.*

Для передачи признакоколичества служат степени сравнения, наречия меры и степени и их эквиваленты *more than*, *less than*, *better than* и др., образующиеся при переразложении сравнительных конструкций (*In another couple of months I should be better than new*); элатив, совпадающий по форме с превосходной степенью (*a most strong man*), образные сравнения и их словообразовательные свертывания (*white as snow* ~ *snow-white*); релаксивный суффикс *-ish* (*whitish*); сложные слова с первым компонентом, передающим часть целого, например, *half-conscious* «полусознательный», *semi-precious* «полудрагоценный»; слова с интенсифицирующими префиксами *over-*, *out-*, *super-*, *hyper-* и передающим недостаточную интенсивность *under-*, например, *over-curtly* «сверхкратко», *outbrave* «превосходить храбростью», *super — fine* «чрезмерно утонченный», *hypercritical* «придирчивый, слишком строгий», *underdo* «недожарить» и другие средства. К этому можно добавить отглагольные существительные, например, *over-action* «сверхактивность». Они передают не свойственное им как частям речи процессо- и предметоколичество, а интенсивность, т. е. признако-

количество. Наряду с типичным проявлением в закрепленных за ними частях речи и их сочетаниях выделенные выше онтологические виды количества могут проявляться в нетипичных условиях. Разграничение онтологических видов количества позволяет подойти дифференцированно к переходным и периферийным явлениям. Так, предметоколичество может выражаться полиактантными глаголами, содержащими указание на множество агенсов, пациенсов и т. д. или на массу вещества: *to assemble* «собираться, собирать», *to dot* «усеивать, испещрять», *to gush* «хлынуть». Префикс существительных *ex-* и постпозитивное сочетание *to-be* выражают предшествование и следование, т. е. порядковое процессоколичество: *ex-president* «бывший президент, *president to-be* «будущий президент».

Признакоколичество довольно часто передается в глаголах и существительных. Сигнификативные существительные [4, 5] получают интенсифицирующую характеристику с помощью прилагательных, передающих меру качества (*great*, *long*, *deep* и др.), а глаголы с помощью соответствующих наречий. Если глаголы не статичны по содержанию, они могут модифицироваться наречиями меры и степени (*so*, *how*, *quite*). В сочетаниях глаголов широкой семантики *have*, *take*, *give*, *make* и др. с отглагольным именем прилагательные передают интенсивность процесса: *I must have a good look at him*. Диминутивные суффиксы существительных также передают признакоколичество: *cloudlet* «облачко», *chickling* «цыпленочек». Характерно, что диминутивные суффиксы не прибавляются к неисчисляемым существительным. Мы объясняем это тем, что в таком случае они могли бы быть интерпретированы как выражение меры вещества, т. е. предметоколичество. Фреквентативный суффикс *-le/-er*, кроме основного процессоколичественного значения, может содержать и признакоколичественное значение низкой интенсивности процесса: *fizzle* «слабо шипеть», *riffle* «слегка греметь», *whiffle* «слабо дуть» [1].

Вторая особенность категории количества упоминалась еще Аристотелем. Это оппозиция «расчлененность/нерасчлененность». В разных терминах («прерывистый», «точечный,» «дискретный», «сплошной», «непрерывный», «недискретный») это свойство описывалось ранее [7; 1, с. 227 и сл]. Расчлененное количество определяется посредством счета, нерасчлененное — посредством измерения. Нерасчлененное количество осознается как результат сопоставления, в частности, с какой-то естественной или искусственной конвенциональной единицей. Эта особенность отражается в категории числа имени. Только исчисляемые существительные имеют эту категорию, у неисчисляемых она нейтрализуется; член нейтрализации выступает либо в форме ед. ч. (*water*), либо мн. ч. (*dregs* «осадок»), т. к. форма числа для имен облигаторна. Даже в ед. ч. (слабый член числовой оппозиции) расчлененность находит во многих языках эксплицитное выражение в неопределенном артикле, имеющем осознаваемую носителями языка связь с числительным «один». Расчлененность невозможна без понятия единицы — один предмет, одна единица измерения, однократный процесс. Поскольку не существует кванта интенсивности, признакоколичество, как правило, не может быть расчлененным.

Расчлененность / нерасчлененность выражается не только в делении существительных на исчисляемые и неисчисляемые, но и в оппозициях *many/much*, *few/little*. Только имена, передающие расчлененность непосредственно, сочетаются с числительными и такими словами, как *several*, *numerous*. Только для них характерно сочетание корня с морфемами *bi-*, *poly-*, *multi-*, *many-*: *bipedal* «двуногий», *polyglot* «полиглот», *multibarrelled* «многоствольный», *many-storied* «многоэтажный». Для передачи нерасчлененного количества необходима единица измерения — фут, метр, тонна, литр, калория, сутки и т. д.: *a ton of sand*, *tons of sand*, *a five minutes' walk* и др. Кроме конвенциональных единиц измерения с абстрактными существительными употребляются слова типа «часть», «отрезок»,

---

[1] Возможна иная систематизация средств выражения категории количества по уровням языковых единиц [6].

период», «доля» — *piece*, *item*, *act*, *stroke*, с вещественными — названия вместилищ: *cup*, *glass*, *spoon*, *bottle*, *barrel*, используемые метонимически или образующие производные с *-ful*: *two acts of kindness*, *a few ladlefuls of porridge*. С квантификаторами, служащими для измерения нерасчлененного количества, могут сочетаться прилагательные, передающие оценку размера: *a large chunk of property*.

Собирательные существительные типа русских *зверье*, *жулье*, *юнкерье* служат средством представления расчлененного количества (ср. *звери*, *жулики*, *юнкера*) как нерасчлененного. В английском языке им соответствуют собирательные имена типа *furniture* «мебель», *traffic* «транспорт, движение». Каждое из этих имен охватывает множество дискретных единиц: *a chair*, *a table*, *a wardrobe*; *a car*, *a lorry*, *a bus*; однако существительные *furniture*, *traffic* употребляются только в ед. ч. и к ним не применим счет.

Во многих английских существительных оппозиция «расчлененность/ /нерасчлененность» сигнализирует различие между лексико-семантическими вариантами слова, например, *a duck — ducks* «утка — утки» и *duck* «утятина»; *a lamb — lambs*, «ягненок — ягнята» и *lamb* «мясо молодого барашка»; *a rock — rocks* «скала — скалы» и *rock* «скальная порода»; *a detail — details* «деталь— детали» и *detail* «мера подробности» в выражении *in more detail*.

Множественное число мер времени, пространства, веса и др. может соотноситься с ед. ч. и мн. ч. глагола или местоимения: *The ten miles was* (*were*) *mostly downhill*.

Различия между лексико-семантическими вариантами одного и того же слова объясняют колебания в употреблении числа глагола-сказуемого после подлежащего, выраженного местоимениями *who*, *none*, существительными *politics*, *works*, *headquarters*, *clergy*, *jury* и др. Ср., с одной стороны, *The cement works was working night shift again* и, с другой стороны, *The cement works were closed on Sunday*; *None of us has changed a bit* и, с другой стороны, *None of us have changed a bit*; *Politics was taken seriously in the family* и, с другой стороны, *Politics were taken seriously in the family*.

В сфере предметоколичества расчлененность и нерасчлененность тесно взаимодействуют. Обратим внимание на тенденцию замены показателя расчлененности *fewer* на показатель нерасчлененности *less* в сравнительных конструкциях (не без влияния антонимичных *many* и *much*, у которых совпали сравнительные степени): *He will read less books than you suppose*.

Процессоколичеству, наоборот, присуща нерасчлененность. Грамматическим средством выражения длительности действия в английском языке являются формы длительного вида. Продолжительность нерасчлененного процесса передается и лексическими индикаторами времени: *for a long time*, *all year round*, *for three weeks* и др. Однако процесс может восприниматься и как прерывистый, расчлененный- Так, в семантический потенциал всех видовременных форм английского глагола входит сема кратности действия [8, с. 200 и сл.]. Реализации: этой семы способствуют и лексические средства выражения определенной (цикличной) или неопределенной повторяемости действия: *thrice*, *five times*, *every Sunday*, *daily*, *from time to time*, *occasionally* и др.

Другим условием передачи расчлененности процесса является определенный тип контекста, в котором действие соотнесено с другим действием или ситуацией. При этом соотнесенные друг с другом действия повторяются. Употребление форм длительного вида в сочетании с лексическими показателями кратности действия (совмещение сем кратности и длительности) актуализирует экспрессивно-эмоциональные созначения формы: *He was always telling us to think hard*.

Значительную роль в передаче процессоколичества играет видовая характеристика глаголов. Предельные глаголы легко сочетаются с лексическими индикаторами расчлененного действия: *He came twice*; *He regularly brought us new books*. Сочетание этих глаголов с показателями длительности действия менее обычно: *He was bringing us books for a long*

time. Непредельные глаголы свободно сочетаются с лексическими индикаторами нерасчлененного и расчлененного действия, хотя с первыми их сочетания более обычны. Многие средства выражения процессоколичества, перечисленные выше (длительный вид, послелог *on*, фазовые глаголы, повтор), могут передавать и расчлененный, и нерасчлененный процесс. Это относится к средствам, за которыми закреплено значение кратности действия: *For a while he would forget it and then it would steal back.*

Большую роль для выявления расчлененности/нерасчлененности играют глаголы со значением однократности и непрерывности действия. В английском языке нет таких средств выражения однократности, как русский суффикс *-н-*(*кольнуть*, *боднуть*), префикс *с-*(*сходить*, *сбегать*), или таких форм, как *бац*, *прыг*. Одноактность может заключаться в самом референте, т. е. в отраженном сознанием и передаваемом глаголом процессе: *to nod*, *to click*, *to light* «зажигать», *to start*, *to snap*, *to drop*, *to jerk*, *to glance*, *to whip*, *to jump*, *to shoot*, *to wink* и др. (раздельное множество передается здесь как один или более актов). Она может выражаться также в сочетаниях глаголов, допускающих одноактную интерпретацию с послелогом *up*, реже *down*, *out*, *off*, в глагольно-именных сочетаниях типа *have a nap*, *take a walk* (*John nodded and lit a cigar*; *He nodded twice*; *She would get up in the night to kiss the child*). Для реализации фразовыми глаголами значения расчлененного процессоколичества необходим соответствующий контекст: *No harm in taking a look. Let her take looks, but not at him*; мн. ч. с квантификатором: *He gave three distinct raps on the table*: лексический показатель кратности: *He did occasionally get a laugh and a hand.* Однако одноактные глаголы могут передавать и нерасчлененное количество, например, *Peter took a long look*; *He had a few minutes' chat about things in general.*

Глаголы могут содержать сему нерасчлененности в лексическом значении (*last*, *linger*, *hesitate*), в послелогах (*on*, *away*), во фразеологической модели (*do* + детерминатив + глагол + *ing*), например, *He likes to do his own thinking.* Расчлененное признакоколичество обычно не встречается. Можно привести только единичные примеры: *There may be some dispute as to whether this example is two ways or three ways ambiguous, but it will hardly be claimed to be five ways ambiguous.*

Итак, первый параметр количества связан со вторым: для предметоколичества характерна расчлененность, для процессоколичества — нерасчлененность, а для признакоколичества расчлененность почти недопустима.

Третьим параметром количества служит оппозиция кардинальности (количественности) и ординальности (качественности). Универсальным проявлением этой оппозиции является деление числительных на количественные и порядковые. В. З. Панфилов считает, что это деление отражает две разные концепции числа в логике и математике. Количественные числительные представляют число как общее свойство классов, между членами которых существует одно-однозначное соответствие. Порядковые числительные показывают, что число приобретает значение постольку, поскольку оно занимает определенное место в какой-то системе. Количественное число отражает свойства равноценных, а порядковое — неравноценных множеств [1, с. 228 и сл.]. Исторически порядковое число появилось после количественного. Первоначально оно отражало временную последовательность и пространственное соотношение предметов объективной действительности.

Понятие количества неотделимо от сопоставления, поэтому любое количество относительно. Но есть особые формы и построения, с помощью которых осуществляется сопоставление количеств. К ним относятся сравнительные конструкции. Рассмотрим пример: *If it's sad — even if it's very sad — I can make up a story that's sadder.* Наречие *very* и сравнительная степень передают количество признака, но только в сравнительной степени подчеркнута относительность. Построения *the same — as*, *as many — as*, *not so many — as*, *more — than* с количественными местоимениями *many*, *much*, *little*, *few* или с прилагательными, обозначающими

количество, служат для выражения относительности предмето- и процессоколичества (последнее очень редко): *He worked no less than, perhaps not so little as his friends. ...he worked the same hours, did the same work as I did.* Те же построения с качественными прилагательными и наречиями подчеркивают относительность признакоколичества: *You're looking a lot better than on Sunday.* Разные сравнительные построения могут переосмысливаться, чтобы выражать безотносительную, абсолютную количественную характеристику. Приведем три примера: а) элатив передает большу́ю меру качества: *This is a matter of the greatest importance*; б) из сравнительных конструкций в определенных условиях образуются эквиваленты наречий меры и степени *more than, less than, fewer than, better than, worse than, higher than* [9]: *You possess a higher than any human degree of frankness...*; в) в отличие от предметнологических сравнений, образные сравнения служат для передачи высокой меры качества (ср.: *He was hard as iron in my hands, but I think by the look of him he will be soft as wax in yours*).

Порядковые числительные и другие выражения ординальности имеют то общее со сравнительными построениями, что они служат для передачи подчеркнутой относительности количества. Кардинальное количество, в частности, передаваемое количественными числительными,— это исчисление всего множества предметов, а ординальное указывает на место предмета по отношению к другим предметам ряда [2]. Порядковое числительное называет последний член ряда, но за этим членом выявляется весь ряд. Кардинальное количество может быть расчлененным и нерасчлененным, а ординальное — только расчлененным. Поэтому оно возможно лишь при счете (предметов или процессов). Кроме порядковых числительных ординальное количество может быть выражено и количественными, например, *Room 5, Bus 3, School 39.* Они равноценны наименованию. Ординальное количество может быть накопительным, когда порядок в ряду прямо связан с накопленным до этого числительного количеством единиц: *He is 25*; *in 1985*; *in the 20-th century.* Порядок выражается прилагательными, наречиями и местоимениями: *the next, the last, the latter, the former, another, new, additional, following, the latest, again, then, further, later on, at first, afterwards, one more, once again, anew, afresh* и др. Эти слова не содержат указания на количество, но в речи они являются средством выражения ординальности и легко сочетаются с числительными (*the last but one, the last but two, three additional questions*) и другими выражениями количества. Ординальность выражается и в некоторых дериватах и композитах, например, *doublet, duplicate* — «дубликат», *superadd* «прибавлять к уже добавленному» [3].

Ординальность особенно ясно проявляется в системе глагола. И категория времени, и категория временной отнесенности английского глагола выражают одно из фундаментальных качественных свойств реального времени — упорядоченность. Члены категории времени сигнализируют одновременность с векторным нулем определенной оси ориентации (оси ориентации соответствуют основные временные деления —настоящее, прошедшее, будущее). Члены категории временной отнесенности выражают предшествование векторному нулю той или иной оси ориентации [8, с. 198].

Придаточные предложения времени также указывают на порядок действия через отношение действия придаточного к ситуации главного предложения [10]. Некоторые придаточные времени, обычно с союзами *before* и *after*, могут модифицироваться темпоративами: *She came a week or so before she was expected.* Послелог *on* или префикс *re-* обозначают последний процесс нечисловым указанием на предыдущий или предыдущие [11]. Порядок передается фазовыми глаголами.

---

[2] Порядковое числительное может быть неопределенным (*the umpteenth*, ср. *N*-ский). Иногда ординальность передается буквами по их месту в алфавите.

[3] Ср. русское существительное *тройка*, где в значениях «разновидность костюма», «упряжка лошадей», «карта» проявляется кардинальное количество, а в значении «школьная оценка», «номер вида транспорта» — ординальное.

Средства выражения кардинальности/ординальности не совпадают в разных языках. Например, накопительному ординальному количеству в русском языке соответствует кардинальное в английском: [ср. русск. *третьи сутки* (*дождь идет*), но англ. *for three days*].

Количество может быть внешним и внутренним,— считаться могут отдельные единицы и части одной и той же единицы. Этот параметр имеет смысл почти исключительно для расчлененного предметоколичества. При исчислении количества процессов он малоэффективен, т. к. прерывистый процесс можно в равной мере оценить и как несколько процессов, следующих один за другим, и как стадии одного процесса. А. А. Холодович, который выделял это свойство количества, противопоставлял мн. ч. существительных тем pluralia tantum, которые обозначают предметы, состоящие из двух и более частей: *ножницы*, *ворота*, *брюки*, *жабры*, *грабли*, *деньги*, *скачки*, *шахматы* и т.д. [7]. Соответствующие примеры есть в английском языке: внешнее количество передается существительными типа *books*, *boys*, *trees* и др., внутреннее количество — словами типа *braces*, *spectacles*, *clothes*, *slums*.

Оппозиция внешнего и внутреннего количества играет большую роль в употреблении существительных *committee*, *family*, *team*, обозначающих группы людей. Во мн. ч. эти имена передают внешнее количество. Употребленные в ед. ч. с глаголом-сказуемым во мн. ч., они передают внутреннее количество: *Your wife's family are outside*. Так называемые «nouns of multitude», которые могут сочетаться только с мн. ч. глагола (*cattle*, *police*, *the young*, *the French*, *the clergy*), передают внутреннее количество.

Значение внутреннего количества реализуется в именах или именных словосочетаниях с прилагательными, содержащими корень квантификатора, этимологически восходящий как к самому английскому, так и к греческому или латыни, например, *ninepins* «кегли», *trident* «трезубец» *polygon* «многоугольник», *an eight-oared shell* «гоночная лодка-восьмерка».

Числительные, количественные существительные, слова *several*, *numerous* передают внешнее количество, а такие прилагательные, как *variagated* «разноцветный, пятнистый»,— внутреннее. Эту оппозицию мы видим в двух синонимических паронимах *divers* и *diverse*.

Количественные отношения объективного мира отображаются как точно, так и приближенно. Соответственно этому языковые обозначения количественных отношений могут быть определенными и неопределенными. Определенное количество всегда носит расчлененный характер *5 pages*, *repeat 3 times* [4], а неопределенное может быть и расчлененным (*a few pages*, *repeat some times*), и нерасчлененным (*much water*, *wait long enough*, *very easy*).

Для того чтобы нерасчлененное множество стало определенным, нужно употребить единицы измерения: *5 litres of water*, *wait for 2 hours*, *twice as easy*, т. е. средства расчлененного количества.

Средства выражения определенного количества ограничены. Это числительные, количественные существительные *pair*, *couple*, *dozen*, *score*, единственное, двойственное (тройственное) число имен, корни числительных (включая латинские и греческие) в производных и сложных словах: *quadruple* «учетверять», *doubly* «вдвойне», *sevenfold* «семикратный». Наконец, определенное количество может быть выражено простым перечислением. Примыкают к определенному количеству и средства выражения парности в противоположность множественности: местоимения *both*, *each other* вместо *all*, *one another*, предлог *between* вместо *among*, прилагательное *mutual* вместо *common*, *general*. Однако все эти различия, кроме *both/all*, постепенно стираются в английском языке. Определенное количество заключено в pluralia tantum, обозначающих парные предметы (*glasses*, *pincers*), и весьма типично для актантов глаголов взаимного действия *marry*, *divorce*. Определенное количество подчеркивается ограничительными и

---

[4] Неопределенное количество может стать определенным или приблизиться к определенному, если оно относительно. В этом случае оно может передаваться при помощи *the same as*, *neither more nor less than*, *equally*.

уточнительными частицами — *only*, *just*, *but*, *alone*, *merely*, *solely*, *barely*, *exactly*, *precisely*, *right*.

Неопределенное количество представлено в английском языке разнообразными средствами. Оно выражается формой мн. ч., вопросами *how much*, *how many*, интенсификаторами *such*, *so*, *as*, наречиями *this*, *that*: *How many different ways are there to be famous?*; *I always knew they would be thin, but not this thin.*

Неопределенное количество передается также сочетаниями *a number of*, *a variety of*, *a series of*. Неопределенное количество процесса передается длительным видом, сочетаниями *would*, *used* (*to*) с инфинитивом. Неопределенное количество актантов имплицируется глаголами типа *gather*, *collect*.

Нередко языковые средства обозначения неопределенного количества не только передают количественные отношения, но и содержат оценочный компонент [6, с. 82 и сл.]. Неопределенное количество может оцениваться как большое или малое, как достаточное, чрезмерное, предельное. Неопределенно малое количество выражается при помощи местоимений *some*, *few*, *little*, наречий *rarely*, *seldom*, прилагательных *several*, *indifferent* «не имеющий большого значения».

Неопределенно большое количество передается с помощью разнообразных, разноуровневых средств выражения. Ими могут быть: местоимения *many*, *much*; наречия *often*, *frequently*; количественные существительные, выражающие понятие времени: *for hours* (*years*, *months*); существительные, передающие неопределенное количество: *a lot*, *lots*, *heaps* и др. Используются также существительные, обозначающие объекты большого объема, протяженности или силы: *oceans*, *mountains*, *worlds*, *volumes*, *barrels*, *bucketfuls*, *hurricanes* и др.; крупные единицы измерения: *ton*, *mile*, *century*, *millennium*; существительные, примыкающие к квантификаторам: *myriad* «несметное количество, десять тысяч», *in droves* «толпами»: *I feel a ton better since I landed here*; *The unemployed were coming to town in droves.* Неопределенно большое количество выражается элативом прилагательного, множественным числом вещественных существительных (*snows*, *waters*). Выражение неточного количества находится в зависимости от отстоявшихся или ситуативных эталонов. Относительность оценок приводит к появлению в речи оксюморонов: ср. *старый Новый год*, *горький сладкий пирог*, *глубокий мелкий колодец*, *большой маленький город* у И. Ильфа и Е. Петрова [12]. Относительность количественных оценок позволяет использовать их сатирически, как это делают И. Ильф и Е. Петров: *большой симфонический оркестр из трех человек*. Из сравнительных построений образуются модальные модификаторы определенных количеств, например, *After some days he got as high as two dollars*; *The passengers on waiting trains can stare for as long as half an hour.* Тому же количеству может быть дана противоположная модальная оценка, если в приведенных примерах заменить сравнительные построения на *as little as*. Вполне возможно к одному и тому же количеству подойти с разными оценками: *He earns as much as 200 roubles — He earns as little as 200 roubles; I have received as few as 5 postcards — I have received as many as 5 postcards.*

А. А. Холодович противопоставляет арифметическое множество алгебраическому. Первое имеет в виду общее количество без указания на дистрибуцию единиц в нем (2 + 2 + 2 или 1 + 4 + 1 или 1 + 3 + 2), а второе предполагает какое-либо указание на внутреннее расположение единиц и их группировку. Мы предлагаем иные термины — суммарное и дистрибутивное количество. Первое не содержит указания на внутреннее распределение единиц, второе такое указание содержит. Различие между суммарным и дистрибутивным количеством регистрируется в местоимениях: суммарное *all* и дистрибутивное *each*, *every*. Дистрибутивное количество может быть неупорядоченным и упорядоченным. В неупорядоченном содержится указание на члены множества, но не показана их группировка: *every now and then*, *from time to time*, *here and there*, *over and over again*, *any day*, *sometimes* и др. В упорядоченном

количестве дано расположение компонентов: *every day* (*year*, *month*), *every other day*, *every three hours*, *daily*, *regularly*. Указание на смену процессов, но не на их число содержится в *alternately*. В грамматике и словообразовании выражены только равносильные внутренние группировки. Неравномерная дистрибуция типа 2 + 1 + 5 + 8 может выражаться только описательно.

Мы рассмотрели шесть признаков категории количества в английском языке. Описанные выше свойства этой категории должны способствовать изучению числительных и их эквивалентов, наречий меры и степени, собирательных имен, многоактантных глаголов, числа имени, видов и способов действия глаголов, некоторых суффиксов и префиксов, а также иных лексических, лексико-грамматических и грамматических средств, связанных с выражением количества. Учитывая универсальный характер категории количества, ее полевую структуру, многообразие разноуровневых средств выражения, представляется очевидным, что дальнейшие исследования внесут дополнения в предложенный набор признаков.

ЛИТЕРАТУРА

1. *Панфилов В. З.* Гносеологические аспекты философских проблем языкознания. М., 1982.
2. *Шендельс Е. И.* Совместимость/несовместимость грамматических и лексических значений.— ВЯ, 1982, № 4, с. 78.
3. *Чеснокова Л. Д.* Категория количества и синтаксические структуры.— ВЯ, 1981, № 2, с. 49.
4. *Арутюнова Н. Д.* Предложение и его смысл. М., 1976, с. 11.
5. *Кубрякова Е. С.* Типы языковых значений. Семантика производного слова. М., 1981, с. 13.
6. *Швачко С. А.* Языковые средства выражения количества в современном английском, русском и украинском языках. Киев, 1981, с. 9 и сл.
7. *Холодович А. А.* Категория множества в японском языке в свете общей теории множества в языке.— Уч. зап. ЛГУ, 1946, № 69, сер. филол. наук, вып. 10, с. 16 и сл.
8. *Тураева З. Я.* Категория времени. Время грамматическое и время художественное. М., 1979.
9. *Зайцева Л. П., Биренбаум Я. Г.* Переосмысление синтаксических связей в сравнительных конструкциях.— ФН, 1974, № 1, с. 84 и сл.
10. *Биренбаум Я. Г.* Придаточные предложения времени (на материале английского языка).— В кн.: В помощь преподавателям иностранных языков. Вып. 10. Новосибирск, 1979, с. 133 и сл.
11. *Старикова Е. Н.* Импликационная предикативность в современном английском языке. Киев, 1974, с. 76.
12. *Будагов Р. А.* Наблюдения над языком и стилем И. Ильфа и Е. Петрова (Опыт лингвистической интерпретации текста).— Уч. зап. ЛГУ, 1946, № 60, сер. филол. наук, вып. 10, с. 230.

ВОПРОСЫ ЯЗЫКОЗНАНИЯ

№ 4 1985

КРИТИКА И БИБЛИОГРАФИЯ

ОБЗОРЫ

КЮННАП А.

ИССЛЕДОВАНИЕ САМОДИЙСКИХ ЯЗЫКОВ (1975—1984)

За десять лет, прошедших после публикации обзорной статьи Н. М. Терещенко [1], в самодийском языкознании достигнуты значительные успехи. Следует отметить, что многие проблемы, рассмотренные в статье, сохраняют свою актуальность и поныне, поэтому здесь мы постараемся дать лишь обозрение сделанного в этой области после появления статьи Н. М. Терещенко, т. е. начиная с 1975 г.

Задачи современного исследования самодийских языков, одних из языков малых народностей Севера, становятся особенно ясными в свете Постановления ЦК КПСС и Совета Министров СССР от 7 февраля 1980 г. «О мерах по дальнейшему экономическому и социальному развитию районов проживания народностей Севера». Само собой разумеется, что самодийское языкознание развивается не обособленно: нужны не столько отдельные факты по самодийским языкам, сколько обобщения, сделанные на основании сопоставительного и сравнительно-исторического изучения этих языков. Давно стало научным фактом, что самодийские языки генетически родственны между собой и с финно-угорскими языками. Имеются данные о существовании исторических и современных связей с такими языковыми семьями, как алтайская, индоевропейская, а также с разными палеоазиатскими и другими языками.

Самодийские языки по сей день остаются явно недостаточно изученными во многих своих аспектах. Исследовательскую работу тормозит и то, что по этим языкам опубликовано очень мало лингвистического материала. Поэтому необходимо издавать накопленные полевые записи и переиздавать редкие или труднодоступные публикации более раннего периода. Укажем здесь лишь на самые крупные публикации языкового материала, появившиеся в виде отдельных книг.

Книга финского ученого П. Саммаллахти [2], вышедшая в 1974 г., содержит материал по восточному говору лесного диалекта ненецкого языка, записанный им осенью 1971 г. в Ленинграде от носительницы этого диалекта, уроженки с. Харампур на р. Пур. Работа состоит из грамматического очерка, двух коротких текстов и словаря. Ценность этого материала для изучения фонетики самодийских языков заключается в том, что здесь представлены точная транскрипция, тонкие наблюдения автора над явлениями ударения и интонации в говоре, хорошая систематизация и верный, на наш взгляд, синхронный и диахронный морфонологический анализ. Заслуживают внимания замечания автора о порядке слов. Парадигмы словоизменения иллюстрируются примерами, приведена фразеология. Тем самым книга выходит далеко за рамки сборника языковых материалов, она представляет собой значительное научное исследование в области описательного и исторического изучения самодийских языков. В 1975 г. вышел из печати словарь лесного диалекта ненецкого языка Я. Н. Поповой [3], содержащий большое количество новых языковых данных. Составители энецкого словаря [4] М. Кацшманн (ФРГ) и Я. Пустаи (ВНР) собрали и систематизировали весь известный им лексический материал по энецкому языку, разбросанный по многим самым различным печатным

источникам. Проделана большая и очень нужная работа, хотя и не свободная от неточностей и ошибок.

Три книги по селькупскому языку составил Х. Катц (ФРГ). В первой [5] сосредоточены опубликованные ранее данные, которые в начале нашего столетия финский исследователь К. Доннер собрал в среде носителей тымского диалекта селькупского языка. Во второй [6] приведена полная фотомеханическая копия книги архиепископа Макария на селькупском языке «Беседы...» (Томск, 1900). Третья книга [7] состоит из опубликованных ранее текстов и отдельных предложений по диалектам и говорам селькупского языка; автор так и называет ее — хрестоматия. Во всех трех книгах материал систематизирован, тщательно проанализирован и прокомментирован, приведен также в фонологической транскрипции, снабжен словарем. Таким образом, книги представляют собой ценные исследования синхронного, отчасти и диахронного плана. Но полное недоумение вызывает стремление Х. Катца создать для себя некий абстрактный, «правильный» селькупский язык, язык-эталон, отклонения от норм которого он считает неточностями записи, ошибками исследователей. При этом остается неясным, на какой основе создается этот эталонный селькупский язык. Можно с большой степенью уверенности предполагать, что Х. Катц едва ли когда-нибудь имел возможность слышать живую речь носителей селькупского языка, а ведь только это дает определенное право сомневаться в точности записей того или иного исследователя.

Е. А. Хелимский свел воедино и представил в виде алфавитного перечня весь языковой материал, содержащийся в первых четырех книгах на селькупском языке, изданных П. М. Григоровским в 1879 г. [8]. Диалектологическую принадлежность языка книг он определил как говор Нижней Чаи. В двух сборниках текстов народов Сибирского Севера [9, 10] мы находим большую редкость — 7 страниц записи фольклорного и бытового текста по энецкому языку и 34 страницы такого же текста по нганасанскому языку. Автор этой статьи опубликовал 12 страниц камасинского текста, записанного им у последней носительницы языка К. З. Плотниковой [11, 12]. Следует также отметить статью Е. А. Хелимского, в которой содержится источниковедческий анализ ряда рукописных и редких печатных лексикографических материалов по саяно-самодийским языкам [13].

В публикациях нового самодийского языкового материала бросается в глаза разнобой в системе его графической фиксации. Используются различные способы транскрипции языка как на основе латинской, так и русской графики, причем сильно варьируются фонетическая точность и тем самым арсенал диакритических знаков. Многие авторы пользуются своей «личной» транскрипцией, единая фонетическая дешифровка которой является очень трудоемкой, а подчас в отношении тех или иных деталей — и совсем непосильной (из-за отсутствия соответствующих пояснений к ним). В то же время существует система графической фиксации финно-угорского и самодийского лингвистического материала, которая известна под названием финно-угорской транскрипции (ФУТ). Отклонения от этой общепризнанной и имеющей богатый арсенал диакритических знаков транскрипции можно понять лишь в тех случаях, где имеют место серьезные типографские трудности или же соображения в пользу орфографии соответствующего литературного языка. Ротапринтная техника предоставляет широкие возможности в выборе транскрипции. Пора покончить с самодеятельностью в данной области и предпринять решительные шаги с целью достижения разумного единообразия, а тем самым и общепонятности этой транскрипции: опубликование материала не является самоцелью, а направлено на то, чтобы все исследователи соответствующих языков могли бы пользоваться им. Там, где из-за технических причин нельзя использовать традиционную, основанную на латинской графике ФУТ, следует прибегать к русской графике, но исходить из общих принципов ФУТ и применять, по мере возможности, ее диакритические знаки. Очень важно, чтобы каждая буква, каждый

диакритический знак имели бы в принятой системе одно единственное значение, а не два и более. Так, например, следовало бы отказаться при фонетической транскрипции самодийского материала от распространенной ныне практики применения русских букв *е*, *ё*, *я*, *ю* для обозначения, с одной стороны, сочетания согласного *j* с гласными *е*, *о*, *а*, *и* (= *je*, *jo*, *ja*, *ju*), и смягчения согласных перед гласными *е*, *о*, *а*, *и*, с другой. По принципам ФУТ здесь лучше писать, соответственно, *йэ*, *йо*, *йа*, *йу* и *'э*, *'о*, *'а*, *'у*; например, *jara* и *l'ara* по ФУТ надо транскрибировать как *йара* и *л'ара*. Все, что может вызвать непонимание или двоякое толкование в транскрипции у читателя, следует при публикации самодийского материала четко оговаривать, ссылаясь, если имеются технические возможности, на ФУТ. (Для лучшего изучения ФУТ и ее возможностей рекомендуется ротапринтное издание Института языка и литературы АН ЭССР [14].) Известно, что точная передача произношения в публикуемых материалах служит интересам лингвистического исследования: тщательно проверенные фонетические данные несут ценную информацию о многих синхронных и диахронных процессах в языке.

В фонетическом и фонологическом исследовании ряда самодийских языков, а также в изучении исторической фонетики всей самодийской группы языков в последние годы произошел заметный сдвиг. По вопросам фонетики защищено несколько кандидатских диссертаций. Диссертация Я. Н. Поповой [15] посвящена фонетическим особенностям лесного диалекта ненецкого языка. При анализе автор опирается главным образом на пуровский говор, так как на нем говорит, по всей вероятности, большинство лесных ненцев. В работе показаны звуковой состав пуровского говора и относительная частотность употреблений звуков в различных позициях в слове. Следует описание артикуляционной базы говора и основных звуковых закономерностей, сопоставляется звуковой состав лесного и тундрового диалектов, характеризуются фонетические процессы при формировании этих двух диалектов. Я. Н. Попова выдвигает интересную гипотезу, согласно которой в лесном диалекте, как и в тундровом, фонетически противопоставляются не две степени долготы гласных, а три: долгая, краткая и сверхкраткая. Автор считает фонетические изоглоссы главным доказательством генетического родства самодийских и финно-угорских языков. Было бы правильнее говорить об известной общности всего строя этих языковых групп.

Несколько диссертаций выполнены методом экспериментальной фонетики: Я. А. Глухий [16] описывает консонантизм, а В. А. Сусеков [17] — вокализм диалекта бай энецкого языка, А. К. Столярова [18] — консонантизм нганасанского языка. В кандидатской диссертации Н. В. Деннинг [19] описывается фонетика тымского диалекта селькупского языка с использованием инструментальных приемов и статистического метода.

Проблемам исторической фонетики как селькупского языка, так и всей группы самодийских языков посвящен ряд весомых работ Ю. А. Морева (см., например [20—22]), который правильно, на наш взгляд, пишет: «Чрезвычайно насущным делом для исследований по сельскупской фонетике остается внедрение объективных инструментальных методов. В этом отношении сделано пока совсем мало... Между тем совершенно ясно, что без широкого применения экспериментально-фонетической методики трудно добиться объективных детализованных описаний звукового строя отдельных селькупских диалектов в их современном состоянии; следовательно, будут затруднения и в диахронических исследованиях» [22, с. 82].

Крупный вклад в решение центральной проблематики исторической фонетики самодийских языков, а также языков уральской группы в целом сделан двумя финскими учеными: П. Саммаллахти представил в 1975 г. реконструкцию вокальной системы северносамодийского праязыка [23], а в 1976 г. свою версию этой реконструкции опубликовал Ю. Янхунен [24]. В 1977 г. последовал общесамодийский этимологический словарь Ю. Янхунена [25], включающий словарные статьи с прасамодийскими реконструкциями всех тех древних самодийских слов, которые выступают

одновременно, по меньшей мере, в одном северносамодийском и в одном южносамодийском языке. Эти труды, предоставляющие в распоряжение специалистов научно обоснованную систему исторического вокализма, послужат надежной базой для прасамодийских реконструкций. Вслед за работами П. Саммаллахти и Ю. Янхунена появились исследования, в которых наблюдается стремление к развитию и уточнению отдельных положений указанных авторов, среди них статьи В. А. Терентьева [26], венгров Т. Янурика [27] и Т. Миколы [28]. Сами же П. Саммаллахти и Ю. Янхунен, углубляя исследования исторической фонетики самодийских языков, сформулировали свои взгляды на историческую фонетику всей группы уральских языков, т. е. и самодийских, и финно-угорских. В 1979 г. П. Саммаллахти публикует статью о фонетической и морфологической структуре уральского праязыка [29], а Ю. Янхунен в 1981 г.— статью о прауральской лексике [30]. В обеих статьях дается признаваемый их авторами корпус прауральской лексики (в объеме, соответственно, 140 и 214 слов).

В 1984 г. опубликованы доклады проведенных в 1979 г. в Венгрии дней уральской фонологии [31], в их числе 6 докладов по фонологии самодийских языков (Е. А. Хелимский, Ю. Янхунен, Т. Микола, Х. Катц, Ю. А. Морев и Т. Янурик). Это — шаг вперед в разработке фонематической системы самодийских языков.

Из работ в основном морфологического характера назовем, в первую очередь, четыре кандидатские диссертации, в которых рассмотрены соответственно: временные и пространственные отношения в ненецком языке — Т. Г. Перфильева [32], глагол в энецком языке — И. П. Сорокина [33], прилагательное в селькупском языке — Л. А. Алиткина [34], локальные уточнители в селькупском языке — В. В. Быконя [35]. Вопросы морфологии исследовались и в многочисленных статьях. Так, Н. М. Терещенко рассматривает генезис лично-предназначительных форм северносамодийских языков [36] и морфологические особенности нганасанского языка [37]. Ненецкому глаголу посвящена серия статей К. Лабанаускаса [например, 38]. Вопросы энецкой морфологии затрагиваются в работах И. П. Сорокиной [например, 39]. Очень много опубликовано статей по селькупской морфологии, авторами которых являются Э. Г. Беккер, П. Хайду и др. [40, 41]. Анализу разных аспектов сравнительно-исторической морфологии самодийской группы языков посвящены статьи А. Кюннапа [42—44].

Отдельно следует остановиться на исследованиях в области синтаксиса. Известно, что синтаксис самодийских (как и финно-угорских) языков изучен значительно слабее, чем фонетика, морфология и лексика этих языков. Лишь в 1973 г. вышла из печати первая монография по самодийскому синтаксису, принадлежащая перу Н. М. Терещенко: «Синтаксис самодийских языков. Простое предложение» [45]. В монографии дается синтаксический анализ всех живых самодийских языков — ненецкого, энецкого, нганасанского и селькупского. Для исследования ненецкого синтаксиса имеется достаточно много текстов, количество которых значительно пополнила и сама Н. М. Терещенко. Иначе обстоит дело с другими самодийскими языками. Необходимый для синтаксического анализа материал по энецкому и нганасанскому языкам автор собрала в 1962—1963 гг. В отношении селькупского языка Н. М. Терещенко исходит в основном из «Селькупской грамматики» Г. Н. Прокофьева и его рукописных фольклорных материалов. Наиболее крупные самодийские языки — ненецкий и селькупский — имеют значительные диалектные различия. В работе ненецкий язык представлен одним из двух его диалектов (тундровым), а селькупский — одним из трех (тазовским). Н. М. Терещенко пытается по мере возможности дать анализ современного синхронного среза самодийских языков (наиболее резким отклонением является селькупский материал, записанный Г. Н. Прокофьевым еще в 20-е годы). Монография выполнена в описательно-сопоставительном плане, но содержит и немало моментов сравнительно-исторического анализа с приведением данных финно-угорских, тюркских, а также других языков.

Поскольку сложные предложения встречаются в самодийских языках сравнительно редко и являются поздними нововведениями, то получается, что монография Н. М. Терещенко охватывает по существу все ядро самодийского синтаксиса. Автор приходит к выводу, что в значительном числе случаев в самодийских языках сохраняются древние синтаксические нормы, лишь реконструируемые для многих финно-угорских языков.

Ряд менее изученных вопросов синтаксиса современного тазовского диалекта селькупского языка (способы выражения прямого дополнения, отрицательные предложения, обстоятельственные обороты и пр.) освещается Е. В. Грушкиной в новой грамматике этого диалекта, опубликованной в 1980 г. [46, с. 354—406]. Здесь показывается, что синтаксис диалекта со времен Г. Н. Прокофьева претерпел значительные изменения. Отметим в качестве примера таких изменений все растущее распространение сложных союзных предложений. Проблемы самодийского синтаксиса нашли отражение и в некоторых докладах на V Международном конгрессе финно-угроведов (Турку, 1980) [см. 47, 48]. Но целый ряд частных вопросов самодийского синтаксиса еще не изучен, неравномерно исследован синтаксис различных самодийских языков, их диалектов и говоров. В этой области предстоит немалая работа, прежде всего сбор текстового материала и синтаксический опрос, в том числе при помощи специальных тестов.

Вообще отрадно отметить появление в печати ряда монографических работ. Трудно переоценить важность книги Н. М. Терещенко «Нганасанский язык» [49] — первого монографического описания этого языка, сделанного на основании обширного материала, собранного самим автором. Важным событием является также выход новой грамматики тазовского диалекта селькупского языка А. И. Кузнецовой, Е. А. Хелимского и Е. В. Грушкиной [46]. Здесь не только множество новых данных по тазовскому диалекту, ранее известному по грамматике 1935 г. Г. Н. Прокофьева, но и современный методический подход к анализу этих данных, обогащающий методологический арсенал всей самодийской лингвистической науки [см. подробнее 50]. Три монографии в основном морфологического характера выполнены в синхронном и диахронном плане. Первая из них написана Т. Миколой и посвящена анализу древних послелогов ненецкого языка [51]. В своей теоретической части эта книга выходит далеко за рамки анализа ненецких послелогов: автор выдвигает свои гипотезы о развитии послелогов и падежной системы не только в самодийских, а во всех уральских языках, гипотезы, которые уже привлекли самое широкое внимание. В труде Э. Г. Беккер [52] рассматривается категория падежа в селькупском языке с привлечением большого количества стройно классифицированного и проанализированного нового материала по всем диалектам этого языка, что делает данное исследование особенно ценным. Книга А. Кюннапа [53] посвящена сравнительно-историческому анализу глагольного словоизменения и глагольных имен камасинского языка. В ней использован камасинский языковой материал, записанный автором у последних носителей этого языка, а также неопубликованные редкие архивные записи по разным самодийским языкам, начиная со времен М. А. Кастрена. В виде отдельной книги [54] в 1975 г. были переизданы четыре статьи известного венгерского самодиста и уралиста П. Хайду (в переводе с венгерского языка).

Из сборников, издающихся в Томске, Новосибирске и Омске и постоянно публикующих работы по самодийским языкам, хочется особо выделить два наиболее богатых статьями по самодистике [55—56]. В ознаменование шестидесятилетия П. Хайду его коллеги выпустили сборник, из 43 статей которого 10 посвящены полностью или частично самодийским языкам [57]. Я. Пустаи составил на основании материала, который в свое время собрал Т. Лехтисало, грамматический очерк пуровского говора лесного диалекта ненецкого [58]. Предпринята серьезная попытка достичь единообразия в диалектологическом членении как самодийских, так и финно-угорских языков: в 1984 г. в Гамбурге состоялся симпозиум «Dialectologia Uralica» (тезисы докладов опубликованы, см. [59]).

На данном этапе развития уралистики крайне необходима разработка проблем взаимосвязей самодийских языков с финно-угорскими. Выявление и точное исследование этих связей имеет сейчас особое значение для изучения истории уральских языков. Наибольший интерес представляют контакты угорской группы финно-угорских языков с самодийскими языками. Попытка изложить весь корпус древних угорско-самодийских языковых связей делается впервые в кандидатской диссертации Е. А. Хелимского [60], где выдвигается принципиально новая схема разветвления и группировки самодийских языков, уточняются некоторые методические приемы сравнительно-исторической уралистики и вводится в научный обиход редкий архивный материал по самодийским языкам. Автор идентифицирует найденные в архиве записи ранее неизвестного юрацкого (старовосточного) диалекта ненецкого языка с переходным диалектом, занимающим промежуточное положение между ненецкими и энецкими диалектами. Далее автор устанавливает, что так называемые маторский, тайгийский и карагасский языки являются лишь диалектами одного и того же самодийского языка (маторско-тайгийско-карагасского = МТК), отвергает предположение о наличии следов сойотского языка в качестве особого представителя самодийской группы языков, объединяет так называемые камасинский и койбальский языки в качестве двух отдельных диалектов в один и тот же язык (камасинский). Есть все основания считать, вслед за Е. А. Хелимским, что шесть языков, обычно перечисляемых как саяно-самодийские, сводятся лишь к двум: МТК и камасинскому.

Традиционно считается, что самодийский праязык распался сначала на северно- и южносамодийский праязыки. Но Е. А. Хелимский приходит к выводу, что южносамодийского языка никогда и не существовало: прасамодийский распался сразу на четыре ветви — северносамодийский (давший позже ненецкий, энецкий и нганасанский языки), селькупский, МТК и камасинский. Он не находит в самодийских языках указаний на постепенный характер дивергенции этих четырех ветвей, связанной с расширением территории распространения самодийского праязыка, как, например, в финно-угорской языковой группе. Следовательно, произошел резкий распад сравнительно единой прасамодийской языковой общности, сразу оборвавший связи между четырьмя ее частями. Такой вывод автора представляется вполне убедительным. Общности производственной и бытовой лексики в самодийско-обско-угорских языках был посвящен интересный доклад М. Бармич на V Международном конгрессе финно-угроведов [61].

Внимание исследователей привлекают ареальные связи самодийских языков, их контакты с другими уральскими и иносистемными языками. Из важнейших работ по этой проблематике следует назвать статью Б. А. Серебренникова об ареальных особенностях ненецкого языка [62], в которой он указывает на определенный южный характер ненецкой и вообще самодийской лексики, на общие черты ненецкого с эвенкским и эвенкийским языками, на контакты самодийских языков с обско-угорскими и коми языками, а также на возможные следы в ненецком языке влияния языка народа сиртя. В своей статье о языковых контактах в Северо-Западной Сибири [63] П. Хайду перечисляет ряд явлений, общих для большинства языков Северной Сибири: шесть фонологических изоглосс, спряжение имен, объектное спряжение, дефектность или отсутствие инфинитива, притяжательные суффиксы и двойственное число. В ареале Северо-Западной Сибири можно предположить наличие языкового союза между обско-угорскими, ненецким и селькупским языками: суффиксальное выражение настоящего времени, появление аудитива, суф. 2-го лица *-н* и пр. Имеются и микроареалы, например, северные говоры хантыйского и мансийского языков и тундровый диалект ненецкого языка или восточные говоры хантыйского языка и лесной диалект ненецкого языка. Недостаточно обоснованными представляются теперь поиски ряда морфологических параллелей в самодийских и енисейских языках [см. 64]. Несколько статей посвящено тюркизмам в самодийских языках [например, 65—66]. Появились обзорные статьи Ю. Янхунена о самодийско-

алтайских [67] и ранних самодийско-индоевропейских контактах [68]. Старым русским заимствованиям в южносамодийских языках посвящена статья А. Кюннапа [69], а селькупским заимствованиям в русских говорах — статья Е. А. Хелимского [70]. Данные новейших всесоюзных переписей населения о владении самодийцами русским языком приводятся в статье А. Кюннапа [71]. Я. Пустаи исследует влияние русского языка на ненецкий язык [72] и связи палеосибирских языков с самодийскими и финно-угорскими [73].

Много предстоит еще сделать в области изучения языка самодийского фольклора: пока соответствующих работ совсем немного [например, 74—75]. Дальнейшее развитие получили самодийская топонимика и ономастика. Здесь можно отметить статьи Э. Эрнитса [76], Т. Марка (ВНР) [77] и Е. А. Хелимского [78]. Имеется удачная попытка предварительного определения ранних этапов этногенеза и этнической истории самодийцев на основании языковых данных [79].

Следует упомянуть и ряд работ общеуральского характера, в которых уделяется внимание вопросам самодийского языкознания. К ним относятся: статья Б. А. Серебренникова о строе ранней стадии прауральского языка [80], работа Е. А. Хелимского о тональных оппозициях в уральских языках [81], обзор лингвистической проблематики Северной Евразии А. Й. Йоки [82] и докторская диссертация К. Хяккинен, посвященная теории и методике этимологического исследования лексики уральских языков [83].

В связи с принятием Постановления ЦК КПСС и Совета Министров СССР от 7 февраля 1980 г. «О мерах по дальнейшему экономическому и социальному развитию районов проживания народностей Севера» оживилась работа по дальнейшему усовершенствованию ненецкой письменности и преподаванию ненецкого языка. Появилось новое пособие для учащихся начальной школы в виде Ненецко-русского/Русско-ненецкого словаря Н. М. Терещенко с перечнем основных способов передачи значений служебных слов и приставок русского языка средствами ненецкого языка [84]. Переиздан учебник по родному языку для подготовительного класса ненецкой начальной школы А. И. Рожина [85]. Немного ранее были выпущены две хрестоматии на ненецком языке для подготовительного — первого классов [86] и второго—третьего классов [87], а также методическое пособие для учителей ненецкой начальной школы [88]. Вышли из печати также новые обобщающие и теоретические работы по проблемам ненецкой письменности [89—92].

В итоге можно сказать, что самодийское языкознание добилось за последнее десятилетие значительных результатов, но очень много еще предстоит сделать. Все еще нет сопоставительной грамматики самодийских языков. (Сейчас составляется 1-й том —«Имя существительное» из серии исследований «Сопоставительная морфология самодийских языков» объединенными усилиями ленинградских, тартуских и томских самодистов под руководством Н. М. Терещенко и при участии А. П. Володина, А. Кюннапа, Ю. А. Морева, И. П. Сорокиной.) Отсутствуют описания некоторых диалектов и говоров. Недостаточно развернута работа по ареальным исследованиям. В то же время отрадно отметить, что расширились и окрепли исследовательские кадры, собран большой лингвистический материал, пополнился методологический арсенал, налажены контакты между научными центрами. Все это создает хорошие предпосылки для дальнейшей успешной работы.

ЛИТЕРАТУРА

1. *Терещенко Н. М.* Основные проблемы изучения самодийских языков.— ВЯ, 1975, № 1.
2. *Sammallahti P.* Material from Forest Nenets. Helsinki, 1974.
3. *Попова Я. Н.* Ненецко-русский словарь. Лесное наречие. Szeged, 1978.
4. *Katzschmann M., Pusztay J.* Jenissej-Samojedisches (Enzisches) Wörterverzeichnis. Hamburg, 1978.
5. *Katz H.* Selcupica I. Materialen von Tym. München, 1975.

6. *Katz H.* Selcupica II. Erzbischof Makarijs «Besědy ob istinnom Bogě i istinnoj věrě na narěčii obskich ostjakov» von 1900. München, 1976.
7. *Katz H.* Selkupische Quellen. Ein Lesebuch. Wien, 1979.
8. *Helimski E.* The language of the first Selkup books. Szeged, 1983.
9. Сказки народов Сибирского Севера. Томск, 1980.
10. Сказки народов Сибирского Севера. IV. Томск, 1981.
11. *Künnap A.* Kamassilaisia tekstejä I.— Fenno-ugristica. 2. Tartu, 1976.
12. *Künnap A.* Kamassilaisia tekstejä II.— Fenno-ugristica. 3. Tartu, 1976.
13. *Хелимский Е. А.* Лексикографические материалы XVIII — начала XIX в. по саяно-самодийским языкам.— В кн.: Языки и топонимия. VI. Томск, 1978.
14. *Венде К.* Финно-угорская транскрипция (ФУТ) в историческом аспекте и в сопоставлении с международным алфавитом (МФА). Таллин, 1967.
15. *Попова Я. Н.* Фонетические особенности лесного наречия ненецкого языка. М., 1978.
16. *Глухий Я. А.* Консонантизм энецкого языка (диалект бай) по экспериментальным данным: Дис. на соискание уч. ст. канд. филол. наук. Новосибирск, 1976.
17. *Сусеков В. А.* Вокализм энецкого языка. (Экспериментально-фонетическое исследование на материале диалекта бай): Дис. на соискание уч. ст. канд. филол. наук. Новосибирск, 1977.
18. *Столярова А. К.* Консонантизм нганасанского языка. (По экспериментальным данным): Дис. на соискание уч. ст. канд. филол. наук. Новосибирск, 1977.
19. *Деннинг Н. В.* Фонетика тымского диалекта селькупского языка: Дис. на соискание уч. ст. канд. филол. наук. Томск, 1981.
20. *Морев Ю. А.* Фонетические параллели в диалектах ненецкого и селькупского языков.— Советское финно-угроведение, 1984, вып. XX.
21. *Морев Ю. А.* Объективность лингвистических данных и пути реконструкции в селькупском языке.— Fenno-ugristica. 8. Tartu, 1981.
22. *Морев Ю. А.* К происхождению геминации и долготы согласных в самодийских языках.— In: Congressus Quintus Internationalis Fenno-Ugristarum. Turku 20.—27.VIII 1980. Turku, 1981, p. VI.
23. *Sammallahti P.* Über das Vokalsystem des Urnordsamojedischen.— FUF, 1975, Bd. 41.
24. *Janhunen J.* Adalékok az északi-szamojéd hangtörténethez: az első szótagi magánhagzók.— Néprajz és Nyelvtudomány, 1975—1976, t. XIX—XX.
25. *Janhunen J.* Samojedischer Wortschatz. Gemeinsamojedische Etymologien. Helsinki, 1977.
26. *Терентьев В. А.* К вопросу о реконструкции прасамодийского языка.— Советское финно-угроведение, 1982, вып. XVIII.
27. *Janurik T.* Szamojéd hangmegfelelések. I. Mássalhangzók.— Nyelvtudományi Közlemények, 1982, k. 84.
28. *Mikola T.* Alalékok a szelkup vokalizmus történetéhez.— Néprajz és Nyelvtudomány, 1980—1981, t. XXIV—XXV.
29. *Sammallahti P.* Über die Laut- und Morphemstruktur der uralischen Grundsprache.— FUF, 1979, Bd. XLIII.
30. *Janhunen J.* Uralilaisen kantakielen sanastosta.— JSFOu, 1981, t. 77, № 9.
31. Studien zur phonologischen Beschreibung uralischer Sprachen. Budapest, 1984.
32. *Перфильева Т. Г.* Выражение временных и пространственных отношений средствами ненецкого языка: Дис. на соискание уч. ст. канд. филол. наук. Новосибирск, 1974.
33. *Сорокина И. П.* Морфология глагола энецкого языка: Дис. на соискание уч. ст. канд. филол. наук. Л., 1975.
34. *Алиткина Л. А.* Имя прилагательное в селькупском языке: Дис. на соискание уч. ст. канд. филол. наук. Томск, 1978.
35. *Быконя В. В.* Структурно-семантическая характеристика локальных уточнителей в селькупском языке: Дис. на соискание уч. ст. канд. филол. наук. Томск, 1980.
36. *Терещенко Н. М.* К генезису лично-предназначительных (дезидеративных) форм северносамодийских языков.— Fenno-ugristica. 4. Tartu, 1977.
37. *Терещенко Н. М.* Некоторые морфологические особенности нганасанского языка.— In: Congressus Tertius Internationalis Fenno-Ugristarum Tallinnae habitus 17.— 23.VIII 1970. Tallinn, 1975, p. 1.
38. *Лабанаускас К.* К изучению прошедших времен ненецкого и энецкого языков.— Советское финно-угроведение, 1982, вып. XVIII.
39. *Сорокина И. П.* Послелоги энецкого языка.— Советское финно-угроведение, 1984, вып. XX.
40. *Беккер Э. Г.* Выражение числовых отношений в диалектах селькупского языка.— В кн.: Языки и топонимия. Томск, 1981.
41. *Hajdú P.* Das sölkupische Translativsuffix *-wlä*.— FUF, 1974, Bd. XL.
42. *Künnap A.* Samojedikielten *k*- ja *s*-infinitiivien alkuperästä.— In: Congressus Quintus Internationalis Fenno-ugristarum. Turku, 1981, p. VI.
43. *Künnap A.* Zur Geschichte des Lativs und des Plurals im Samojedischen.— Советское финно-угроведение, 1981, вып. XVII.
44. *Künnap A.* Über den Hintergrund einiger samojedischer Negationsformen.— Nyelvtudományi Közlemények, 1983, k. 85.
45. *Терещенко Н. М.* Синтаксис самодийских языков. Простое предложение. Л., 1973.
46. *Кузнецова А. И., Хелимский Е. А., Грушкина Е. В.* Очерки по селькупскому языку. Тазовский диалект. Т. I. М., 1980.

47. Congressus Quintus Internationalis Fenno-Ugristarum. Turku 20.—27.VIII 1980. Turku, 1980, p. III.
48. Congressus Quintus Internationalis Fenno-Ugristarum. Turku 20.—27.VIII 1980. Turku, 1981, p. VI.
49. *Терещенко Н М.* Нганасанский язык. Л., 1979.
50. *Künnap A.* — Советское финно-угроведение, 1981, вып. XVII.— Рец. на кн.: *А. И. Кузнецова, Е. А. Хелимский, Е. В. Грушкина.* Очерки по селькупскому языку. Тазовский диалект. Т. I. М., 1980.
51. *Mikola T.* Die alten Postpositionen des Nenzischen (Juraksamojedischen). Budapest, 1975.
52. *Беккер Э. Г.* Категория падежа в селькупском языке. Томск, 1978.
53. *Künnap A.* System und Ursprung der kamassischen Flexionssuffixe II. Verbalflexion und Verbalnomina. Helsinki, 1978.
54. *Hajdú P.* Samojedologische Schriften. Szeged, 1975.
55. Проблемы этногенеза и этнической истории самодийских народов. Омск, 1983.
56. Вопросы енисейского и самодийского языкознания. Сборник научных трудов. Томск, 1983.
57. Uráli sztikai tanulmányok. (Hajdú Péter 60. születésnapja tiszteletére.) Budapest, 1983.
58. *Pusztay J.* Die Pur-Mundart des Waldjurakischen. Szeged, 1984.
59. Dialectologia Uralica. Erstes internationales Symposion zur Dialektologie der uralischen Sprachen 4.—7. September 1984 in Hamburg. Hamburg, 1984.
60. *Хелимский Е. А.* Древнейшие венгерско-самодийские языковые параллели. (Лингвистическая и этногенетическая интерпретация). М., 1982.
61. *Бармич М.* Самодийско-угорские языковые контакты.— In: Congressus Quintus Internationalis Fenno-Ugristarum. Turku, 1980, p. III.
62. *Серебренников Б. А.* О некоторых ареальных особенностях ненецкого языка.— В кн.: Теория языка. Англистика. Кельтология. М., 1976.
63. *Hajdú P.* Language contacts in North-West Siberia.— Fenno-ugrica suecana. Journal of Finno-Ugric research in Sweden, 1979, № 2.
64. *Кюннап А.* К вопросу о некоторых гипотетических самодийско-енисейских морфологических соответствиях.— В кн.: Финно-угорские народы и Восток. Тарту, 1978.
65. *Тенишев Э. Р.* О тюркизмах в селькупском языке.— MSFOu, 1977, t. 158.
66. *Терентьев В. А.* Древнейшие заимствования из тюркских языков в самодийские.— В кн.: Проблемы этногенеза и этнической истории самодийских народов. Омск, 1983.
67. *Janhunen J.* Samoyed-Altaic contacts: Present state of research.— MSFOu, 1977, t. 158.
68. *Janhunen J.* On early Indo-European-Samoyed contacts.— MSFOu, 1983, t. 185.
69. *Кюннап А.* Русские лексические заимствования в южносамодийских языках (XIX — нач. XX вв.) — Fenno-Ugristica. 6. Tartu, 1980.
70. *Хелимский Е. А.* Селькупские заимствования в русских диалектах.— Советское финно-угроведение, 1983, вып. XIX.
71. *Künnap A.* Uurali keelte valdajaskond Nõukogude Liidus 1959—1979.— Keel ja Kirjandus, 1983, № 1.
72. *Пустаи Я.* Влияние русского языка на ненецкий язык (с параллелями из других финно-угорских языков).— Annales Universitatis Scientiarum Budapestinensis de Rolando Eötvös nominatae. Sectio linguistica, 1975.
73. *Pusztay J.* Az uráli-paleoszibériai kapcsolatok kérdéséhez.— A Magyar Nyelvtudományi Társaság Kiadvanyai, 1980, sz. 158.
74. *Терещенко Н. М.* О некоторых особенностях языка фольклора ненцев.— Советское финно-угроведение, 1980, вып. XVI.
75. *Hajdú P.* Stilistisch motivierte und gattungsbedingte Änderungen in den uralischen Sprachen.— In: Congressus Qiuntus Internationalis Fenno-Ugristarum. Turku, 1980, p. I.
76. *Эрнитс Э.* К происхождению уральских этнонимов с основой *sa(a)m-*.— Советское финно-угроведение, 1984, вып. XX.
77. *Mark T.* Über das System der Verwandtschaftsnamen im Samojedischen.— FUF, 1977, Bd. 42.
78. *Хелимский Е. А.* Этимологические заметки по энецкой ономастике.— Советское финно-угроведение, 1981, вып. XVII.
79. *Хелимский Е. А.* Ранние этапы этногенеза и этнической истории самодийцев в свете языковых данных.— В кн.: Проблемы этногенеза и этнической истории самодийских народов. Омск, 1983.
80. *Serebrennikov B. A.* Strukturmerkmale der frühuralischen Grundsprache.— UAJb, 1973, Bd. 45.
81. *Хелимский Е.* Тональные оппозиции в уральских языках.— Nyelvtudományi Közlemények, 1977, k. 79.
82. *Joki A. J.* Affinität und Interferenz in den Sprachen des nordeurasischen Areals.— In: Congressus Quartus Internationalis Fenno-Ugristarum. Budapest, 1981, k. I.
83. *Häkkinen K.* Suomen kielen vanhimmasta sanastosta ja sen tutkimisesta. Suomalais-ugrilaisten kielten etymologisen tutkimuksen perusteita ja metodiikkaa. Turku, 1983.

84. *Терещенко Н. М.* Словарь. Ненецко-русский. Русско-ненецкий. Л., 1982.
85. *Рожин А. И.* Ненецкий язык. Чтение, письмо. Учебник для подготовительного класса ненецкой начальной школы. 3-е изд. Л., 1981.
86. Вы' терко. Л., 1980.
87. *Лапцуй Л. В.* Книга для дополнительного чтения во втором—третьем классах ненецких школ. Л., 1979.
88. Книга для учителя ненецкой начальной школы. Л., 1979.
89. *Терещенко Н. М.* Юбилей ненецкой письменности.— Советское финно-угроведение, 1982, вып. XVIII.
90. *Убрятова Е. И.* Создание письменности на языках народов Севера в СССР.— В кн.: Письменность народов Сибири. Новосибирск, 1981.
91. *Скорик П. Я.* Научно-исследовательская и научно-практическая работа в области палеоазиатских и самодийских языков.— В кн.: Письменность народов Сибири.
92. *Селицкая И. А.* О «звонком гортанном смычном» в самодийских языках и о составе алфавита ненецкого языка.— В кн.: Лингвистические исследования. 1981. М., 1981.

ВОПРОСЫ ЯЗЫКОЗНАНИЯ

№ 4 1985

РЕЦЕНЗИИ

Десницкая А. В. **Сравнительное языкознание и история языков.— Л.: Наука,** 1984. 351 с.

Рецензируемая книга А. В. Десницкой — одного из крупнейших наших языковедов — в известной мере является ретроспективой, показывающей развитие концепций автора от исследования генезиса грамматического строя и.-е. языков к анализу истории отдельных языков, прежде всего албанского, и, наконец, шире — к рассмотрению общебалканского ареала и его связей с сопредельными областями.

Первая часть книги, посвященная проблеме образования общеиндоевропейской категории винительного падежа и ее связи с развитием категории переходности, открывается обзором типологических исследований советских лингвистов в 30—40-е годы в области становления номинативного строя и.-е. языков. Эта тематика обрела новую силу благодаря работам в области эргативной конструкции предложения, интерес к которой подсказывался практическими задачами составления школьных грамматик для народов Кавказа, в языках которых представлена эта конструкция, а также спорами о возможности эргативного этапа в истории синтаксиса и.-е. языков [1]. Хотя вначале в основу исследований был положен вариант стадиальной схемы развития языков, впоследствии отвергнутый, конкретный материал позволил довольно убедительно обосновать проблемы общей типологии предложения (работы А. А. Бокарева, С. Д. Кацнельсона, И. И. Мещанинова, М. М. Гухман, А. В. Десницкой и др.). Об изменениях синтаксиса и.-е. языков от иного типа к номинативному писали А. Мейе, К. Бругман, Г. Шухардт, К. Уленбек, а позже — Э. Бенвенист и Е. Курилович. В отличие от них советские языковеды тех лет обращались прежде всего к семантической и синтаксической сторонам языковых явлений, а не только к составу парадигм, причем все обобщения делались на основе историко-типологического подхода. А. В. Десницкая напоминает, что, например, В. М. Жирмунский трактовал сравнительную грамматику типологическую как основу сравнительной грамматики генетической (с. 19—20) (см. также [1]).

В 40-е годы у части языковедов сложилось убеждение, что эргативный строй не предшествовал номинативному, а наряду с ним развился из более древнего типа (Д. В. Бубрих, И. И. Мещанинов). Сама А. В. Десницкая выступала против идеи об эргативном прошлом и.-е. языков на том основании, что ее собственные исследования семантики винительного падежа и категории транзитивности опровергали вывод о развитии номинативного строя из эргативного. Автор отмечает, что подобные заключения согласовывались с мыслями А. А. Потебни [1].

А. В. Десницкая дает развернутое изложение взглядов, бытовавших в среде Института языка и мышления АН СССР с середины 30-х годов. Этот период изучения стадиальной типологии строя предложения в истории так называемого «нового учения о языке» автор называет «мещаниновским», поскольку «ссылки на конкретные положения лингвистической теории самого Н. Я. Марра приобретали все более и более формальный характер, а его методом лингвистического анализа... в сущности уже никто не пользовался» (с. 14, примеч. 11). Она подчеркивает неоднократно, что сам И. И. Мещанинов стремился изучать внутриязыковые явления, опираясь непосредственно на языковые данные.

Ознакомление с обзором деятельности одной из групп ленинградских языковедов в 30—40-е годы, предпринятым одним из ее участников, будет весьма полезным и для будущих историков науки о языке, и для молодых лингвистов 80-х годов. Однако, с нашей точки зрения, следовало бы более четко выделить два момента, которые автор, правда, называет, но не акцентирует. Во-первых, важно подчеркнуть, что в центре интересов в рассматриваемый период стоял синтаксис, тогда как западные ученые вплотную подошли к изучению последнего лишь в конце 50-х годов после детального обследования морфологии [2] и фонологии. Во-вторых, семантике слов, словосочетаний и предложений придавалось большое значение. В наиболее развернутом и, в известной степени, итоговом виде роль семантики

[1] Автор уделяет также внимание (с. 41—49) работам, написанным после 60-х годов по эргативному прошлому и.-е. языков (А. Н. Савченко, Вяч. Вс. Иванов) и по типологии (Г. А. Климов), рассматривая их как продолжение линий, намеченных в 30-е годы.

[2] Заметим, что анализ типологически сходного материала палеоазиатских и американдейских языков шел в 40-е годы в противоположных направлениях: в США от фонологии и морфологии к синтаксису и от него к проблеме соотношения языка и мышления, тогда как для советских языковедов именно эта последняя проблема явилась исходной для синтаксической типологии.

обрисована И. И. Мещаниновым в его книге «Члены предложения и части речи» (1945), где уже в предисловии сказано: «Семантика слова в известной степени обусловливает его роль в предложении» [2, с. 4], а ниже говорится: «Слово имеет свою семантику и с нею вступает в строй предложения, где получает семантическое уточнение или само..., или добавлением к нему в этих целях используемых слов [2, с. 111]. В трудах представителей школы И. И. Мещанинова проблема соотношения синтаксиса и семантики была поставлена в связи с анализом конкретного материала языков различных систем.

В связи с поднятыми в книге А. В. Десницкой проблемами весьма важно, как нам кажется, затронуть один серьезный вопрос истории советского языкознания. Речь идет об отношении к так называемому «новому учению о языке», созданному Н. Я. Марром. Критическая оценка основных идей этого учения — надстроечного характера языка и его классовости, стадиальности [3] и четырехэлементного анализа — была дана в период дискуссии 1950 г. Однако следует признать, что само это учение не было однородным, и после кончины Н. Я. Марра в 1934 г. пошло иным путем, т. к. в процессе синтаксических исследований наметился переход сначала к стадиальной, а затем к исторической типологии. Он явственно проступает при сопоставлении книг самого И. И. Мещанинова, вышедших в 1936, 1940 и 1945 годах. В последней из этих книг идеи марризма фактически отсутствуют. Хотя сам И. И. Мещанинов в предисловии пишет, что работа представляет собой развитие взглядов его учителя, достаточно просмотреть научный аппарат сносок [4], чтобы сделать вывод о перерыве в развитии идей. А. В. Десницкая называет это в сущности особое направление «мещаниновским вариантом», и с этим нельзя не согласиться. Среди наиболее ценных особенностей этого направления следует назвать разработку грамматик разносистемных языков и впервые осуществленное обоснование семантических принципов синтаксической типологии, рассматриваемой в историческом плане.

В первой главе рецензируемой книги А. В. Десницкая дает анализ ряда работ по индоевропеистике зарубежных и советских ученых, а затем предлагает отдельные главы из своего неопубликованного исследования 40-х годов «Развитие категории прямого дополнения в индоевропейских языках». Фрагменты этого труда частично публиковались ранее, но собранный воедино и дополненный материал позволяет впервые представить взгляды автора в целом. Анализируемый обильный языковой материал и общая концепция не могут не заинтересовать читателя 80-х годов, когда на первый план стали выступать проблемы соотношения предметных и признаковых слов, имен и предикатов, пропозиций и валентностей, актантных и тема-рематических связей, т. е. соотношения синтаксиса и семантики [5].

Отвергая гипотезу об эргативном прошлом и.-е. языков, А. В. Десницкая сосредоточила внимание на категории прямого дополнения, в которой «как в фокусе, сходились линии грамматико-семантических явлений, определивших специфику номинативного строя в его отличии от других типов синтаксического строя, в частности от эргативного» (с. 49). Этот анализ проведен прежде всего на материале архаичного языка гомеровской «Илиады», поскольку древнегреческий язык несколько отклонялся по специфике значений и функций винительного падежа от обычной для и.-е. языков нормы более поздних эпох [о винительном падеже автор пишет, что «широта его функций как падежа ближайшего, непосредственного дополнения при глаголе вообще, граничит с различными типами обстоятельственного употребления» (с. 87)]. В этом свете убедительно доказывается, что семантика винительного падежа первоначально была обстоятельственно-определительной, а не объектной. Следовательно, функция прямого дополнения при переходном глаголе является вторичной, причем пережиточно сохраняются и обстоятельственные функции. Специализация винительного падежа как объектного связывается с выделением особых формальных показателей у слов, обозначающих вовлеченный в действие объект при глаголах глобальной семантики, которые первоначально были нейтральны по отношению к транзитивности. Иными словами, в так называемых «абсолютных», или нейтральных, формах сохраняется более архаичный характер винительного падежа, восходящего «к неоформленной именной основе, использовавшейся некогда в обстоятельственно-наречной функции» (с. 119).

Кроме греческого, А. В. Десницкая привлекает данные других языков, в частности, так называемый «объектный дательный» в готском и исландском, и эпизодически касается иносистемных языков, где также нет формальных различий между прямым и косвенным объектами и обстоятельственными формами. Автор показывает, что в древних германских языках

---

[3] Если отбросить постулировавшийся Н. Я. Марром революционный скачок при смене языковых стадий, сама идея стадиальности не содержит в себе ничего противоречащего фактам языкового развития: ее отстаивали такие ученые, как А. А. Потебня, А. Мейе и др.

[4] В этой книге есть ссылки на труды Г. Пауля, А. Мейе, О. Есперсена, Ф. Брюно, Э. Сепира, Ж. Вандриеса, Б. Дельбрюка, А. А. Потебни, А. А. Шахматова, Л. В. Щербы и советских исследователей языков народов СССР, среди которых один раз упоминается и работа Н. Я. Марра, посвященная грамматике древнелитературного грузинского языка, но не его общие труды.

[5] Достаточно сопоставить широко используемое ныне деление глаголов на процессные и стативные с выводами более ранних исследований, посвященных залоговым категориям, о значениях действия и состояния как исходных для системы глагола в и.-е. языках (ср. с. 47—48 рецензируемой книги).

дательный конкурировал с винительным в объектных функциях (в частности, в функции прямого дополнения, например, в др.-исландском с глаголом *unna* «любить» объект стоял в дат. падеже: *Egill unni þordisi* «Эгиль любил Тордис») и имел также обстоятельственные значения. Сопоставление греческого оригинала с готским переводом раскрывает эквивалентность греческого винительного и готского объектного дательного. Рефлекс такого же состояния обнаруживается весьма ярко в исландском языке, где многие глаголы сохраняют унаследованное от более древних этапов абсолютное значение, конкретизируемое объектным дательным, т. е. формой косвенного падежа, (например, глаголы *taka* «брать», *kasta* «бросать», *halda* «держать»).

Превращение категории переходности из лексической в грамматическую сопровождалось, как известно, выделением страдательного залога, т. е. коренной перестройкой принципов организации синтаксических структур. Если подойти к этим процессам с позиций современной функциональной грамматики, то мы бы сказали, что сформировалась возможность ставить слова, обозначающие объект действия, в позицию темы, а слова, передающие значение производителя действия, убирать с этой позиции или даже вообще исключить из текста. Таким образом, стало возможным превращать объект действия в исходный пункт высказывания, причем слово, его обозначающее, ставить в именительном падеже, а не в винительном, исконно «предназначенном» для его выражения. Дальнейшая специализация компонентов ремы выразилась в закреплении формальных показателей, дифференцировавших типы дополнений и обстоятельств [3].

В двух следующих частях рецензируемой книги А. В. Десницкая исходит из современных представлений в области типологии, ареальной лингвистики и социологии языка, хотя и в них учитывается богатейший материал традиционной индоевропеистики. Наряду с классической гипотезой о богатстве флексий в позднем общеиндоевропейском состоянии (с. 177—178 и др.) и наличии в нем развитой сети диалектов широко учитываются схождения языков в рамках балканского языкового союза и воздействие субстратных явлений. Важно также то, что фонетические процессы обретают в книге морфонологическое истолкование, и то, что происхождение индоевропейских флексий трактуется не как результат агглютинации, а как отражение действия морфонологических процессов.

Вторая часть книги открывается главой об истоках советской кельтологии. Следует отметить тонкие наблюдения автора, касающиеся причин повышенного интереса к исследованию языков, литератур и истории кельтских народов. Несомненно, что экспансия кельтских племен в VI—II вв. до н. э. на территории от Пиренейского п-ова до Малой Азии наложила свой отпечаток на всю дальнейшую общественно-политическую историю большей части Европы, наталкивая историков, археологов и этнографов на поиски «кельтских корней». С другой стороны, кельтские литературы очевидным образом повлияли на формирование новых европейских литератур, и, кроме того, они сами по себе представляют интереснейший предмет исследования. Ирландская литература, например, уступает по объему лишь древнегреческой и римской, а древнеирландские саги, по образному определению К. Джексона, являются «окном в железный век» [4]. Для лингвистов кельтские языки с их структурой, столь отличной от «среднеевропейского стандарта», несомненно представляют заманчивый объект исследования.

А. В. Десницкая отмечает большую роль, которую сыграли в привлечении внимания к кельтским литературам у нас в стране акад. А. Н. Веселовский и, особенно, А. А. Смирнов. Переводы древнеирландских саг, сделанные последним, долгое время стимулировали интерес к кельтам и их языку (ср., например, работы В. Н. Ярцевой [5, 6]).

В следующей главе А. В. Десницкая ставит очень важный вопрос — каким образом соотносятся крайне своеобразные структуры островных кельтских языков с той общеиндоевропейской моделью, которая довольно надежно реконструируется современной наукой. Автор совершенно обоснованно отказывается видеть в таком развитии лишь влияние доиндоевропейского субстрата (в духе Ю. Покорного или Г. Вагнера), поскольку «вряд ли правомерно говорить о неиндоевропейском характере своеобразных черт кельтских языков» (с. 173). Она обращается к материалу древних кельтских языков — галльского, кельтиберского и лепонтийского, в которых эти черты гораздо менее заметны. Памятники континентальных кельтских языков, обнаруженные за последние полтора десятилетия, показывают, что в них была классическая семипадежная система склонения, свободный порядок слов в предложении и отсутствовали система чередований начальных согласных, перегласовок и прочих изменений ассимилятивного характера. А. В. Десницкая справедливо отмечает, что коренные преобразования древней системы характерны и для других и.-е. языков первого тысячелетия н. э.— народной латыни, германских, албанского и др. Интенсивные процессы перестройки фонетической и морфологической систем также падают на IV в. н. э. в бриттском и на V—VI вв. н. э. в ирландском. Ускоренный, «лавинообразный» темп языковых изменений в островных кельтских языках представляется возможным связать и рядом общественно-исторических факторов — интенсивными миграциями различных племен, христианизацией, развалом римской администрации в Британии, нашествием англосаксов и последовавшими за ним войнами. Параллельность развития многих процессов в языках Британских островов предпочтительнее рассматривать не как латентное воздействие субстрата, а в терминах языкового союза и ареальной конвергенции с учетом тесных контактов между носителями языков. Автор подчеркивает, что ряд кельтских черт находит объяснение при сопоставле-

нии с ранней историей других и.-е. языков (использование морфонологических средств при перестройке флективной структуры, типы словообразования, синтаксические модели и др.).

Далее в книге следуют главы, посвященные албанскому языку, история которого трактуется с учетом не только исторических, но и социальных отношений соответствующих эпох (с. 180, 266—267, 289 и др.). Это позволяет на новом материале еще раз продемонстрировать неразрывную связь внешней и внутренней лингвистики. Автор подчеркивает, что для и.-е. языкознания проблема соотношения албанского с родственными языками «имеет два аспекта: 1) собственно генетические связи и 2) связи, обусловленные историческими контактами древнейшей поры» (с. 211), т. е. до переселения праалбанцев на Балканы. В свете ареальной лингвистики А. В. Десницкая констатирует, что Балканский п-ов заселялся племенами — носителями и.-е. языков, пришедшими с севера, а албанский язык продолжал непрерывную линию развития одного из языков центрального индоевропейского языкового ареала. Особо подчеркивается важность изучения диалектов албанского языка, сохраняющих древние черты, поскольку его письменные памятники датируются лишь с XV в. н. э. Автор предлагает классификацию албанских диалектов.

Рассмотрение проблем истории албанского языка А. В. Десницкая начинает с исследования соответствий древних балканских и балтийских языков по данным фракийского, дакийского и иллирийского ономастических ареалов (топонимика и гидронимика), свидетельствующих не только о доисторических языковых контактах носителей этих языков, но и о происхождении последних из одной области. Можно вступить в полемику с автором по отдельным частным примерам или по более общим соображениям, но несомненно, что в рецензируемой книге впервые в нашей стране наиболее полно представлен материал по истории албанского языка, а также его связям с другими языками. Поскольку о палеобалканских языках прямых сведений нет, а косвенные данные весьма скудны, историко-типологические реконструкции из истории албанского языка и его диалектов выступают в роли единственных «свидетелей» прошлого.

Весьма интересны общие изоглоссы албанского и балтийских языков, иллюстрируемые на примере этимологии слов со значениями «болезнь», «время», «год», «серый», «мальчик» и др. Следует отметить также фонетические соответствия, сходные деривационные модели, общность некоторых элементов парадигм именного склонения не только в указанных языках, но и в восточнороманских. Инновацией древнеалбанского языка является утрата категории среднего рода, изоглосса исчезновения которой охватывает протяженный ареал от балтийских языков на севере до поздней латыни и романских языков на юге: «Албанский язык, происходящий от какого-то из языков палеобалканской области, составляет в этом отношении как бы промежуточное звено», — отмечает автор (с. 209). Она также высказывает предположение, что исходным моментом для «ослабления» категории среднего рода могло быть соотношение с возникшей в албанском языке категорией собирательности, «принявшей на себя определенную часть значений и функций среднего рода» (с. 210; см. [7]).

Центральный характер албанского языка выявляется, по мнению А. В. Десницкой, также в наличии переходных признаков, прослеживаемых от востока к западу (совпадение в кратком *a* и.-е. краткого **o* и краткого **a*, отражение звонких аспирированных смычных как простых смычных и, наконец, «непоследовательная сатемность»).

Далее в книге рассмотрены древние германо-албанские связи, продемонстрированы соответствия в лексике и предложен ряд новых этимологий (например, алб. *mund* «мочь, быть в силах, побеждать» и др.-англ. *mund*, др.-в.-нем. *munt* «рука, защита», др.-исл. *mund* «рука»). Особо выделены слова экспрессивной лексики, в которых возможно нарушение закономерностей звуковых чередований. Автор отмечает ряд соответствий, характерных не только для албано-германского, но и для италийского ареалов, например, переоформление количественных чередований в качественные в системе глагола, преобразование индоевропейских перфектных и аористных форм в единую парадигму претерита, наличие двух типов спряжения («сильного» и «слабого»). В германо-албанском ареале обращают на себя внимание и процессы ассимилятивного варьирования в вокализме ударных слогов, получившего морфонологическую значимость — аблаут и умлаут, причем последний трактуется не как остаток общего индоевропейского наследия, а как пример типологического параллелизма развития языковых структур в относительно позднее время. Однако, как пишет сама А. В. Десницкая, «когда дело касается генетически родственных языков, типологические сходства, особенно, если они имеют столь специфический характер, не должны быть относимы к разряду случайных совпадений» (с. 239). Иными словами, есть основания предполагать наличие более глубоких индоевропейских фонетических тенденций.

Методически весьма важной представляется глава о некоторых вопросах изучения ранних периодов истории албанского языка. В ней предлагается периодизация истории и рассматриваются методы реконструкции этапов эволюции вплоть до появления письменных памятников. При реконструкции прото- и праалбанского состояния (III—I вв. до н. э.), очевидно, необходима ориентация на восстановленную праиндоевропейскую модель, которая становится естественной точкой отсчета. Древнеалбанский период (от последних веков до н. э. до конца I тысячелетия н. э.) и среднеалбанский период (от начала II тысячелетия до конца XVI в., т. е. времени появления письменных свидетельств) могут быть воспроизведены в общих чертах с помощью метода внутренней реконструкции, хотя

на полноту картины рассчитывать не приходится. В изучении исторической фонетики особая роль отводится анализу заимствований из латыни в древнеалбанский. Совмещение данных относительной хронологии с абсолютной датировкой возможно при тщательном поиске и изучении албанских топонимов и имен собственных в латинских и греческих текстах I — начала II тысячелетия н. э. Можно отметить, что подобная работа на материале бриттских языков позволила К. Джексону [4] установить очень точную и надежную относительную и абсолютную хронологию важнейших фонетических изменений с I по XII вв. н. э. при практически полном отсутствии текстов I—VIII вв. Подобная реконструкция других уровней языковой системы вряд ли возможна. Из отмеченных автором морфологических изменений (регенерация системы падежных флексий, утрата дифференциации типов склонения по основам с заменой различий по двум грамматическим родам и др.) для древнеалбанского периода весьма существенно развитие противопоставления основ единственного и множественного числа (с. 246—247), находящее точное соответствие в истории ирландского языка: показатели множественного числа образуются из старых флексий и основообразующих формантов в результате переразложения. Отмечается также упорядоченность фономорфологических типов именного склонения в ряде современных ирландских и шотландских (кельтских) диалектов, что лишний раз свидетельствует о значительном параллелизме в эволюции различных «новых» и.-е. языков. К этой тематике примыкает и глава о диалектологии как основе изучения истории албанского языка, поскольку диалекты, в некоторых случаях сильно разошедшиеся, являются ценным источником для реконструкции этого языка. Сравнительный анализ гегских и тосских диалектов позволил объяснить возникновение такого явления, как тосский ротацизм, еще в первом тысячелетии н. э.

Читая книгу А. В. Десницкой, легко понять, что соотношение архаизмов и инноваций в различных современных диалектах может быть выведено из корреляции диалектных языковых фактов и историко-географического контекста. Наряду с этим самого пристального внимания заслуживают такие источники разнообразнейших архаизмов, как устно-поэтическое койне и язык памятников обычного права. Именно в эпическом и юридическом языках можно ожидать консервации как лексических, так и синтаксических архаизмов, что наблюдается, например, в таких различных традициях, как хеттская, латинская и славянская. Наддиалектное койне эпоса, видимо, может предоставить весьма ценный материал для реконструкции общеиндоевропейского поэтического языка. В свою очередь динамика диалектного дробления в исторически хорошо документированный период сможет облегчить задачу по реконструкции истории носителей албанских диалектов в наиболее «темные» периоды I тысячелетия н. э. В целом можно отметить, что главы по истории албанского языка дополняют концепцию А. В. Десницкой, содержащуюся в ее предыдущих работах.

Третья часть книги, названная «Balcanica», открывается анализом сходства фонетической эволюции некоторых албанских и восточнороманских диалектов, известной под именем «палатализации губных» в сочетаниях типа [bj, pj]. По мнению А. В. Десницкой, однако, это явление представляет собой не что иное, как преобразование [j] в среднеязычный смычный с последующим отпадением губно-губного смычного.

Несколько разделов этой части посвящены анализу балканской лексики. Показано, что часть пастушеской лексики в дако-романских языках является заимствованной из албанского, диалекты которого насыщены терминами овцеводства и переработки молока. Ряд балканизмов обнаруживается в лексике карпатского ареала, где наличествуют романские термины горнопастбищного скотоводства и пастушеского быта, часть которых имеет албанское происхождение (то же относится и к ряду топонимов). Отмечено, однако, что не все этимологии ясны, хотя бесспорен факт миграций терминов балканского пастушества. Анализ эволюции значений просторечного латинского слова *buccа* «щека; кусок пищи, принимаемый за один раз; рот» в западной Романии, где за его рефлексами сохранилось последнее значение, и в восточной Романии, где закрепилось значение «пища, хлеб» (например, в румынских диалектах), позволил показать пути распространения его на восток через Карпаты в восточнославянские языки (ср. белорусск. *букатка* «каравай хлеба» и зарегистрированное В. Далем в саратовских говорах русского языка *буката* «булка»). В албанском соответствующее заимствованное слово тоже имеет значение «хлеб; еда».

В качестве последнего раздела рецензируемой книги предложено интересное исследование группы семантически связанных балканских элементов в русской народно-обрядовой лексике, возникших в результате контакта восточных славян с придунайским населением этнокультурного балканского ареала (конец I тысячелетия н. э.): *коляда*, *кутья—коливо*, *кулич*, *багатье* (укр. *багаття*), *ватра — ватрушка*, *карачун*, *русалка*, *кум*.

В книге А. В. Десницкой представлен весьма разносторонний и очень информативный материал, обогативший науку о языке. Некоторые издательские опечатки (с. 78, 80, 124, 153, 190, 235, 241, 246, 257, 287), хотя и досадны, но не умаляют значимости самого труда, который, безусловно, должен явиться стимулом для дальнейших исследований в таких областях, как албанистика, кельтология, индоевропеистика, историческая типология, ареальная лингвистика, теория и история языкознания.

Королев А. А., Слюсарева Н. А.

ЛИТЕРАТУРА

1. *Климов Г. А.* Типологические исследования в СССР. 20-е — 40-е годы. М., 1981.

2. *Мещанинов И. И.* Члены предложения и части речи. М.— Л., 1945.
3. *Ли Ч. Н., Томпсон С. А.* Подлежащее и топик: новая типология языков.— В кн.: Новое в зарубежной лингвистике. Вып. XI. М., 1982.
4. *Jackson K.* Language and history in early Britain. Edinburgh, 1953.
5. *Ярцева В. Н.* Синтаксис инфинитива в древнеирландском языке.— Уч. зап. ЛГУ, 1940, № 58.
6. *Ярцева В. Н.* Древнеирландский и другие кельтские языки в системе индоевропейских языков.— Уч. зап. ЛГУ, 1940, № 60.
7. *Десницкая А. В.* Категория собирательности и категория массы в истории грамматического строя албанского языка.— В кн.: Грамматический строй балканских языков. Л., 1976.

Кузьмина С. М. **Теория русской орфографии. Орфография в ее отношении к фонетике и фонологии.** — М.: Наука, 1981. 265 с.

Как связаны между собой русская орфография и язык? Решение этой проблемы имеет не только теоретическое, но и сугубо практическое значение. От него зависят и успешная разработка методики преподавания, и пути усовершенствования русской орфографии. Поэтому хочется обратить внимание всех, кто заинтересован в решении этих задач, на рецензируемую работу, в которой отношения между русским языком и его орфографией (в пределах той ее части, которая определяет выбор букв для передачи словоформ) описаны с наибольшей полнотой и последовательностью.

В описании отношений между орфографией и языком автор последовательно исходит из теории Московской фонологической школы. Идея фонематического принципа русской орфографии, выдвинутая основоположниками этой школы, послужила отправным пунктом для многих теоретических исследований и практических рекомендаций в области русской орфографии. Но исчерпывающее описание отношений между русским письмом и фонологической системой современного русского литературного языка впервые дается в книге С. М. Кузьминой.

Фонологический подход проявляется в этой книге не только в трактовке орфографических правил, но и в определении самого понятия орфографии. Сопоставляя различные точки зрения на место орфографии в системе письма, автор выдвигает свое понимание орфографии как совокупности правил использования букв для обозначения фонем в отличие от суперорфографии, т. е. правил использования «суперорфографических» средств (прописных и строчных букв, пробелов и дефисов), а также иероглифики, т. е. правил использования цифр и других иероглифических знаков. Я думаю, что такое деление разумно, потому что для правильного использования каждого из выделенных типов средств нужны совершенно разные правила, учитывающие различный комплекс сведений о языке.

Главной задачей автора была разработка полного перечня правил перехода от фонем к буквам. Но в непосредственном наблюдении нам даны не фонемы, а звуки. Поэтому правилам перехода от фонем к буквам (собственно орфографическим правилам) предпосланы в книге правила перехода от звуков к фонемам.

Такой двухступенчатый переход от звучащей речи к письменной отвечает фонематической природе русского письма (буквами передаются фонемы, а не звуки) и позволяет, как справедливо замечает автор, «четко отграничить проблемы написания от проблем иного порядка» (с. 17), что очень существенно для кодификации орфографических норм.

Правила перехода от звуков к фонемам и от фонем к буквам построены С. М. Кузьминой однотипно (в той мере, в какой это допускает сам характер правил). Они даны в виде таблиц, где для каждого правила указаны все те (и только те) условия, которые существенны для определения фонемы (в первой категории правил) или выбора буквы (во второй категории правил), причем условия эти расклассифицированы и помещены в соответствующих графах, так что сразу виден характер обусловленности применения того или иного правила. Индивидуальные условия графически выделены. В последней графе приводятся примеры.

Такое построение достаточно наглядно и удобно для сопоставления различных правил по тем или иным параметрам. Поэтому читатель получает возможность самостоятельно проверить наблюдения и выводы, которые делает автор на основании анализа каждой категории правил. Так, например, построение собственно орфографических правил позволяет сопоставить их по количеству буквенных соответствий одной фонеме (или гиперфонеме), по регулярности применения, по характеру условий, существенных для разных правил.

Оценивая различные правила по указанным параметрам, автор выделяет основные и неосновные буквенные соответствия. Орфографические трудности связаны именно с неосновными буквенными соответствиями, а степень этих трудностей зависит от количества условий, которые определяют выбор букв (чем больше условий приходится учитывать, тем труднее правило), и от того, насколько регулярно используются эти условия в правилах перехода от фонем к буквам (уникальность условий делает правило более трудным).

Таким образом, правила, разработанные и проанализированные автором, дают в руки кодификаторов орфографии объективные критерии для оценки орфографических норм. Кроме того, автор и сам, пользуясь этими критериями, оценивает некоторые предложения по усовершенствованию русской орфографии, выдвигавшиеся ранее. Нельзя сомневаться в ценности предложенных правил и выводов из них для дальнейшей работы в области усовершенствования русской орфографии. Это не значит, что анализ правил, разработанных С. М. Кузьминой, дает исчерпывающие аргументы в пользу того или иного практического решения. Кодификаторам орфографических норм приходится учитывать более широкий круг вопросов, в том числе, как справедливо полагали Р. И. Аванесов и А. А. Реформатский, в каких-то пределах и территориальное варьирование русского языка.

Так, выдвигалось предложение передавать одну гиперфонему всегда одним и тем же способом. Например, гиперфонему ‹о/а› всегда передавать буквой *а* (*тапор*, *сапог*) или всегда буквой *о* (*топор*, *сопог*) и т. п. С. М. Кузьмина произвела подсчеты, которые показывают, какую букву рациональнее избрать, если это предложение будет принято. Но нужно ли его принимать? С. М. Кузьмина на этот вопрос не отвечает, поскольку предложения по усовершенствованию орфографии непосредственно не входят в ее задачу, но положительный ответ на этот вопрос безусловно вытекает из составленных ею правил, которые ориентированы на фонологическую систему литературного языка. Однако при оценке этого предложения следует подумать о том, что оно серьезно задевает интересы носителей оканья. Конечно, орфографические нормы рассчитаны на литературный язык. Но нужно учесть, что оканье широко распространенная и устойчивая диалектная черта, которая сохраняется у многих высокообразованных людей. Унификация правописания гиперфонемы литературного языка ‹о/а› создала бы для них бо́льшие трудности, чем разнобой в ее передаче для носителей аканья, потому что антифонемные написания (такие, как *тапор* или *сопог* для носителей оканья) хуже, чем просто непроверяемые, но не противоречащие фонемному принципу (*топор* и *сапог* для носителей аканья). Первые противоречат фактам языка, а последние не противоречат языковым фактам, хотя и не определяются ими однозначно. Однако и в этом случае, когда необходимо выйти за пределы рассматриваемого С. М. Кузьминой материала, сам принцип оценки написаний целиком вытекает из тех критериев, которые наиболее полно и точно сформулированы в ее книге.

Двухступенчатый переход от звуков к буквам целесообразен и с точки зрения методики преподавания русской орфографии. На нем основаны школьные правила правописания безударных гласных, глухих и звонких согласных и другие правила того же типа, суть которых заключается в определении фонемной принадлежности звука в слабой позиции по сильной позиции. Чтобы облегчить практическое применение этих правил, С. М. Кузьмина посвятила специальную главу типам проверок. Разработка типов проверок должна помочь пишущему быстрее найти ту форму, где проверяемая фонема находится в сильном положении. Эта глава должна привлечь особое внимание педагогов, методистов, авторов учебников и сборников упражнений. Поэтому было бы очень полезно, если бы С. М. Кузьмина написала на ее основе специальное пособие, посвященное типам проверок.

Все установленные автором типы проверок делятся на две группы: проверки другими формами той же лексемы (более простые) и проверки формами однокоренных лексем (более сложные). Проверка форм одного вида формами другого вида отнесена автором к первой группе. Хотя часть ученых считает видовую пару глаголов формами одного слова, следует учесть, что в школе, для которой и разрабатываются типы проверок, глаголы совершенного и несовершенного вида рассматриваются как разные слова, причем такая трактовка, по-моему, более оправдана и в теоретическом плане [см. 1].

Полезно, что к типам проверок даны указания о запретах тех или иных проверок для некоторых словоформ или определенных классов словоформ. Запреты охватывают различные случаи. Это и написания, противоречащие фонемному принципу типа *расти* (ср. *рос*), *пловец* (ср. *пла́вать*), и те случаи, когда в однокоренных словах наблюдается чередование фонем. Так, например, нельзя проверять написание глагола *протереть* существительным *протирка*, но не потому, что это написание антифонемно, а потому, что здесь другая фонема (ср. *протёртый*). Оба типа запретов нужны, но было бы целесообразно указать на различные причины этих запретов.

Попутно замечу, что место для главы о типах проверки (после правил перехода от звуков к фонемам) выбрано не очень удачно и название ее нуждается в уточнении. Глава называется «О способах определения фонемного состава основ», а тема ее несколько у́же: не вообще об определении фонемного состава основ, а с целью выбора буквы для правильного написания. Отсюда и запреты на проверку безударных гласных ударными в таких морфемах, как ‹рост› (*расти*, *растение*) или ‹гар› (*гореть*). Если бы речь шла просто об определении фонемного состава этих корней (безотносительно к написанию), то подобные запреты не имели бы места. Они вытекают не из правил перехода от звуков к фонемам, а из правил перехода от фонем к буквам. Поэтому главу о типах проверок следовало бы дать не после правил перехода от звуков к фонемам, а после правил перехода от фонем к буквам или же в качестве приложения.

Анализ правил перехода от фонем к буквам дает автору материал и для уточнения некоторых теоретических представлений об устройстве русской орфографии. Так, автор приходит к выводу, что в русском языке нет написаний, которые можно было бы бесспорно считать фоне-

тическими. Наиболее, казалось бы, убедительный пример фонетических написаний: различное правописание приставок *из-*, *без-*, *через-* и т. п. перед глухими и звонкими согласными получает другую трактовку. Как уже отмечал Р. И. Аванесов для слова *безвкусный* [2], написание приставки определяется следующей буквой, а не звуком (в данном случае глухим [ф]). С. М. Кузьмина находит подтверждение этой закономерности в результатах поставленного ею специального эксперимента (написание окказионализмов *черезвторниковый*, *бессбруйный*).

В некоторых работах по орфографии, также исходящих из представлений о главенстве фонематического принципа орфографии, упоминаются и различные другие принципы: фонетический, этимологический, морфологический, символический и т. п. Работа С. М. Кузьминой убеждает, что с синхронной точки зрения можно говорить только о двух типах написаний: фонематическом и нефонематическом. Нефонематическим написаниям в правилах С. М. Кузьминой отвечают такие написания, которые получаются в результате применения правил, ограниченных определенными (причем не фонологическими) условиями.

Это очень существенная мысль. Для буквенного письма возможны, как уже отмечали И. С. Ильинская и В. Н. Сидоров [3], только два принципа: фонетический или фонематический. Ни на каких других принципах правила выбора букв не могут быть построены. В русской орфографии, что можно считать уже доказанным и что еще раз ярко подтверждается всей книгой С. М. Кузьминой, действует фонематический принцип. Все нефонематические написания могут рассматриваться как отступления от этого принципа в определенных условиях, которые фиксируются в правилах, но не проявлениями каких-то особых принципов, поскольку отступления от фонематического принципа именно в этих (а не в других условиях) с синхронной точки зрения не могут быть объяснены.

Необходимость разработки полного перечня правил перехода от звуков к фонемам и от фонем к буквам потребовала от автора рассмотреть целый ряд трудных теоретических проблем фонологии и морфемики. Понятие гиперфонемы, правомерность использования косвенных критериев определения фонемной принадлежности звуков при невозможности проверки по сильному положению, фонемная интерпретация двойных согласных, критерии членимости слова — вот неполный круг спорных проблем, по которым автор должен был принять определенное, хотя иногда и условное решение. Решения, которые принимает С. М. Кузьмина, всегда убедительны с точки зрения специфических целей ее работы, а в ряде случаев они представляют и более широкий интерес.

К таким вопросам прежде всего относятся проблемы гиперфонем и фонемной интерпретации двойных согласных. Интерес представляет уже сам анализ существующих точек зрения на гиперфонему, различие которых до сих пор не формулировалось так точно, как это сделано в книге (отмечу попутно, что это же относится и к разделу о графике и орфографии). Что касается принятых автором решений, то принципиально важным является стремление автора использовать любые закономерности, дающие возможность косвенным способом определить фонемную принадлежность звука и тем избавиться от лишних гиперфонем. Такой подход вполне оправдан не только с точки зрения простоты орфографических правил. Не менее существенен он и для описания морфологии и словообразования. Думаю, что это не просто вопрос удобства описания, но что за таким решением стоит определенная языковая реальность [см. 4]. Особый интерес представляет благодаря новизне и обстоятельности аргументации разработка вопроса о гиперфонемах по отношению к твердым и мягким согласным.

Принципиально важной представляется авторская трактовка фонемного статуса двойных согласных. В отличие от традиции двойные согласные интерпретируются С. М. Кузьминой одинаково как в общеупотребительных, так и специальных, малочастотных словах. Действительно, нет оснований априорно рассматривать фонетику малочастотных специальных слов как особую подсистему. Правильнее, по-моему, распространять на малочастотные слова общие закономерности во всех тех случаях, когда это не противоречит фактам, т. е. исходить из презумпции единства системы. Это и привлекает в решении, предложенном С. М. Кузьминой.

В заключение позволю себе несколько замечаний и уточнений.

Не могу согласиться с тем, что фонема является мельчайшей незнаковой единицей языка (с. 12). Такое определение предполагает, что звук является единицей речи, а не языка. Но может ли единица языка (фонема) представлять собой чередование единиц речи (звуков)? Вслед за П. С. Кузнецовым [5] я считаю, что московское понимание фонемы предполагает, что есть не только звуки речи, но и звуки языка. Они-то и являются мельчайшими незнаковыми единицами языка.

С. М. Кузьмина, определяя эмпирически необходимую ей степень точности фонетической транскрипции, отказывается сформулировать общий критерий отбора знаков. Мне кажется, что необходим и достаточен для построения правил перехода от звуков к фонемам набор знаков, обеспечивающий обозначение всех фонем языка и позиционных вариантов, в которых совпадают разные фонемы, если звуки, в которых они совпадают, не могут быть объединены (по своим фонетическим свойствам) ни с одним из звуков, представленных на месте этих фонем в сильном положении. Поэтому, например, нет необходимости в специальном знаке для [а] в первом предударном слоге ([вдда́]), но необходим знак для редуцированного гласного в других безударных слогах ([въдавóс]). Избранная С. М. Кузьминой система знаков полностью отвечает

такому критерию. Какая же языковая реальность стоит за этой удобной для правил перехода от звуков к фонемам системой транскрипции? Возможно, что это именно набор звуков языка (в отличие от звуков речи).

Автор убедительно, с моей точки зрения, доказывает, что графика и орфография не являются разными разделами правописания. Значит ли это, что понятие графики он считает вообще излишним? Хотя прямо это не утверждается, но такое впечатление создается у читателя. Между тем понятие графики все-таки полезно, если понимать под графикой основные способы буквенного обозначения фонем в сильной позиции. Так, методисту, очевидно, полезно различать орфографические ошибки, нарушающие и не нарушающие принципы графики, поскольку они требуют разного подхода, а кодификатору — учитывать, затрагивает или нет предполагаемое изменение орфографии систему графики.

Таковы некоторые соображения, вызванные чтением книги С.М. Кузьминой. Естественно, что в небольшой рецензии нет возможности осветить все грани этой работы, представляющей большой теоретический и практический интерес и наталкивающей на дальнейшие размышления.

Булатова Л. Н.

ЛИТЕРАТУРА

1. *Авилова Н. С.* Вид глагола и семантика глагольного слова. М., 1976.
2. *Аванесов Р. И.* Приставки на ⟨з⟩ — В кн.: О современной русской орфографии. М., 1964, с. 119.
3. *Ильинская И. С., Сидоров В. Н.* Современное русское правописание.— Уч. зап. МГПИ им. В. П. Потемкина, 1953, XXII, вып. 2, с. 8.
4. *Булатова Л. Н.* О специфике определения фонемной принадлежности безударных гласных в составе окончаний (на материале русских говоров).— В кн.: Общеславянский лингвистический атлас. Материалы и исследования. 1981. М., 1984.
5. *Кузнецов П. С.* Об основных понятиях фонологии.— ВЯ, 1959, № 2.

Казарян Б. К. **Частотный словарь современного армянского языка** (около 36 000 слов). Ред. Григорян В. М.— Ереван: Изд-во АН АрмССР, 1982. 758 с. (на арм. яз.).

В мировой статистической лексикографии существенное место принадлежит работам советских лингвостатистиков. Среди составляемых ими частотных словарей (ЧС) заметно выделяются ЧС языков народов СССР, поэтому внимание научной общественности будет привлечено к опубликованному недавно ЧС армянского языка. Он создан на базе коллективных исследований, выполнявшихся с 1967 г. в Отделе общей и сравнительной лингвистики, в Отделе структурной и математической лингвистики, а также в Лаборатории информационно-вычислительных систем Института языка им. Г. Ачаряна АрмССР.

Словарь примечателен не только тем, что представляет собой первый опыт составления ЧС данного языка, но и объемом подвергшихся расписыванию текстов: их общая длина равна 2 026 148 словоупотреблениям. С этой точки зрения рецензируемый ЧС является самым обширным в отечественной статистической лексикографии. В нем приводятся 32,6 тыс. из 41 тыс. обнаруженных в выборке разных слов.

Словарь состоит из частотного списка 19,4 тыс. слов с частотами не менее 3, алфавитного списка 13,3 тыс. слов с частотами 1—2 и алфавитно-частотного списка слов с частотами не менее 10.

Во введении характеризуется качественный и количественный состав выборочной совокупности текстов, опубликованных в 1950—1973 гг., и методика их расписывания (вручную). Их объемы распределены в выборочной совокупности следующим образом: художественная литература — 270 тыс.; поэзия — 230 тыс.; детская литература — 203 тыс.; драматургия — 155 424; лингвистическая литература — 178 тыс.; литературоведение — 230 тыс.; научно-популярная литература — 101 724 тыс.; учебники — 210 тыс., журналы — 200 тыс., газеты — 180 тыс. словоупотреблений соответственно. Кроме того, в выборку включены также 68 тыс. словоупотреблений, относящихся, согласно автору, к «нейтральному словарю» учеников 8—10 классов школы. Последняя часть корпуса, методика ее отбора и анализа никак не прокомментированы составителем. Судя по другим публикациям Б. К. Казаряна [1], она получена в результате ассоциативного эксперимента по выявлению «резервного» вокабуляра школьников. В таких экспериментах испытуемые называют слова, ассоциирующиеся в их сознании с той или иной заданной темой. Действительно, обращение хотя бы к началу частотного списка показывает высокую частотность и распространенность по всем 11 частям корпуса слов со значениями «быть», «говорить», «иметь», «приходить», «человек», «видеть», «идти», «много», «давать», «все», «большой», «время», тогда как слова со значениями «и», «он», «что», «я», «ты», «тот», «в», «сам», «если», «но» зарегистрированы лишь в 10 частях, и это совершенно естественно.

Все это, думается, следовало объяснить в предисловии, так же как и аргументировать возможность суммирования данных о словах, зафиксированных в

тексте (с их текстовыми частотами), и данных о «резервных» словах (уже не с частотами в тексте, а с числом информантов, назвавших каждое из них?).

В предисловии обсуждается проблема определения необходимого объема выборки. В качестве пороговой «достоверной» избрана частота 44 или, в относительном выражении,— 0,000022. По использованной автором формуле, которую он приводит в другой своей работе [2], именно такую частоту должно иметь последнее слово верхней зоны ЧС, обеспечивающее покрытие 90% текста. После определения пороговой относительной частоты 0,000022 ее значение подставляется в формулу Ципфа $p_r = k \cdot r^{-\gamma}$, откуда выводится величина ранга r этой частоты, равная 4545. На этом обсуждение проблемы заканчивается. Полученный результат используется для оценки эффективности определенной таким образом достоверной зоны ЧС. 4545 самых частых слов ЧС заняли от 89 до 92% всех словоупотреблений в 7 контрольных текстах (их список указывается) общей длиной 140 тыс. словоупотреблений.

На логарифмическом графике рангового распределения Ципфа представлены данные о 15 тыс. самых частых слов.

Далее в предисловии приводятся образцы карточек, на которые при расписывании текстов заносилось каждое слово в его словарной форме, а также карточек, на которые заносились составные глаголы, каждый из которых рассматривался как одно слово. При расписывании не фиксировались имена собственные и числительные (не сообщается, учитывались ли их употребления в общем объеме выборки).

Глаголы в форме страдательного залога, субстантивированные причастия, лексические омонимы и различные орфографические варианты регистрировались как самостоятельные словарные единицы.

Рассматривается средняя (графемная) длина самых частых слов, разбитых по 50 единиц. Она колеблется в пределах от 3,5 до 6,2 буквы, нарастая с уменьшением частоты. Более информативными, однако, были бы данные о длине не столько слов, сколько словоформ (как в словаре, так и в тексте).

Частотный список содержит в себе слова с частотами не менее 3. При каждом из них указывается его частота, распространенность по текстам (из 89) и по всем 11 частям выборочного корпуса. Список слов с частотами 1—2 упорядочен по алфавиту без какой-либо цифровой информации. В алфавитно-частотном списке слов с частотами не менее 10 при слове в виде дроби указывается частота (числитель) и распространенность по текстам (знаменатель) по отдельности для всего корпуса и для каждой из его 11 частей. Омонимы в пределах одной группы размещаются по их частоте.

Рецензируемый ЧС содержит богатейшие сведения о реальном употреблении лексики армянского языка в современных текстах различного содержания и жанрово-стилистической принадлежности. Он послужит ценным материалом для многочисленных собственно лингвистических, социолингвистических, лингводидактических и других исследований. Доступ к этим данным должны иметь не только носители армянского языка или те, кто специализируется в его изучении. Он представляет большой интерес и для специалистов в области квантитативного языкознания. Именно поэтому в предисловии следовало в более явном виде представить минимальную статистическую информацию, а ее в нем недостает. Та же, которая там имеется, не всегда удовлетворительна.

Во-первых, отсутствует четкое указание на число слов, включенных в каждую часть словаря. Если из соображений экономии места пришлось пренебречь частотными рангами слов, то можно было бы дать их таблицей. Во-вторых, округленные числа (см., например, объемы 9 из 11 частей корпуса) с 3—5 нулями соседствуют с такими числами, как 2 026 148 (весь корпус) и 155 424 и 101 724 (объемы других частей), но при этом число всех слов ЧС дается округленно, как и число слов, приводимых в словаре. Отсюда, в-третьих, расхождения в числах, приводимых автором, и в числах, которые получает читатель, сам проделывающий соответствующие подсчеты по этому ЧС. На с. 6 объем публикуемого словаря указан как 36 200 слов. Однако фактически в частотном списке приводятся 19.4 тыс. слов с частотами не менее 3 и 13,3 тыс. слов в списке с частотами 1—2. Кроме того, алфавитно-частотный словарь содержит 11 тыс. самых частых единиц, которые, естественно, не суммируются с предыдущими двумя объемами, а входят в первый из них. Таким образом, если в публикации приводится весь словарь, то в нем не 36,33 тыс. слов. И если в выборке обнаружены 41 тыс. слов, то почему были исключены 8 тыс. остальных? На с. 14 говорится о распределении по длине 1 тыс. первых слов, но данные приводятся для 850 из них.

Можно было бы избежать некоторых погрешностей типографского характера. График на с. 11 оказался повернутым вправо на 90°; в формуле Ципфа на с. 9 не обозначен показатель степени; в выражении на с. 10 для расчета коэффициента «гамма» вместо знака деления стоит запятая.

Более тщательно построенное и отредактированное предисловие, сопровожденное к тому же переводом, послужило бы той «визитной карточкой» серьезного и капитального ЧС армянского языка, которой он, без сомнения, заслуживает как своим содержанием, так и уровнем исполнения.

Манасян Н. С.

ЛИТЕРАТУРА

1. *Казарян Б. К.* Частотный словарь как база словаря-минимума армянского языка: Автореф. дис. на соискание уч. ст. канд. филол. наук. Ереван, 1967.
2. *Казарян Б. К.* Частотный словарь как основа словаря-минимума армянского языка.— В кн.: Вопросы лексикографии и лексикологии. Ереван, 1972 (на арм. яз.).

НАУЧНАЯ ЖИЗНЬ

ХРОНИКАЛЬНЫЕ ЗАМЕТКИ

Чехословацкая ассоциация русистов в сотрудничестве с филиалами Института русского языка им. А. С. Пушкина в Праге и Братиславе организовала 11—13 сентября 1984 г. в Нитре IV Международный симпозиум русистов на тему «Разработка и реализация принципа активной коммуникативности». Работа симпозиума проходила в пяти секциях: 1) Общие положения учебного принципа активной коммуникативности; 2) Актуальные проблемы изучения и подачи языкового материала; 3) Актуальные проблемы развития речевых умений; 4) Теория и практика создания учебных пособий и применения наглядных пособий; 5) Русская и советская литература и методика их преподавания.

Идеи, выдвинутые теорией принципа активной коммуникативности, широко распространяются в области обучения русскому языку,— подчеркивалось на пленарном заседании в совместном докладе М. Сотака и М. Рогаля (ЧССР). Наиболее целенаправленные тенденции в разработке этого учебного принципа отмечаются, в первую очередь, в странах социализма, в которых изучение русского языка в системе школьного образования занимает одно из первых мест.

С точки зрения дальнейшей разработки вопросов теории и успешной реализации принципа активной коммуникативности в практике преподавания русского языка и обеспечения прочных знаний, умений и навыков внимание участников симпозиума привлекли доклады В. Г. Костомарова (СССР) «Некоторые вопросы дальнейшего развития принципа активной коммуникативности» и О. Д. Митрофанов'ой (СССР) «Концепция, типизация и национальная модификация учебных материалов».

М. Гала (ЧССР) в докладе о коммуникативной направленности обучения языкам поднял вопрос о сложности процесса речевого общения, предполагающего наличие не только речевой, но и мыслительной деятельности. Докладчик остановился на вопросах мотивации обучения, коммуникативной ценности тренировочных упражнений, опережающего чтения и опоры на родной язык учащегося.

Б. Бялокозович (ПНР) подчеркнул, что в настоящее время в Польше особое значение приобретает мотивировка обучения русскому языку и литературе. Значительные результаты достигнуты в области сопоставительного изучения русского и польского языков. Проводятся интересные работы по использованию художественных текстов русской классической и советской литературы при изучении русского языка.

Богатой и исключительно разнообразной была тематика рабочей программы 1-й — 3-й секций. В связи с большим количеством выступлений в настоящей хронике мы остановимся только на некоторых докладах.

В докладе В. А. Ивашко (СССР) «Теоретические основы принципа ситуативности коммуникативной деятельности» сделана попытка подойти к ситуации общения и коммуникативному акту с позиций теории деятельности, получившей наиболее полное развитие в работах А. Н. Леонтьева.

С. Сятковский (ПНР) в докладе «Социология языковой коммуникации и проблемы совершенствования преподавания русского языка» указал на то, что весьма актуальной задачей построения социологии языковой коммуникации как научной дисциплины следует считать, в частности, установление единиц межличностно-речевых отношений, определение надежной теоретической основы и построение понятийно-категориальной структуры этой дисциплины.

Сосредоточив свое внимание на вопросах преподавания стилистики современного русского литературного языка, Ю. А. Бельчиков (СССР) приходит к заключению, что стилистика как наука в большой степени соотносится с учебным принципом коммуникативности. Освоение языка специальности должно базироваться на знании и навыках использования в речи общелитературных норм.

На проблематике минимизации типов ударения русских существительных остановился А. Мустайоки (Финляндия). Он выразил мнение, что процедура минимизации типов ударения русских существительных может быть применена и к морфологическим явлениям русского языка.

В совместном сообщении М. А. Барреро Санчес (Куба) и Н. И. Плотниковой (СССР) констатировалось, что повышению эффективности процесса обучения русскому языку испаноязычных студентов-филологов способствует создание дополнительных учебно-методических материалов. При их подготовке уделялось особое внимание страноведческим фактам, учитывался уровень лексико-грамматических знаний студентов, принимались во внимание психолингвистические моменты.

Некоторым особенностям реализации принципа активной коммуникации в процессе обучения будущих преподавателей русского языка и литературы было посвящено сообщение М. Шутрана (ЧССР), языковой материал и лингвострановедческий аспект изучения языка рассматривались Г. Банишевой (ЧССР), о дидактических играх как средстве повышения эффективности обучения русскому языку говорила Э. Паленикова (ЧССР). Д. Микула (ЧССР) уделил внимание вопросам интеграции трех типов средней школы (гимназий, техникумов и ПТУ) в Чехословакии.

При обучении студентов-нефилологов языку специальности,— подчеркивалось Н. А. Метс (СССР),— необходимо учитывать, что коммуникативная активность учащихся развивается на материале текстов по специальности, которые обладают целым рядом специфических характеристик, отличающих их от текстов художественной литературы, описанных в психолингвистической литературе.

В докладе В. Е. Смирновой (СССР) отмечалось, что все виды учебной деятельности учащихся-иностранцев выступают в качестве компонентов реальной коммуникации, участниками которой являются сами учащиеся во время учебы.

М. Мартынова и М. Бучкова (ЧССР) остановились на некоторых нерешенных вопросах проведения уроков русского языка в вузах нефилологического профиля, а также на проблематике достижения оптимальных результатов в обучении русскому языку. О. Фаркашова (ЧССР) сосредоточила внимание на вопросах содержания обучения русскому языку в вузах нефилологического профиля, Ю. Ганк (ЧССР) изложил свои соображения по основным аспектам формирования основ диалектико-материалистического мировоззрения при работе со спецтекстом в рамках теории коммуникации, К. Блашкова (ЧССР) рассказала о своем опыте работы по проведению комбинированных уроков на нефилологических факультетах Университета им. П. Й. Шафарика в г. Кошице. Вопросам новой концепции преподавания русского языка в техникумах ЧССР посвятил свое сообщение М. Павук (ЧССР).

На необходимость систематического и широкого сопоставительного изучения русского и словацкого научного стиля с целью более успешного преподавания русского языка указал Я. Светлик (ЧССР).

Вопросам изучения смысловых соотношений компонентов русских сложноподчиненных предложений посвятил свое сообщение В. В. Шеулин (СССР). М. Весела (ЧССР) остановилась на двух основных типах неполных реализаций предложения в русском и словацком языках — конситуативно (контекстуально) необусловленных и конситуативно обусловленных. Темой выступления И. Пьещак (ЧССР) были особенности синтаксической сочетаемости глаголов перемещения в русском и словацком языках. На проблематике классификации сказуемого остановился Я. Савуляк (ЧССР), предложивший оригинальную классификацию сказуемых. Предметом сообщения В. М. Гриценко (ЧССР) была грамматическая актуализация модальных значений в сложных конструкциях. Опытом преподавания русского языка в Сельскохозяйственном институте в Праге поделилась Г. Ваверкова (ЧССР). Я. Браницка (ЧССР) затронула некоторые аспекты изучения атрибутивных словосочетаний в процессе преподавания русского языка словацким студентам. Проблематике вариантности слабоударяемых слов в русском языке и способам преодоления трудностей в педагогической практике посвятила свое сообщение У. Фецанинова (ЧССР). С большим интересом было выслушано сообщение А. Х. Кастро Родригес (Куба) на тему «Сопоставление фонетической организации процесса речеобразования испанского и русского языков в практике преподавания». Вопросам системности преподавания лексики и лексико-семантической характеристике глагольных антонимов в системе современного русского языка были посвящены сообщения С. Лещишина и М. Вархолы (ЧССР). Вопросы лексикологии русского языка в вузовских пособиях ЧССР и проблема введения новых лексических единиц в практике преподавания и усвоения языка составили основное содержание сообщений Ш. Швагровского и З. Гадушовой (ЧССР).

Учебный принцип коммуникативности, указывалось М. Чабаловой (ЧССР), ставит ряд проблем, связанных с сопоставительным изучением функциональной стороны языковых единиц.

В докладе Г. А. Хмелькова (СССР) указывалось на целесообразность выделения лексики как самостоятельного аспекта в процессе включенного обучения.

В коллективном сообщении Ю. Плотниковой (СССР) и Я. Михаловой (ЧССР) на тему «Функциональный подход к отбору и подаче русской терминологической лексики» рассматривались проблемы коммуникативной направленности занятий по русскому языку в технических вузах ЧССР.

Свободное владение речью,— констатировал В. А. Козелев (СССР),— предполагает умение быстро и правильно определить ситуативные условия речевого общения и в соответствии с его содержанием правильно использовать языковые средства.

Р. Пурм (ЧССР) в своем выступлении сосредоточил внимание на вопросе применения принципа коммуникативности в системе заданий и упражнений. В сообщении В. Московой (НРБ) затрагивалась проблема практического использования достижений лингвистической науки и переводоведения в обучении русскому языку как неродному. Сообщения Л. Бенедиковой, Л. Рейманковой, Ф. Зоубека, Г. Флидровой (ЧССР) были посвящены рассмотрению разных аспектов диалогической речи. Чтению как основному способу овладения спе-

циальностью и получения информации посвятила свое сообщение Л. Майерова (ЧССР). В центре внимания Ф. М. Гасановой (СССР) был вопрос о реализации принципа активной коммуникативности при обучении чтению как речевой деятельности.

В свете задач дальнейшей разработки и реализации принципа активной коммуникативности прозвучали на симпозиуме актуальные вопросы изучения и преподавания русской классической и советской литературы и методики их преподавания.

В современной методике преподавания русского языка, указывалось в докладе В. К. Черепухиной (СССР), коммуникативность понимается и толкуется двупланово — как коммуникативная направленность и коммуникативная активность учащихся в самом процессе обучения.

Литературное произведение,— указывал А. Червеняк (ЧССР),— это не только художественные тексты, но и их глубокие социальные, философские, этнические и прочие контексты.

Накануне открытия IV Международного симпозиума русистов начал свое очередное заседание Исполнительный совет Международой ассоциации преподавателей русского языка и литературы (МАПРЯЛ). В дальнейшем встречи Исполнительного совета МАПРЯЛ проходили параллельно с работой симпозиума. В них приняли участие акад. М. Б. Храпченко (президент МАПРЯЛ), проф В. Г. Костомаров (генеральный секретарь МАПРЯЛ), вице-президенты организации русистов. На заседании были подведены итоги проведенной работы за истекший период. На повестке дня стояли также актуальные вопросы, касающиеся перспективной работы МАПРЯЛ, подготовки очередного, VI Международного конгресса МАПРЯЛ, который состоится в 1986 г. в Будапеште.

Павук М. (Братислава)

19—21 сентября 1983 г. в Кишиневе состоялся Международный симпозиум «Национальные языки в развитом социалистическом обществе», организованный Отделением литературы и языка АН СССР, Научным советом по комплексной проблеме «Закономерности развития национальных языков в связи с развитием социалистических наций» и Институтом языка и литературы АН Молд ССР. Симпозиум проводился в рамках целевой программы, включенной в план многостороннего сотрудничества академий наук стран социалистического содружества, в связи с чем в его работе принимали участие языковеды шести государств — членов СЭВ: СССР, НРБ, ВНР, ГДР, ПНР и ЧССР.

Во вступительном слове акад. Г. В. Степанова отмечалось, что проблематика симпозиума связана с осуществлением исследований, непосредственно отвечающих потребностям социальной и языковой жизни стран социалистического содружества, теоретическим и практическим вопросам их языкового единения.

В языках социалистических стран, достигших высокого общеобразовательного и культурного уровня, происходит расширение общественных функций языков, вызывающее возникновение новых явлений, процессов и тенденций в развитии языковой жизни. В целевой программе впервые начата комплексная разработка этих вопросов в масштабах большинства стран социалистического содружества с учетом общих социально обусловленных закономерностей развития языков, поэтому реализация этой программы явится важным вкладом в исследование языковой жизни социалистических стран.

Главный координатор Международной целевой программы — директор Института чешского языка АН ЧССР проф. Я. Петр в своем докладе «Международная координационная целевая программа „Национальные языки в развитом социалистическом обществе“, ее методологическое, социально-лингвистическое и научно-практическое значение» методологически и теоретически обосновал основные аспекты коллективного труда, выполняемого в соответствии с международной целевой программой, охарактеризовал перспективы ее разработки в коллективной монографии, состоящей из трех разделов[1].

Материалы первого раздела касаются вопросов языковой политики в условиях строительства и развития социалистического общества, которые представят большой социальный, теоретический и практический интерес для социалистических стран, а также окажут определенную помощь коммунистическим и рабочим партиям в осуществлении языковой политики в других странах мира.

Второй раздел монографии посвящен анализу влияния социальных факторов на функционирование языка в социалистическом обществе. Предполагается теоретическое освещение проблемы, а также анализ эмпирического материала, собранного учеными ГДР.

В третьем разделе предусмотрено освещение современной теории языковой культуры развитого социалистического общества, в связи с чем исследуются типы языковых ситуаций и связанных с ними форм существования национального языка.

Основной доклад по проблематике первого раздела прочитал Ю. Д. Дешериев (Москва) — «Идеологическая борьба и языковая политика в современном мире (в свете опыта языковой политики социалистических стран)», в котором языковая политика была рассмотрена как категория идейно-политическая и социально-лингвистическая, связанная с сознатель-

[1] Подробнее об этом см. [1, 2].

ным воздействием общества на язык. Языковая политика — это концентрированное выражение идеологических и социальных принципов, определяющих политическое, теоретическое и практическое отношение той или иной идеологической системы, государства к функционированию, развитию и взаимодействию языков и их роли в жизни народа. Последовательное проведение языковой политики как практической реализации принципов марксистско-ленинской идеологии впервые было осуществлено в СССР и других социалистических странах. Важную роль в современном общественном развитии в условиях НТР играет идеологическая борьба между социалистической и капиталистической системами, которая отражается в языковой жизни человечества и определяет типологию языковой политики в буржуазном и социалистическом обществе.

Основной доклад по второму разделу представил зав. отделом социолингвистики Центрального института языкознания АН ГДР проф. В. Хартунг — «Влияние социальных факторов на развитие языка в социалистическом обществе». Докладчик проанализировал социолингвистические исследования языковедов ГДР, которые пришли к следующим выводам: 1) варьирование между употреблением говорящими литературного языка и его нестандартных форм объясняется только при помощи комплексной модели социальных факторов, влияющих на язык в целом, 2) наряду с широким распространением литературной формы существования языка наблюдается потребность в его дифференциации, в частности, в сохранении регионального колорита.

По третьему разделу — развитие языковой культуры в социалистическом обществе — был заслушан доклад ученого секретаря-координатора Международной целевой программы сотрудника Института чешского языка АН ЧССР И. Крауса на тему «Проблема языковой культуры социалистического общества». В докладе подчеркивалось, что для современной теории языковой культуры в странах социализма важны ее обобщающие и сопоставительные аспекты. Исходным пунктом сопоставительного изучения является *понятие «языковой ситуации»*, на базе изучения которой делаются определенные выводы. С анализом языковых ситуаций связано понятие «национальный язык», под которым понимается совокупность частных структурных образований, называемых формами существования; из их внутренней динамики вытекают новые взгляды на стратификацию национального языка, отражающие общее стремление к демократизации литературного языка в странах развитого социализма. Опираясь на различие между регуляцией языковых средств и коммуникативных процессов, автор наметил актуальные черты языковой культуры.

Постоянное совершенствование взаимоотношений между странами социалистического содружества порождает объективно действующие интеграционные тенденции, которые необходимо учитывать при выработке методики, методов и методологии социолингвистических исследований. Зав. отделом экспертизы Института СЭВ по стандартизации Е. С. Савилов в докладе «Терминологические стандарты СЭВ как средство взаимопонимания при экономическом и научно-техническом сотрудничестве социалистических стран» показал тесную связь проводимых работ по стандартизации терминологии в рамках СЭВ с теоретическими проблемами лингвистики, продемонстрировал трудности в разработке ряда терминологических стандартов, подчеркнул роль русского языка как рабочего языка СЭВ.

Зав. отделом ВНИИКИ Госстандартов СССР И. Н. Волкова остановилась на проблеме создания банков терминов и их роли в международном общении специалистов социалистических стран. Она подчеркнула, что дальнейшее совершенствование банков терминов и созданных на их основе информационно-поисковых систем (ИПС) требует дополнительных лингвистических и логических исследований, в частности, формализации определений, моделирования терминов.

Серия докладов была посвящена анализу опыта развития языков народов СССР в советскую эпоху, преимущественно в период зрелого социализма. В этих докладах и сообщениях содержалось исследование процессов реализации ленинской национально-языковой политики в разных регионах страны (Молдавия, Украина, Белоруссия, Прибалтика, Средняя Азия, Армения).

Основные закономерности развития молдавского языка на современном этапе были рассмотрены в докладе акад. АН МолдССР Н. Г. Корлэтяну «Функциональное и внутриструктурное развитие молдавского языка в советскую эпоху». Образование новых лексико-фразеологических единиц на основе собственных ресурсов, распространение советизмов, семантическое обогащение некоторых лексем, внедрение научно-технической и общественно-политической терминологии в широкий коммуникативный оборот, новые заимствования и кальки — все это *подняло молдавский язык* на новую ступень. Наравне с самыми развитыми языками народов СССР молдавский язык в состоянии отражать научно-технический и общественно-культурный прогресс современного мира.

В докладе Н. Н. Пилинского и Г. Н. Колесника «Развитие украинского литературного языка в советское время как пример осуществления ленинской *национально-языковой политики*» был дан анализ процессов совершенствования основных функциональных стилей украинского языка в условиях полного равноправия наций и их языков в нашей стране.

Тема реализации языковой политики на практике была раскрыта в докладе чл.-корр. АН БССР М. Р. Судника и А. Е. Михневича «Общее и особенное в осуществлении ленинской национально-языковой политики в области белорусского языка», охарактеризовавших важнейшие достижения белорусского народа в использовании национального языка как инструмента социалистической культуры.

В докладе «Роль социальных факторов в формировании и развитии культуры тюркских литературных языков народов Средней Азии и Казахстана в советскую эпоху», представленном на симпозиум с коллективом авторов — акад. АН КазССР А. Т. Кайдаровым, чл.-корр. АН ТуркмССР Б. Ч. Чарыяровым, чл.-корр. АН УзССР Г. А. Абдурахмановым, А. Н. Баскаковым, основное внимание уделялось конкретным социальным факторам языкового развития: а) многожанровой национальной художественной литературе, б) средствам массовой коммуникации на национальных языках, в) науке и просвещению, г) благотворному влиянию русского языка в условиях массового национально-русского двуязычия в тюркоязычных республиках исследуемого региона.

В другом коллективном докладе «Развитие литовского литературного языка в советскую эпоху» (авторы — чл.-корр. АН ЛитССР К. М. Ульвидас, С. С. Каралюнас и В. Ю. Михальченко) были освещены следующие вопросы: 1) особенности реализации ленинской национально-языковой политики в Литовской ССР, 2) основные достижения в расширении социальных функций литовского языка в советский период, 3) нормализация языка и принципы учета культурного потенциала народа, 4) обогащение лексики и стилистической системы литовского языка, а также 5) основные тенденции функционирования литовского языка в советский период.

Э. Г. Туманян (Москва) в докладе «Проблема каузальной связи между языком и обществом» приходит к выводу, что результаты исследования языков в условиях развитого социализма свидетельствуют о больших функциональных и внутриструктурных сдвигах, которые произошли в системах литературных языков ряда народов СССР, в том числе и старописьменного армянского. Расширение сфер функционирования ставит перед языком новые задачи, которые, в свою очередь, порождают в его системе новые лексико-семантические, синтаксические, стилистические, грамматические средства, поэтому внутриструктурное развитие языка происходит, с одной стороны, на основе спонтанного саморазвития, с другой — под влиянием экстралингвистических факторов.

В выступлениях основное внимание было уделено обсуждению проблематики коллективного труда «Национальные языки в развитом социалистическом обществе»: о роли русского языка при осуществлении сотрудничества социалистических стран в рамках СЭВ говорил проф. Э. Шустак (Острава); в прениях по вопросу о языковой политике выступили — директор Института польского языка АН ПНР проф. В. Любась (Краков), зав. сектором структурной и прикладной лингвистики Института языкознания АН ВНР проф. Г. Сене, Л. Н. Смирнов и З. Н. Стрекалова (Москва) и др.

Проблемам культуры речи в развитом социалистическом обществе посвятили свои выступления зав. группой социолингвистики Центрального института языкознания АН ГДР Х. Шёнфельд, А. И. Чобану (Кишинев), Л. К. Граудина (Москва), И. И. Ецко (Кишинев), М. Виденов (НРБ), Г. Н. Колесник (Киев).

Реализация ленинских принципов национально-языковой политики в разных регионах Советского Союза рассматривалась в ряде развернутых выступлений: А. М. Асланова (Кировабад), Д. С. Чантуришвили (Тбилиси), Б. О. Орузбаевой (Фрунзе), А. Я. Блинкеной (Рига), Г. П. Нещименко (Москва), А. М. Шахнаровича (Москва), М. А. Косничану (Кишинев), Д. Ф. Рашидовой (Ташкент), Р. И. Хашимова (Душанбе), А. Пачева (НРБ), З. У. Блягоза (Майкоп), М. А. Хабичева (Карачаевск), Т. М. Гарипова и Л. Л. Аюповой (Уфа).

На заключительном заседании были подведены итоги работы симпозиума, а также намечены дальнейшие задачи по подготовке многотомного труда, посвященного проблемам языковой жизни социалистических стран.

Михальченко В. Ю. (Москва), *Романдаш Т. И.* (Кишинев)

ЛИТЕРАТУРА

1. *Петр Я.* О реализации программы «Национальные языки в развитом социалистическом обществе».— ВЯ, 1982, № 5.
2. *Петр Я.* Международная целевая программа «Национальные языки в развитом социалистическом обществе» (социально-лингвистические, методологические и научно-практические аспекты). — ВЯ, 1984, № 5.

1—3 февраля 1984 г. в Томском пединституте проходила межвузовская научная конференция памяти лауреата Государственной премии СССР, доктора филологических наук, профессора А. П. Дульзона, посвященная вопросам происхождения аборигенов Сибири и их языков.

Дульзоновские чтения по обсуждаемым на них вопросам и представительству давно приобрели всесоюзное научное признание. В них приняло участие 87 человек (из 5 республик и многих городов нашей страны), было прочитано 57 докладов.

Участников XI Дульзоновских чтений приветствовал проректор по научной работе ТГПИ В. П. Смирнов, подчеркнувший большое значение и плодотвор-

ность этих конференций. Об истории Дульзоновских чтений рассказала О. А. Осипова (Томск).

Работа конференции распределялась по двум секциям: 1) происхождение аборигенов Сибири и их языков (с подсекциями тюркологии, самодистики и кетологии), 2) методика и германистика.

Обсуждение тюркологических и общелингвистических проблем на пленарном заседании и подсекциях убедительно показало правильность комплексного подхода к проблеме происхождения аборигенов Сибири и их языков, разработанного А. П. Дульзоном.

В докладе М. И. Черемисиной (Новосибирск), рассмотревшей модель полипредикативных конструкций с формой на *-ганча* в зависимой части на материале алтайских языков, была дана оригинальная трактовка употребления в этих конструкциях подлежащего в род. падеже. Примером решения языковедческих вопросов с исторической точки зрения явился доклад И. Л. Кызласова (Москва) «Первое упоминание сельской общины в памятниках древнехакасской письменности». Историко-этнографические данные широко привлекались в докладе Э. Ф. Чиспиякова (Новокузнецк), посвященном формированию диалектной системы шорского языка. В. Д. Фатнева (Томск) охарактеризовала слово- и формообразовательное значение основы индоевропейского числительного «два».

Данные уральских и енисейских языков и некоторые остаточные явления в склонении древнегерманских существительных позволили О. А. Осиповой (Томск) высказать предположение о формировании падежной системы в индоевропейских языках. О. Т. Молчанова (Львов) исследовала обширный материал топонимии Горного Алтая с применением метода картографирования, Е. К. Скрибник (Новосибирск) — временные конструкции в бурятском языке. В докладе В. Н. Кокорина (Барнаул) «Акцентуация и сингармонизм (на экспериментальном материале чалканского вокализма)» был дан обзор определений «ударение». Результаты экспериментально-фонетического исследования фонологической и фонетической базы чалканцев представила Н. А. Мандрова (Барнаул) в докладе «Артикуляционно-акустическая база чалканцев». Доклад А. А. Раджабова (Баку) был посвящен уточнению звукового значения одного из знаков орхоно-енисейского алфавита. А. В. Кабанов (Абакан) затронул вопросы просодики тюркского слова и ударения (на материале хакасского языка). Результаты статистического анализа относительной частоты употребляемости согласных во всех возможных позициях и комбинациях на материале языка долган сообщила Н. П. Бельтюкова (Томск). В докладе С. И. Машталира (Новосибирск) сделана попытка дать описание артикуляторных характеристик теленгитских согласных фонем в их оттенковом проявлении на основе дентопалатографирования. Все эти доклады продолжают традицию экспериментальных исследований, а также методику, разработанную известным фонетистом В. М. Наделяевым — руководителем Лаборатории экспериментальной фонетики ИИФиФ СО АН СССР.

Следует отметить, что большинство исследований по грамматическому и лексическому строю тюркских языков, представленных на конференцию,— это работы, ведущиеся под руководством профессоров, старших научных сотрудников ИИФиФ СО АН СССР Е. И. Убрятовой и М. И. Черемисиной.

В подсекции самодистики состоялось 17 докладов, отразивших основные направления лингвистических, археологических, этнографических и топонимических изысканий.

В докладах томских языковедов освещались различные вопросы грамматического и фонетического строя селькупского языка. Исследования, проводимые научным коллективом Томского пединститута, базируются как на синхронном, так и историческом изучении морфологии имени существительного, глагола, местоимения, фонетической системы южных диалектов селькупского языка, а также на сопоставительном изучении самодийских языков в целом.

В докладе Э. Г. Беккер (Томск) рассматривались падежные формы местно-временного и направительного падежей существительного. Среди них выявляются *-n*-овые показатели и показатели, в состав которых входит элемент *-n-*. Генетически элементы *-n-* в этих формантах связаны между собой и восходят к одному источнику, общеуральскому *-n*. Особенность группы собирательных существительных, заключающуюся в возможности обозначать формой ед. числа как совокупность однородных предметов, так и каждого единичного представителя этой совокупности, продемонстрировала на конкретном лингвистическом материале Н. П. Максимова (Томск). В докладе о временах индикатива в южных диалектах селькупского языка Л. В. Морева (Томск) детально проанализировала временные показатели изъявительного наклонения и определила их функции. Темой доклада Н. Г. Кузнецовой (Томск) явился глагольный показатель состояния *-ku-*, отмеченный лишь в кетском диалекте селькупского языка. По мнению докладчика, он не является ни фонетическим вариантом показателя узуальности, ни вариантом показателя краткости, имеющим место в других диалектах селькупского языка. В докладе А. А. Ким (Томск) шла речь о типах притяжательных конструкций в диалектах селькупского языка, рассматривались возможные способы оформления компонентов конструкций. И. А. Ильяшенко (Томск) рассмотрела грамматические признаки и синтаксические функции указательных местоимений.

В ряде докладов были освещены вопросы фонетического строя самодийских языков. Ю. А. Морев (Томск) выявил ключевые проблемы синхронно-сопоставительного изучения фонетики самодийских языков: сводимость диалектного

материала каждого отдельного языка и адекватная интерпретация диалектных фактов на общеязыковом уровне; установление межъязыковых параллелей зонального (регионального) характера; выделение закономерных фонетических соответствий по всей группе самодийских языков. Проблемы графической фиксации финно-угорского и самодийского лингвистического материала обсуждались в докладе А. Ю. Кюннапа (Тарту), Ш. Ц. Купер (Томск) затронул вопрос о некоторых исторических чередованиях согласных в кетском диалекте селькупского языка. В докладе Н. В. Деннинг «Место селькупского языка в системе языков народов Сибири» говорилось о явлениях, типологически сходных для ряда языков народов Сибири.

Серия докладов была посвящена проблемам исторической диалектологии, словообразованию, синтаксису, топонимии самодийских языков. Е. А. Хелимский (Москва) проследил отражение основных диалектно-дифференцирующих признаков в хронологически наиболее ранних селькупских записях. Приемам синтагматического и парадигматического повтора при анализе селькупских сказок уделила внимание А. И. Кузнецова (Москва). В докладе Е. П. Больдт (Барнаул) были рассмотрены типы сложных слов в самодийских языках и определено место словосложения в системе словопроизводства.

Значительное внимание было уделено различным вопросам кетского языка. Своеобразную трактовку падежной системы кетского языка предложили М. Н. Валл и И. А. Канакин (Новосибирск). М. М. Костяков (Рязань) представил результаты рассмотренных им 150 енисейско-самодийских лексических параллелей. В докладе М. В. Филимонова (Томск) сделана попытка объяснить многозначность отдельных кетских существительных употреблением различных тонов.

Топонимические вопросы обсуждались в докладах К. М. Браславца (Томск), И. Л. Меркушева (Хабаровск), П. М. Коптелова (Томск). В этих докладах было использовано много этнографических и исторических данных, что сделало их особенно убедительными.

На этом же заседании был заслушан доклад Л. М. Плетневой (Томск), посвященный методике сопоставления жилищ по археологическим и этнографическим материалам.

Во второй секции (методика и германистика) доклады, в основном, касались двух проблем — стилистики и немецкой диалектологии. Р. Г. Лозинская (Томск) рассмотрела разные подходы к типологии текстов на основе различных критериев, Л. Г. Ананьева (Томск) — соотношение фразировки и стихотворного переноса. О семантическом объеме термина «метафора» говорилось в докладе Е. Г. Которовой (Томск).

Немецким диалектам были посвящены доклады Н. Н. Степановой, И. Г. Гамалей, Л. И. Москалюк (Барнаул), Т. Б. Иоганзен, Р. А. Бони (Томск).

На заключительном пленарном заседании была обсуждена и принята резолюция XI Дульзоновских чтений. Участники конференции выразили благодарность в адрес руководства Томского пединститута и Оргкомитета за хорошую организацию Дульзоновских чтений.

Быконя В. В., Осипова О. А. (Томск).

CONTENTS

Articles: T r u b a č e v O. N. (Moscow). Linguistics and the ethnogenesis of the Slavs; P i o t r o v s k i j R. G. (Leningrad). Linguistic lessons of the machine translations; G a k V. G. (Moscow). On the evolution of different means of speech nomination; **Discussions:** K o r t l a n d t F. (Leiden). Proto-Indo-European glottalic stops: the comparative evidence; R o g o ž n i k o v a R. P. (Leningrad). Data-base of the Russian language and lexicography; K u r k i n a L. V. (Moscow). Proto-Slavoniv dialect sources of the South-Slavonic language group; D a š k e v i č Ya. R. (Lvov). Codex Cumanicus : problems of origin; P a n f i l o v V. S. (Leningrad). Vietnamese morphemics; **Materials and notes:** O t k u p s č i k o v Yu. V. (Leningrad). On the Indo-European origin of Latin *vīnum*, Greek (F)οἶνος «wine»; K o ž e v n i k o v a N. A. (Moscow). On the types of narration in the belles-lettres; Š v e d V. I. (Rovno). Word-formation and text-formation (founded on the materials of modern German); T u r a j e v a Z. Ja. (Leningrad), B i r e n b a u m Ja. G. (Magnitogorsk). Some peculiarities of the category of quantity (founded on the materials of modern English); **Reviews; Scientific life.**

SOMMAIRE

Articles: T r u b a č e v O. N. (Moscou). La linguistique et l'ethnogenese des Slaves; P i o t r o v s k i j R. G. (Léningrad). Leçons linguistiques de la traduction mécanique; G a k V. G. (Moscou). A propos de l'évolution des moyens de nomination dans le texte; **Discussions:** K o r t l a n d t F. (Leiden). Les occlusives glottales proto-indo-européens: lesx données comparées; R o g o ž n i k o v a R. P. (Léningrad). La banque automatisée de la langue russe et lexicographie; K u r k i n a L. V. (Moscou). Les sources dialectales proto-slaves des langues slaves méridionales; D a š k e v i č Ya. R. (Lvov). Codex Cumanicus — problèmes de ses origines; P a n f i l o v V. S. (Léningrad). Structure morphémique du vietnamien; **Matériaux et notices:** O t k u p š č i k o v J u. V. (Léningrad). Sur les orogines indo-européennes du latin *vīnum*, grec (F)οἶνος «vin»; K o ž e v n i k o v a N. A. (Moscou). Sur les rapports des types de narration dans les textes littéraires; Š v e d V. I. (Rovno). Formation de mots et formation de textes (étude fondée sur les matériaux de l'allemand contemporain); T u r a j e v a Z. Ja. (Léningrad), B i r e n b a u m Ja. G. (Magnitogorsk). Quelques particularités de la catégorie de la quantité (étude fondée sur les matériaux de l'anglais contemporain); **Comptes rendus; Vie scientifique.**

К СВЕДЕНИЮ АВТОРОВ

1. Рукописи должны представляться в двух экземплярах; текст и подстрочные примечания обязательно должны быть напечатаны на машинке через два интервала. После подписи указываются сведения об авторе: фамилия, имя, отчество, место работы, занимаемая должность, ученая степень, домашний адрес, телефон.

2. Объем статьи не должен превышать 24 с., объем рецензии — 10 с. Объем хроникальной заметки — 3—5 с. машинописи (хроникальные заметки должны представляться в редакцию в течение двух месяцев с момента описываемого события в лингвистической жизни).

3. Примеры в журнале принято давать курсивом (подчеркивать в рукописи волнистой чертой), а значения их в кавычках.

4. Все формулы и буквенные обозначения величин должны быть четко выполнены чернилами (следует делать ясное различие между заглавными и строчными буквами).

5. Рисунки должны быть тщательно выполнены тушью: чертежи, сделанные карандашом, не принимаются. Не рекомендуется загромождать рисунок ненужными деталями, все надписи должны быть вынесены в подпись, а на рисунке заменены цифрами или буквами. На полях рукописи указывается место рисунка, а в тексте делается на него ссылка. Фотографии принимаются в двух экземплярах (второй для редакции и ретушера в качестве контрольного). При изготовлении клише величина оригинала уменьшается в два-три раза, поэтому фотографии должны быть четкими и контрастными. Фотографии, выполненные в малом размере и нечетко, не принимаются. На обороте каждого рисунка должны быть проставлены фамилия автора, заглавие статьи и номер рисунка. Статью не следует перегружать графическим материалом.

6. Библиография в журнале оформляется следующим образом:

а) список использованной литературы дается по порядку номеров в конце статьи;

б) ссылки на литературу в тексте приводятся в квадратных скобках: [1, с. 3], [2—4], [1, 3]; в случае одноразовой ссылки указание на страницу, если оно необходимо, дается в списке литературы; если же упоминаются разные страницы одного и того же источника, указание на страницы следует давать в тексте;

в) подстрочные примечания, которые сохраняются наряду со списком использованной литературы, имеют сквозную нумерацию.

7. Непринятые рукописи возвращаются по просьбе авторов.

8. Статьи, опубликованные или направленные в редакции других журналов, не принимаются (за исключением раздела «По страницам зарубежных журналов»).

9. Авторам публикуемых статей направляется копия наборного экземпляра, который является окончательным вариантом сдаваемого в набор материала; корректура авторам не высылается.

The Editorial Board of the journal «Voprosy Jazykoznanija» expresses its appreciation to the Publishers who send us their books for reveiw. The Editorial Board regrets that it cannot guarantee the reviewing of all the books received due to space limitations. Two offprints of each review will be sent to the Publishers. Books received are not returned.

*

Le Comité de rédaction de «Voprosy Jazykoznanija» tient à exprimer sa profonde reconnaissance à toutes les Maisons d'édition qui lui font parvenir leurs nouvelles parutions pour ctitique. Le Comité de rédaction ne peut pas garantir la publication d'un compte rendu pour chaque livre reçu à la rédaction. Les comptes rendus seront publiés selon les possibilités de la rédaction. Deux tirages-à-part seront envoyés en ce cas aux Maisons d'édition respectives. Les livres reçus à la rédaction ne sont pas rendus aux éditeurs.

*

Die Redaktion der Zeitschrift «Woprosy Jazykoznanija» spricht allen Verlagen, die uns Rezensionsexemplare zukommen lassen, ihren aufrichtigen Dank aus. Die Redaktion gibt bekannt, daß leider nicht alle bei uns einlaufenden Bücher besprochen werden können. Die Rezensionen werden den Möglichkeiten unserer Zeitschrifte entsprechend veröffentlicht. Der Verlag erhält zwei Sonderabdrucke. Die von der Redaktion erhaltenen Bücher werden nicht an den Herausgeber zurückgesandt.

Технический редактор *Радина Т. И.*

Сдано в набор 29.04.85 Подписано к печати 17.06.85 Т-03497 Формат бумаги 70×108¹/₁₆
Высокая печать Усл. печ. л. 14,0 Усл. кр.-отт. 81,6 Уч.-изд. л. 16,6 Бум. л. 5,0
Тираж 5757 экз. Зак. 1353

Ордена Трудового Красного Знамени издательство «Наука»,
103717 ГСП, Москва, К-62, Подсосенский пер., 21
2-я типография издательства «Наука», 121099, Москва, Шубинский пер., 6